Антонъ Крайній
(З. ГИППІУСЪ)

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДНЕВНИКЪ

(1899—1907)

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
Изданіе М. В. Пирожкова
1908

Тип. Ф. Вайсберга и П. Гершунина. Екатерин. кан., 71—6.

ДВА СЛОВА РАНЬШЕ

Есть точка зрѣнія, съ которой всякій сборникъ, — стиховъ, разсказовъ или статей, — безсмыслица. Авторъ не можетъ не смотрѣть на него, въ иныя минуты, съ досадой. Въ самомъ дѣлѣ: собираютъ разбросанные по длинному прошлому, раздѣленные временемъ, дни, часы,—и преподносятъ ихъ въ одномъ узлѣ (въ одной книжкѣ)— сегодня. Перспектива ломается, динамика насильственно превращена въ статику, образъ искаженъ,—ничего нѣтъ.

Но есть другой, болѣе вѣрный, взглядъ на „сборникъ“: взглядъ историческій. Надо умѣть чувствовать время; надо помнить, что исторія вездѣ, и все въ исторіи,—въ движеніи. Послѣдняя мелочь,—и она въ исторіи, и она можетъ кому-нибудь пригодиться,

если только будетъ на своемъ мѣстѣ. Всякій вчерашній день—исторія, а всякій „сборникъ“ именно вчерашній день.

Я не отрекаюсь ни отъ одной замѣтки въ моей книгѣ, хотя вся книга—исторична, вся — вчерашній день. Отрекаться отъ какого-бы то ни было прошлаго—опасно: это отреченіе ведетъ къ потерѣ и настоящаго, и будущаго. Я стою лишь за необходимость сохраненія перспективы, — во всѣхъ случаяхъ „сборниковъ“; исключаю тѣ, конечно, которые „написаны сразу“. Есть нынче и такіе. Но это уже не сборники.

„Литературный дневникъ“ — отнюдь не только мой „вчерашній день“. Почти всѣ статьи были написаны въ послѣдніе годы старо-цензурной, предъ-революціонной Россіи, въ нихъ есть капля и ея „вчерашняго дня“. Журналъ „Новый Путь“ (903—905), для котораго, главнымъ образомъ, писались эти статьи, родился и жилъ въ особо-любопытныхъ условіяхъ. Онъ былъ стиснутъ всевозможными цензурами, какъ ни одинъ изъ его современниковъ. Правительственную онъ несъ вдвойнѣ: свѣтскую, тяжесть которой, при Сипягинѣ и Плеве, достаточно извѣстна, и, кромѣ нея,—духов-

ную; эта не всѣмъ знакома, не всѣ знаютъ, что она доходила буквально до варварства. Но кромѣ нихъ—у Новаго Пути была еще третья цензура, самая, можетъ быть, для насъ, сотрудниковъ этого журнала,—тяжелая: цензура тѣхъ, кого мы любили, какъ друзей, но кто насъ часто считалъ врагами.

Въ тѣ недавнія—и такія давнія!—историческія времена вся литературная, вся интеллигентная, болѣе или менѣе революціонно-настроенная, часть общества крѣпко держалась, въ своемъ сознаніи, устоевъ матеріализма. Одному Влад. Соловьеву позволялось говорить о Богѣ, при чемъ его никто не слушалъ. „Идеалистовъ“ еще не было на горизонтѣ, декаденты жили скромными отщепенцами. Всякое слово мистики считалось безумiемъ, а слово религіи—предательствомъ. Новый-же Путь всталъ противъ матеріализма, и одной изъ задачъ его было—доказать, что „религія“ и „реакція“ еще не синонимы. Задача, въ сущности, скромная; но при тогдашнихъ условіяхъ—почти невыполнимая. Работники Новаго Пути, сдавленные съ трехъ сторонъ, должны были вырабатывать уже не „эзоповскій“ языкъ,—а совсѣмъ какой-то неслыханный.

Это, конечно, не удавалось. Проходить между тремя, да еще столь разнообразными, цензурами, не задѣвъ ни одной—не легко. Духовная цензура запрещала прямо темы, выбрасывала все цѣликомъ. Выдумывались другія, что нибудь „около“; тогда, изъ пропущенной „духовенствомъ“ статьи, — свѣтская цензура выкидывала кусками и фразами какъ разъ то, чѣмъ мы наиболѣе дорожили; и, въ концѣ концовъ, третья цензура часто была права, находя „Новый Путь“ недостаточно живымъ, упрекая насъ чуть не въ „клерикализмѣ“.

Вскорѣ къ тремъ цензурамъ прибавилась и четвертая: цензура начинающихъ оперяться декадентовъ. И они были нашими друзьями: но и противъ нихъ мы шли, потому что ихъ „религія“, — эстетизмъ, обожествленіе „чистаго искусства“,—была для насъ непріемлема. Мы хотѣли создать другія цѣнности, не признавали „красоту“— высшей и всеобъемлющей. Время для такого созданія не пришло (можетъ быть, и теперь еще не пришло), — „Новый Путь“ не могъ жить между четырьмя сдвигающимися стѣнами, — но его слабыя попытки имѣли свое значеніе, хотя бы самое малое,

и потому я разсказываю его исторію, историческія условія, при которыхъ онъ жилъ и при которыхъ были написаны статьи моего „сборника“.

Съ тѣхъ поръ многое перемѣнилось... А иногда кажется, что не только не многое, а почти ничего не перемѣнилось. Если-бы сегодня возродился „Новый Путь“—то, вѣдь, это былъ-бы не буквально тотъ же, *но соотвѣтствующій своему времени* Новый Путь; и онъ, конечно, опять всталъ-бы въ тѣ же отношенія со всѣми цензурами; только борьба, вѣроятно, была бы ярче и открытѣе. Сегодняшній день всегда ярче и открытѣе вчерашняго. Если-бы это не было правиломъ (съ исключеніями, правило подтверждающими)—то не стоило бы и жить.

Сегодняшняго „Новаго Пути“ съ его сегодняшней борьбой еще нѣтъ, однако; этого не слѣдуетъ забывать, не слѣдуетъ къ прошлому прилагать современную мѣрку, предъявлять сегодняшнія требованія,—словомъ, нельзя смотрѣть, на „сборникъ“ мой не съ „исторической“ точки зрѣнія.

Что касается статей о русской литературѣ, написанныхъ позднѣе, для журналовъ чисто-эстетическихъ,—то хотя и эти статьи,

въ извѣстномъ смыслѣ, тоже „вчерашній день“—ихъ историзмъ еще очень неясенъ. Можетъ быть потому, что въ литературѣ вчерашній день, — вѣрнѣе, вчерашній вечеръ, — замедлилъ, длится, и новаго утра нѣтъ. Оно будетъ,—но пока его еще нѣтъ. Городецкіе да Ценскіе, Блоки да Горькіе, имитаторы да стилизаторы, экспропріасты да оріасты—развѣ это не вчерашній день, не петербургская майская заря, противоестественно горящая на небѣ, когда ей слѣдовало-бы давно умереть?

Впрочемъ, пусть ее. На то мы и Россія, чтобы у насъ заря вечерняя встрѣчалась съ утренней,—старое ввивалось въ новое. Пусть кажется иногда, что жизнь медлитъ... мы знаемъ, что она не останавливается. И не будемъ ребячески-неблагодарны къ нашему прошлому: оно отходитъ, рождая будущее. Отходитъ, уча насъ жить во имя будущаго.

VIII

Хлѣбъ жизни

1901

I

Знаю, меня упрекнутъ въ легкомъ, поверхностномъ отношеніи къ вопросу громадной важности. Но вѣдь я не берусь ничего рѣшать; я только выскажу свои, можетъ быть, отрывочныя мысли, съ осторожностью касаясь предмета, который, конечно, требуетъ серьезнаго и спеціальнаго изученія. Пусть-же простятъ мнѣ люди, отдавшіе себя жизни, занятые тѣмъ, какъ напитать своихъ братьевъ хлѣбомъ тѣлеснымъ, удрученные мыслью о всеобщемъ равенствѣ, количествѣ рабочихъ часовъ и т. д. Они не сочтутъ себя моими единомышленниками; а, между тѣмъ, мнѣ кажется, что они правы, если, ни въ чемъ не измѣняя своихъ мыслей, еще прибавятъ къ нимъ нѣчто, логически необходимое.

Тѣ же, кто считаются моими единомышленниками—упрекнутъ меня въ другомъ: они скажутъ, что я повторяю старыя, извѣстныя мысли, сдѣлавшіяся общими мѣстами. Потому что я буду говорить о хлѣбѣ для тѣла и хлѣбѣ для духа, о ихъ равноправности, равно-необходимости въ каждый данный моментъ для каждаго человѣка, о ихъ фактической неразрывности, какъ условіи всякой человѣческой жизни. А для этого уже есть готовыя, часто повторяемыя слова и фразы: „надо соединить жизнь и религію! Надо освятить жизнь! Надо религію сдѣлать жизненной! Надо все любить!“

Отличныя слова. И какъ будто даже ясныя. Какъ будто даже и разсуждать дальше нечего, а прямо приступать къ дѣйствію, къ воплощенію словъ: начать освящать жизнь, начать любить все и т. д.

А между тѣмъ никакихъ начинаній мы не видимъ, никакихъ воплощеній нѣтъ. Мысль, въ истинность которой мы вѣримъ, не можетъ сдѣлаться для насъ слишкомъ извѣстной, старой—до своего воплощенія; вѣрнѣе—предположить, что она молода, что мы ея не знаемъ. И дѣйствительно, бываютъ слова ужасно милыя и хорошія, но съ при-

творной ясностью. Они опасны, они гипнотизируютъ, особенно, когда ихъ часто повторяютъ: давно вѣришь, что имъ вѣришь и даже того не понимаешь, что ихъ не понимаешь. Это—догадки, пусть вѣрныя,—но все-таки догадки. Для того-же, чтобы слова и догадки сдѣлались мыслью, и для пониманія мысли,—нужна возможность послѣдовательныхъ представленій. То-есть, если это—ступень, то чтобы и лѣстница существовала, а иначе это будетъ лишь перекладина гдѣ-то вверху, въ воздухѣ, висѣлица или... насѣстъ. Боже меня сохрани, сравнить дѣйствительно глубокое сочетаніе словъ: „надо соединять религію и жизнь“,—съ такими перекладинами; вѣдь объ этихъ-то словахъ я и буду говорить; я думаю только, что не лишнее намъ посмотрѣть, каковы нижнія ступени лѣстницы, къ нимъ ведущей, понять, что мы, повторяя хорошія слова,—не знаемъ, въ сущности, ни какую религію подразумѣваемъ, ни какую жизнь, ни какъ ихъ соединять, ни того даже, почему это „надо“. Мы всѣ хотимъ что-нибудь сдѣлать; но, не зная, что дѣлаешь, можно дѣлать, а сдѣлать ничего нельзя.

И я иду навстрѣчу сужденіямъ и осу-

жденіямъ моихъ „единомышленниковъ“, говорю о первыхъ, самыхъ наземныхъ, ступеняхъ, хотя, можетъ быть, и придется мнѣ говорить о вещахъ извѣстныхъ, о словахъ, уже произнесенныхъ. О, эти старыя слова, милыя—и самыя страшныя—притворно-ясныя! „Надо любить всѣхъ“... „все“... „надо начать любить“... Любить! Вотъ, кажется самое старое, извѣстное, понятное слово; а какой человѣкъ, если онъ искрененъ передъ собою, скажетъ: я понимаю, что оно значитъ? Но не отвлеченными, пока неразрѣшимыми, вопросами я буду заниматься. Я хочу говорить о человѣческой природѣ, объ ея здоровыхъ потребностяхъ, о моментѣ нашего теперешняго сознанія и о томъ, какъ сдѣлать, чтобы намъ жить было лучше. Словомъ, о-томъ, что должно быть—на основаніи того, что есть.

II

Что-же есть?

Есть люди. Есть ихъ исторія.

Исторія—разсказъ о человѣческомъ голодѣ. Въ самомъ дѣлѣ, исторія,—равно и теперешнее наше наблюденіе надъ жизнью,—говоритъ намъ только о томъ, какъ люди

хотѣли ѣсть, какъ стремились утолить голодъ, какъ достигали или недостигали утоленія. Всегда въ нихъ было два голода, органически связанные, и утоленіе,—или подобіе, или предчувствіе его,—достигалось лишь тамъ, гдѣ между ними сохранялось наибольшее равновѣсіе, гдѣ они болѣе были слиты. Дѣйствительность голода похожа на общепринятую, можетъ быть отчасти условную, двойственность самого человѣка. Тѣло—и духъ. Казалось-бы, это для насъ—одно; мы не можемъ себѣ представить ни человѣка безъ духа ни человѣка безъ тѣла; а между тѣмъ и понятіе двухъ существуетъ, ибо оно вѣрно. Такъ, мы всегда видимъ сосудъ—его внѣшнія стѣнки; и всегда знаемъ, что есть внутреннія стѣнки: онѣ разнятся, но сосудъ одинъ. Изъ этой простой, азбучной единодвойственности человѣческой природы, какъ слѣдствіе, такая-же единодвойственная потребность—двойной голодъ, одинаковой силы, дающій равныя, хотя, можетъ быть, различныя страданія, когда онъ не утоленъ. Мало того: двойственный голодъ только тогда не причиняетъ смерти, когда онъ утоляется одновременно, ибо всякая секунда полнаго разрыва единодвойственности

для природы человѣческой смертельна. Повторяю, мы можемъ лишь видѣть внѣшнія стѣнки сосуда; онъ долго еще кажется намъ цѣлымъ, когда разрушеніе начинается съ внутреннихъ; но вѣдь это одно вещество, и смерть пройдетъ насквозь.

Различіе между стѣнками, внутренней и внѣшней, при полной ихъ равноцѣнности, конечно, существуетъ; хотя-бы въ томъ, что внѣшними, мы, люди, обращены другъ къ другу. Различіе создало и различное къ нимъ отношеніе, не всегда останавливающееся, однако, на различности, а переходящее въ разноодѣниваемость. Такъ, голодъ тѣла, заботы о его утоленіи, то считаются менѣе важными, менѣе „благородными“, менѣе нужными, чѣмъ голодъ духа, а иногда и постыдными,—то, наоборотъ, голодъ духа какъ-бы забывается, и на первый планъ ставится хлѣбъ, настоящій хлѣбъ, ржаной или пшеничный, и думаютъ, что его довольно для жизни. А ужъ послѣ напитанія этимъ ржанымъ или пшеничнымъ, можно погадать и о другомъ питаніи. Но упускаютъ изъ виду, что во время этого частичнаго питанія внутреннія стѣнки разложатся, и смерть пройдетъ насквозь.

Такое преимущественное отношеніе къ одной изъ двухъ частей цѣлаго, должно, конечно, все болѣе и болѣе стираться съ расширеніемъ нашего пониманія; но различное отношеніе остается опредѣленное и, при условіи неразрывности цѣлаго, не мѣняетъ ничего. Объ этомъ рѣчь впереди, а сначала надо сказать, что именно я считаю хлѣбомъ духа и хлѣбомъ плоти.

III

Совершенно отдѣльно, въ чистомъ видѣ, эти два понятія и не существуютъ въ жизни, ибо они оба—условіе жизни. Вѣрнѣе сказать—двухъ хлѣбовъ нѣтъ. Принимая хлѣбъ, ржаной или пшеничный, мы принимаемъ и воду, на которой замѣсили тѣсто. Хлѣбъ виденъ и явенъ, вода не видна, хотя безъ нея не было бы и хлѣба. Но воды можетъ быть мало: хлѣбъ крутъ и похожъ на камень; или много: хлѣбъ не питателенъ и клеекъ. Общественная жизнь, культура, наука, соціальныя и экономическія устройства, политическая борьба, взаимныя отношенія половъ—все это хлѣбъ тѣлесный, тотъ, о которомъ сказано, что имъ будетъ живъ человѣкъ,—

хотя и не имъ однимъ. Хлѣбъ духа—только единственный: понятіе Бога. Слово „религія“ слишкомъ широко, я его опасаюсь, его надо оговорить, чтобы ясно было, въ какомъ смыслѣ я стану его употреблять. Даже слово „Богъ“—слово слишкомъ общее. И его необходимо болѣе опредѣлить. Хлѣбъ духа нашего—понятіе Бога, какъ отца, Бога, имѣющаго съ нами связь, съ нашимъ духомъ, а, слѣдовательно, и съ нашей плотью, а, слѣдовательно, и съ нашей жизнью. Даже по самой сливаемости этого понятія съ жизнью мы можемъ судить о его единой истинности; равно какъ по сливаемости, хотя-бы въ возможностяхъ, жизни съ нимъ—мы судимъ, истинна-ли и вѣрна-ли наша жизнь.

Хлѣбъ нашего вѣка крутъ, какъ камень. Вода есть (вѣдь безъ нея не было-бы хлѣба), но воды мало, и все меньше, и хлѣбъ все черствѣетъ. Напрасно и стараются его раздать всѣмъ поровну: братья обломаютъ объ него зубы и все равно умрутъ съ голоду. А вѣдь это мечта многихъ и многихъ, не замѣчающихъ, что сами они смертельно больны: сунуть всѣмъ по равному куску каменной ковриги. А пища для души? Никто

ея не отрицаетъ, сохрани Боже! Вотъ когда каменная коврига раздѣлится, черезъ нѣкоторое время можно подумать и о „духовной пищѣ“: народное образованіе, всякое обученіе, развитіе, культурность... Ну, а еще? Больше ничего. А если ничего—то опять болѣзнь и смерть, потому что все, что они называютъ „пищей духовной“—есть пища тѣлесная, та же страшная, черная, желѣзная просвира. Но, скажутъ мнѣ, въ программу общаго образованія, „духовнаго питанія“, входитъ и обученіе Закону Божіему. И какъ разъ такому, подходящему: понятіе о Богѣ, какъ объ отцѣ. Вѣроятно, что-то тутъ не совсѣмъ такъ: обученіе это занимаетъ свой часъ среди другихъ общеобразовательныхъ предметовъ и нисколько не умягчаетъ каменной ковриги, а точно въ воздухѣ виситъ, отдѣльно, никуда не приложимое. Если мы спросимъ питателей тѣла по совѣсти, зачѣмъ допускаютъ, впускаютъ они это обученіе, они скажутъ: во-первыхъ—таковъ правительственный строй... а, во-вторыхъ—это можетъ быть полезно въ смыслѣ нравственности.

Больны учителя—больны и ученики. Кто понимающій слово „Отецъ“, не пойметъ, что

слово „нравственность“ — слово пустое, совершенно ненужное людямъ? Они прикрываютъ имъ свое проклятіе, свою отброшенность отъ Отца. При Немъ это слово лишнее, оно меркнетъ, какъ свѣча въ ясное утро. Наравнѣ съ общественностью, политикой, съ наукой практической—нужно назвать хлѣбомъ тѣла и чистую науку, и искусство. Я нарочно упоминаю о нихъ отдѣльно: искусство и науку не одни матеріалисты издавна привыкли считать „пищей духовной“. Искусство въ особенности,—оно легко поддается обожествленію. Творятъ кумиръ, который зовутъ потомъ всю жизнь Богомъ, И умираютъ отъ голода, вмѣстѣ со своимъ Богомъ, потому, что это лишь верхняя корка все той же ковриги, хлѣба тѣлеснаго, необходимаго, святого — но и убійственнаго. когда есть лишь онъ одинъ. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ мы не видимъ, что одно то искусство живо и можетъ назваться истиннымъ, которое доходитъ до молитвы, до понятія Бога—и сливается съ Нимъ? Не само становится богомъ—а именно сходится, сливается съ нимъ, хлѣбъ тѣла соединяется съ хлѣбомъ духа, и они оба тогда—одно, хлѣбъ жизни. Люди чуяли это во всѣ времена.

Эпоха, когда искусство, хотя-бы съ исторической соотвѣтственностью, было менѣе оторвано отъ религіи (какъ и религія была менѣе оторвана отъ жизни)—какъ ни какъ зовется эпохой „возрожденія“, и, напротивъ, въ болѣе позднее время, когда искусство начали обожествлять, видѣть въ немъ самомъ его цѣль и конецъ, возвратили его въ него-же, мы чаще и чаще слышимъ страшное слово „вырожденіе“. Тутъ, конечно, лишь слова, созданныя людьми; но историческія слова иногда бываютъ знаменательны.

Искусство для искусства—это змѣя, кусающая свой хвостъ. Это тѣсный склепъ безъ двери. Это — черствый кусокъ хлѣба, закинутый въ уголъ и потому проклятый, не доступный волнѣ живой воды, которая могла-бы сдѣлать его хлѣбомъ жизни. И чѣмъ онъ закинутѣе, отдѣльнѣе, чѣмъ плотнѣе частоколъ, замыкающійся вокругъ искусства, то есть чѣмъ чище искусство, чѣмъ чище наука,—тѣмъ болѣе черствѣетъ этотъ хлѣбъ, становится почти негоднымъ даже и для тѣла. И тогда — идетъ Вырожденіе. Идетъ Смерть.

IV

Не болѣе годно для нашего питанія, для поддержанія жизни человѣческой, и клейкое, вязкое, мокрое тѣсто, которое избрали люди, поставившіе впереди пищу духовную—„понятіе Бога“ Они тоже больны. Забывъ, что и внутреннія и внѣшнія стѣнки сосуда—нераздѣльны до единства—они возненавидѣли внѣшнія во имя внутреннихъ и разрушаютъ ихъ. А вѣдь опять смерть пройдетъ насквозь. Я говорю объ истинно-монашествующихъ, ибо они истинно проникнуты злобой противъ плоти. Эта злоба со строгой послѣдовательностью вытекаетъ изъ религіи, какъ она понята ими. Такая религія—(дѣйствительно ли она религія,—„понятіе объ Отцѣ“?) не можетъ, конечно, и стремиться къ сліянію съ жизнью, она вся направлена противъ жизни. Это — болѣзнь смертельная и мгновенно поражающая, и смерть тутъ даже болѣе явная для насъ, потому что это смерть тѣла. Какимъ же образомъ единственная религія, словесно заключающая въ себѣ „понятіе о Богѣ, какъ объ Отцѣ“—могла выродиться въ религію смерти тѣла, отверженія хлѣба и плоти? Теперешній строгій послѣдователь этой

религіи долженъ съ омерзѣніемъ взирать на свое тѣло, какъ на ненужную, хлопотную и вредную вещь, съ проклятіемъ отвергнуться отъ всякаго хлѣба тѣлеснаго—науки, искусства, культуры, общественности, денегъ—и только ускорять разрушеніе плоти. И если-бы сейчасъ всѣ люди обратились въ христіанскую религію, какъ она теперь понята, приняли-бы ее неотступно и полно—смерть пришла-бы раньше конца, земля стала-бы необитаемой, и не по волѣ Пославшаго насъ, а по нашей собственной волѣ. Но человѣкъ еще живъ и любитъ то, что онъ живъ. И потому даже признающіе разумомъ эту смертельную религію, даже принадлежащіе ей—не могутъ быть строго послѣдовательны (за нѣкоторыми исключеніями, конечно), а идутъ на безпрерывные компромиссы, которые, впрочемъ, мало чему помогаютъ. И вотъ, передъ нами два стана. Враги-ли, или друзья эти люди—они и сами не знаютъ. Только всѣ несчастны, кто сознательно, кто безсознательно. И люди хлѣба тѣлеснаго, и люди хлѣба духовнаго, люди жизни и люди религіи — чуютъ, что имъ надо соединиться. Но какъ? Гдѣ? Въ чемъ? „Понятіе Отца“ — выразилось въ хри-

стіанствѣ. Христіанство идетъ противъ жизни,—историческое христіанство. Но религія нужна. Значитъ, надо взять, что есть, хотя-бы съ ограниченіями, ну, хоть попытаться... Такъ думаютъ люди, грызущіе окаменѣвшую корку современной культуры—и точно, пытаются, и ничего не выходитъ. Тянутся, почти помимо воли, къ хлѣбу тѣлесному, чтобы имъ не умереть, и убѣжденные послѣдователи историческаго христіанства; они пытаются, хотя-бы съ компромиссами, втиснуть свою религію въ живую жизнь. Они говорятъ: ну, хорошо, это не такъ, но мы готовы допустить, попустить, простить ради слабости (какой?). Компромиссы ростутъ, прямота совѣсти гнется, и тамъ и здѣсь— а оба лагеря такъ и остаются разорванными, и въ скорби великой. Мнѣ иногда міръ представляется большой площадью, гдѣ люди въ черныхъ одеждахъ ходятъ, все ходятъ, не сталкиваясь, между людьми въ красномъ. И ходятъ, точно по рельсамъ, правильно, такъ, что красные встрѣчаются съ красными—и только видятъ черныхъ, проходя мимо, а даже и дотронуться до нихъ не могутъ.

Интересно прослѣдить, въ самомъ дѣлѣ, какую роль играетъ въ нашей общей жизни

историческое христіанство, и ликъ этой религіи—церковь? Насъ крестятъ, записываютъ въ книгу; мы крещенія не помнимъ, какъ будто его никогда и не было. Потомъ уроки Закона Божьяго въ гимназіи; то „обученіе“, наряду съ другими общеобразовательными предметами, которое не связано не только съ этими другими предметами, но даже не имѣетъ никакого, повидимому, отношенія и къ тому домашнему дѣтскому Богу, съ которымъ иные, счастливые ростутъ въ семьѣ до гимназіи. Эти рѣдкіе, легкіе, неважные для гимназиста уроки стоятъ особнякомъ отъ всей его жизни. Кончена гимназія; въ университетѣ—богословіе, тѣ же уроки, но еще менѣе для меня важные, еще болѣе чуждые моимъ главнымъ цѣлямъ и заботамъ, потому что я хочу, положимъ, быть юристомъ. Конченъ и университетъ; заботы увеличиваются, нужныя, необходимыя—хлѣбъ, жизнь, дѣла. Потомъ любовь—я вѣнчаюсь; аскетическая религія идетъ тутъ на большой компромиссъ—но я его и не замѣчаю почти—некогда: дѣти мои будутъ законныя, съ этой стороны я спокоенъ, а вотъ въ жизнь мою врываются новыя заботы, мелкія, нудныя, сѣрыя, безконечныя и ужасно

безсмысленныя, но несомнѣнно нужныя. Аскетическая религія не смогла—да и не могла—войти въ мои нужныя заботы, не оросила, не умягчила моей черствой корки, и потому сама осталась не нужной мнѣ.

Но черствая корка все-таки черства, я этого не забываю, потому что страдаю. Я голоденъ. А гдѣ, у кого искать духовной пищи, „понятіе Бога, какъ Отца“,—если допустить, что изъ Евангелія оно уже взято, если оно оттуда выходитъ, какъ осужденіе плоти и жизни? Я вѣрю, что мои жизненныя заботы о прокормленіи, о женѣ, мои веселья, моя радость отъ искусства, моя работа, моя служба—необходимы, вѣрны, что они—добро; если я не буду вѣрить—то не могу ни служить, ни ѣсть, ни радоваться. А между тѣмъ, мнѣ велятъ лежать на полу и каяться въ заботахъ, въ радостяхъ, въ ѣдѣ. Но вѣдь покаявшись — я опять долженъ итти работать и жить, какъ-бы покаявшись въ покаяніи, а потомъ опять падать ницъ передъ Богомъ (а вѣдь отецъ никогда-бы не допустилъ обращенія къ нему дѣтей на колѣняхъ, въ униженіи, отъ любви-бы не допустилъ) и взывать: „Кто творитъ таковая, яко же азъ? Яко же бо свинія ле-

житъ во калу, тако и азъ грѣху служу: но Ты Господи, исторгни мя отъ гнуса сего". Сколько-бы я такъ не перебѣгалъ — я не стану счастливѣе. Не умягчится каменный хлѣбъ моей жизни, долго буду грызть его, а потомъ все-таки умру отъ голода.

V

Прежде, чѣмъ продолжать рѣчь объ этихъ двухъ станахъ, тянущихся другъ къ другу и не слитыхъ, я хочу сдѣлать маленькое отступленіе въ область примѣровъ, взять одинъ изъ ближайшихъ и показать, что всегда, всякая „религія", всякое понятіе Бога, стремится въ жизнь, и что оно по существу не вовлекаетъ въ жизнь, если это не „понятіе Бога, какъ Отца". Даже допустивъ, что оно — хлѣбъ духовный — мы должны стоять надъ нимъ праздно; не всякая пища для человѣка съѣдобна. Я говорю о „философскихъ разговорахъ" Минскаго. Они не кончены *), но „рожденіе Бога совершилось"; поэтому можно и говорить объ этомъ Богѣ. Не хочу вдаваться въ литера-

*) Печатались въ журналѣ „Міръ Искусства". Съ тѣхъ поръ книга Минскаго вышла отдѣльнымъ изданіемъ.—*Прим. авт.* 1907 г.

турную критику; она къ дѣлу не относится. Скажу прежде всего, что эта книга (это, конечно, книга) удивительна: множество о ней приходилось слышать мнѣній — и всѣ они, всѣ до одного — кажутся вѣрными. „Очень интересная вещь, глубоко продуманная“. Да. „Ужасно тяжело читается, трудно понять, куча ненужныхъ иностранныхъ словъ, и разсудочно, а лирика безвкусна“. Тоже да. „Позвольте это буддохристіанство“! Можетъ быть. „Это пантеизмъ, только наоборотъ, съ хвоста“! Конечно. „Если это все и такъ, то, во всякомъ случаѣ, оно никому не нужно и даже не забавно. Камень въ укромномъ углу, гдѣ онъ даже не мѣшаетъ“. Увы, да. Каждое изъ этихъ мнѣній односторонне—и всѣ по своему вѣрны. Что-же, собственно, говоритъ Минскій? Кто его Богъ?

Скажу въ двухъ словахъ, насколько Богъ Минскаго уже понятенъ въ первыхъ напечатанныхъ „разговорахъ“.

То, что есть—не можетъ быть. Минскій доказываетъ это, насколько могу судить,—со стройной логикой, со всѣмъ оружіемъ разума. Но хотя того, что есть, и не можетъ быть—оно все-таки есть; это противорѣчіе

устраняется признаніемъ Бога, который, такимъ образомъ, и есть—„Не Можетъ Быть“. Ясно, что Богъ „Не“, Богъ, котораго мы, существующіе, убиваемъ, вытѣсняемъ оттуда, гдѣ мы есть, тѣмъ, что мы есть,—не только не Отецъ, но вообще Богъ, не имѣющій къ намъ никакого отношенія, какъ и мы къ нему, ибо мы и онъ—взаимно другъ друга исключаемъ.

Сознаніе этой истины—и есть „религія“ Минскаго. Если такое сознаніе, говоритъ онъ, сдѣлается достояніемъ каждаго—жизнь человѣческая измѣнится. Какъ она измѣнится—Минскій не объясняетъ, не опредѣляетъ. Естественно, потому что этого представить себѣ нельзя. Возможно, что люди, пришедшіе къ сознанію такой „истины“ умерли-бы, или впали въ тихій идіотизмъ; но это лишь предположенія, ни на чемъ не основанныя; я не знаю: и потому именно не знаю, что подобная „религія“ невосприниmаема человѣческой природою—религія четвертаго измѣренія. Мнѣ даже все равно, если тутъ дѣйствительно „истина“. Она пройдетъ сквозь человѣка, а онъ ея не замѣтитъ; она—безотносительна. Это не хлѣбъ тѣла—ибо это понятіе о Богѣ, хотя какъ не

Отцѣ. Это—для насъ—просто ничего, пустое мѣсто.

Но создающій религію — любитъ ее и, изъ-за любви, еще не видитъ, что и его она не спасетъ: вѣдь въ немъ та же, наша-же, человѣческая природа. Онъ знаетъ, что религія крѣпка лишь жизнью, и потому хочетъ ввести ее въ жизнь, говоритъ, что жизнь отъ нея измѣнится. Но раньше надо дать религіи ликъ, поставить ее на ноги, освѣтить ее символами,—и это Минскій старается сдѣлать.

Тутъ въ его обѣщаніяхъ уже есть нѣкоторая опредѣленность.

Мы готовы слушать его обѣщанія — но можемъ и не слушать. Когда человѣкъ или умретъ, или вообще такъ измѣнится, что потеряетъ свойство чувствовать голодъ—тогда, можетъ быть, онъ и полюбитъ пустоту, и станетъ она ему нужной. До тѣхъ же поръ человѣку нуженъ другой человѣкъ, хлѣбъ, работа, обязанности и, ежели свобода—то послѣдняя, высшая, которое есть высшее повиновеніе: „не моя, а Твоя да будетъ воля“. И пока все это человѣку нужно, то-есть пока онъ человѣкъ—ему нуженъ Отецъ, а не пустота; хоть и божественная, не пу-

стыя молитвы, молитвы для молитвъ. Никогда пустые храмы не построятся на нашей землѣ — потому, что нѣтъ для нихъ земного камня.

Такимъ образомъ логическая истина Минскаго (пускай это будетъ истина!)—не религія, ибо она не пріемлема жизнью и, какъ религія, не можетъ имѣть ни одного послѣдователя, даже своего собственнаго творца. Если-бы въ ней было больше спутаннаго, неяснаго, какая-нибудь тѣнь, которую можно-бы принять обманно за тѣнь надежды, или страха, или того, что люди зовутъ любовью—то изъ нея, очень вѣроятно, образовалась-бы небольшая секта. Для секты въ этой „религіи“ есть матеріалъ, а именно „не“—отрицаніе, разрушеніе. Впрочемъ и самое „не“ тутъ слишкомъ выявлено, его нельзя понять внѣшнимъ образомъ, въ видѣ протеста, какъ оно нужно для секты. Тутъ оно имѣетъ свой, къ тому-же черезчуръ обнаженный видъ, и дѣлается безсильнымъ, бездѣйственнымъ, отходитъ въ пустое пространство.—Удивительная вещь—секты, и наши, и вообще всѣ: ихъ сущность, ихъ сила—именно протестъ, отрицаніе несектантскаго. Самое зарожденіе ихъ—отрицаніе. „У васъ

такъ, а у насъ не такъ“—вотъ, на что обращено главное вниманіе сектантовъ. Я ничего не утверждаю, для этого нужны знанія болѣе глубокія, спеціальное изученіе дѣла—но мнѣ кажется, не одна секта, сдѣлайся она вдругъ господствующей, очутилась бы въ странномъ положеніи—безъ почвы протеста, безъ надобности въ пропагандѣ своихъ „не“. Даже секты не религіозныя, а нравственныя, но мнящія себя религіозными и потому старающіяся втиснуться въ жизнь—и тѣ питаются почти однимъ „не“: не надо обрядовъ, не надо курить, не надо пить, не надо ходить на войну — опять это: у васъ такъ, а у насъ не такъ. Пропагандой своихъ „не“ и держатся рожденныя отъ „не“ секты.

Пропаганда ихъ единственное дѣло, или, вѣрнѣе, призракъ дѣла, потому что жизнь ихъ все-таки въ себя не пустила. Ни одна не создала—церкви. Церковь, прежде всего, понятіе единости; она не допускаетъ ничего невходимаго въ нее, а видитъ только не вошедшее, смотритъ внутрь себя, на свое „да“, и не сравниваетъ его ни съ чѣмъ. Такая церковь, такой ликъ религіи „понятіе Отца“—и войдетъ въ жизнь, сольется съ нею, на-

полнитъ ее, пронижетъ ее, какъ духъ пронизываетъ человѣческое тѣло — если только они еще не одно.

VI

Впрочемъ, пока интереснѣе говорить о томъ, что есть, о двухъ (враждебныхъ или дружескихъ?) станахъ людей, умирающихъ съ голоду и не могущихъ соединиться. Конечно, компромиссы, уступки не помогаютъ ничему. Уступки всегда оскорбительны, онѣ отталкиваютъ того, кому уступаютъ. Я боюсь сказать, что тутъ нужна любовь; любовь нельзя создать, когда ея нѣтъ, даже если она и нужна, да и неизвѣстно, что собственно значитъ „любовь“. Такимъ образомъ, сказать „нужна любовь“—все равно, что не сказать ничего. Нужно пробить стѣну, раздѣляющую два лагеря. Хорошо, но какъ? Откуда начать? Мы боимся начинаній, потому что стыдимся малаго.А не надо-ли терпѣливо стукать долотомъ, не смущаясь, что падаютъ внизъ мелкія пылинки и углубленіе едва видно? И сто рублей составлено изъ первой, второй, третьей... копѣйки, зачѣмъ же пугаться и стыдиться копѣйки?

Вотъ мы, бѣдные, голодные люди, у стѣны

на сторонѣ хлѣба плоти, съ нашей наукой, культурой, искусствомъ, повседневными заботами, любовью къ нашимъ дѣтямъ, службой, обязанностями. Мы ихъ не отдадимъ, но намъ нужно, чтобы ихъ облила волна живой воды и мы уже знаемъ, почти всѣ, что эта вода — понятіе объ Отцѣ и Сынѣ. Да, и Сынѣ, потому что только Сынъ углубляетъ, утверждаетъ и оясняетъ до конца понятіе объ Отцѣ.

И ежели тамъ, за стѣной, — люди, дѣйствительно имѣющіе эту пищу духа и алчущіе жизни—мы не можемъ не встрѣтиться съ ними въ нашихъ тихихъ усиліяхъ разбить камень стѣны.

Раздѣленіе единодвойственной пищи, тѣла и духа, жизни и Бога,—создало и два отдѣльныхъ слова—общество и церковь. Мнѣ хотѣлось-бы знать, которымъ изъ нихъ можно назвать собраніе людей въ первые вѣка христіанства? Что это было, церковь? Нѣтъ, потому что между ними были и внѣшнія связи, общіе интересы общей жизни, взаимныя реальныя обязанности, внѣхрамныя, тѣлесныя. — Значитъ, это было Общество? Нѣтъ, потому что эти общіе интересы общей жизни родились одновременно и въ зави-

симости съ понятіемъ Бога—Отца и Сына. Что это не была ни секта ни община—ясно само собою: это (церковь или общество) было въ то время единое, обладающее понятіемъ объ Отцѣ, создалось не отрицаніемъ, не отпаденіемъ, не протестомъ, выросло не на „не“, а на „да“. Если и былъ протестъ—то уже по созданіи, и не активный, не наступающій, а лишь обороняющійся.

Я думаю, и пропаганда не была тамъ главнымъ, единственнымъ „дѣломъ“ — для общей массы людей, для всѣхъ членовъ, какъ это бываетъ у сектантовъ, когда секта, не имѣя мѣста въ жизни, держится ликомъ религіи—храмомъ и проповѣдью.

Я не забываю сотенъ годовъ, прошедшихъ со временъ перваго христіанства; исторія преобразила наше сознаніе, утонила, обострила, ояснила наши желанія; мы не хотѣли-бы, и даже не могли-бы принять прошлое, какимъ оно было, въ томъ соотвѣтствіи. Тогдашніе люди подошли къ колодцу и наполнили свои сосуды до краевъ, сколько вмѣстилось. Наши сосуды—иные, бо́льшіе, можетъ быть,—ихъ-то мы и должны наполнить „до краевъ“. Наша человѣческая природа не измѣнилась, и если было тогда

сліянье, бросившее свѣтъ на исторію міра, или хоть образъ его, значитъ,—сліяніе возможно, значитъ оно — можетъ быть и теперь, то же, но соотвѣтственное намъ, теперешнимъ, и болѣе совершенное, потому что желанья наши намъ понятнѣе и голодъ острѣе и мучительнѣе.

Трудно говорить съ увѣренностью о томъ, что такъ далеко въ прошломъ; можно лишь догадываться, получувствовать — полувѣрить; но все-таки, что-же это такое было? Какое слово?

Если и возьмемъ слово „церковь“ — то опять не въ нашемъ, привычномъ, современномъ значеніи. Но другого, слитнаго, слова нѣтъ. Пусть это была церковь; то есть—жизнь людей во всей полнотѣ; жизнь духа въ плоти; человѣческая жизнь подъ взоромъ Сына Человѣческаго.

VII

Помимо исторіи міра—есть и у каждаго изъ насъ своя исторія. И если не всѣ — то многіе, болѣе счастливые, помнятъ еще, что въ дѣтствѣ у нихъ было что-то вродѣ такого сліянья — дѣтской жизни съ дѣтской

религіей. Не полно, потому что около—жили большіе, такіе иные! но все-таки намекъ, предчувствіе было; соотвѣтственно дѣтскому двойному голоду было и двойное утоленіе. Утренняя молитва, безъ которой не дадутъ чаю; за огнемъ зеленой лампадки каріе глаза того Бога, который любитъ дѣтей и дастъ все, чего у него ни попросишь, потому что онъ еще добрѣе папы и мамы; тихая гордость своей святостью послѣ причастія; день Ангела, Божій и мой собственный праздникъ такой особенный, завѣтный, съ подарками и радостью; страстная недѣля, съ куличами, пасхами, вкусными и тоже несомнѣнно Божьими заутреня, когда ночью будятъ, и, дрожа отъ холода и ожиданія, спѣшишь въ церковь, чтобы не пропустить минуты, когда Онъ воскреснетъ, и не какъ-нибудь, а въ самомъ дѣлѣ воскреснетъ, вотъ только что не видишь Его; пасхальное утро, когда солнышко играетъ, какъ видѣлъ это Багровъ внукъ; молитва обо всемъ: о томъ, чтобы завтра была хорошая погода, чтобы папа простилъ дурную отмѣтку и чтобы все вообще было хорошо. Если заболѣетъ кто—сначала страшно, а потомъ вспомнишь, что есть Тотъ, кого попросишь — и будетъ, и

уже не страшно, а хорошо. Вся короткая, несложная жизнь гнулась подъ Божьими руками, зависѣла отъ Его рожденія, смерти и любви, и, казалось, что и быть иначе не можетъ.

Но мы стали большими, подошли къ большимъ, которые могутъ дать намъ только то, что сами имѣютъ. Они имѣютъ культуру, искусство, науку; жизнь выросла, вышла изъ дѣтской комнаты — а религія не выросла рядомъ. Имъ не хорошо — но они видятъ, что это такъ, и привыкаютъ къ мысли, что религія — „понятіе Отца и Сына“ — неподвижна и если можетъ сливаться съ жизнью— то лишь съ жизнью дѣтей или прошлыхъ, древнихъ христіанъ: у нихъ равно нѣтъ, не было ни культуры ни науки, — словомъ, что это понятіе — только имъ и „подъ ростъ“. Хлѣбъ тѣла расширился, пріумножился,—но, такъ какъ вода осталась въ томъ-же вѣчно-маломъ количествѣ, то громадный каравай выходитъ еще черствѣе, еще каменнѣе. Выросшія дѣти хотѣли-бы, по старой памяти, Бога, сливаемаго съ жизнью, ростущаго рядомъ съ ними, — а имъ говорятъ: нѣтъ, такого нѣтъ; такой Богъ—только для тѣхъ, кто простъ, какъ дитя, кто кро-

токъ, какъ голубь. Хотите жизни—живите въ ней безъ Бога; а хотите непремѣнно Бога—будетъ вамъ Богъ, но тогда проклятие хлѣбъ, радость, любовь и работу. Бросьте ихъ, или даже не бросайте, если никакъ не можете, вамъ простятъ вашу слабость, но вы должны вѣчно каяться и знать, помнить, что это тлѣнъ, гниль, грязь, прахъ.

И дѣти нейдутъ, пугаются, озлобляются. Они еще любятъ Бога съ карими глазами, котораго можно было просить о хорошей погодѣ для завтрашней прогулки. А новый требуетъ отреченья отъ „суетъ“, это уже не отецъ, это взыскательный и ревнивый хозяинъ, передающій свои велѣнія черезъ не менѣе строгихъ прикащиковъ. И дѣти нейдутъ. Да, очень мы всѣ напуганы, давно, и хоть умираемъ съ голоду—молчимъ.

Иной даже слова „Богъ“ боится, сейчасъ-же ожидая, что если Богъ—то Онъ непремѣнно у него что-нибудь отниметъ. Было время, что и стыдились этого слова, но теперь, благодаря обострившемуся сознанію нашего неизбытнаго голода, стыдъ, кажется, проходитъ. Не отнимающаго, а дающаго Бога намъ надо, прибавляющаго тѣмъ, кто уже

имѣетъ, а мы имѣемъ много—цѣлую жизнь. Вотъ этого-то Бога и надо искать и звать, не выходя изъ жизни, не покидая ни работы ни крова, потому что и зовемъ мы Его, любя наше жилище. Войдетъ Онъ, и не будетъ намъ душно.

Или, въ самомъ дѣлѣ, есть между нами такой, который думаетъ, что онъ построилъ домъ свой слишкомъ высоко, и Отецъ уже не можетъ войти въ него? Отецъ простыхъ и кроткихъ, подобно дѣтямъ,—но не Онъ-ли также и Отецъ мудрѣйшихъ, чѣмъ мы, мудрыхъ подобно змѣямъ? И какъ бояться, что отецъ захочетъ разрушить жилище дѣтей? А вотъ, я не знаю человѣка, который бы не боялся. Самые холодные—и тѣ прячутся, потому что боятся. Боится Минскій; вѣдь онъ хочетъ Бога, который не могъ бы посягнуть на его жизненную „свободу". Боится Мережковскій, горящій, кажется, чистымъ огнемъ, но въ этомъ пламени все-таки, довольно осторожный и холодноватый. А ужъ какъ боится Розановъ, этотъ верховный жрецъ жизни! Онъ острѣе всѣхъ чувствуетъ терзанія голода, но бросается отъ одного бога къ другому, отъ египетскаго божества—къ Зевсу, отъ Зевса

къ библейскому Богу, совершенно напрасно называя его Богомъ-Отцомъ. Отцомъ онъ дѣлается тогда, когда рождается Сынъ. И Розановъ все боится, все прислушивается, ходитъ около да молчитъ, гадая, не отнимется-ли у него его сила, его любовь, его семья, его жизнь.

VIII

Напуганные—мы всѣ теперь слабы. Исторія нашего голода такъ сложилась, что даже наиболѣе сознательные, признающіе, въ мысляхъ, равноправность, равносущность, обоихъ хлѣбовъ,—въ дѣйствіяхъ, въ поступкахъ все-таки ближе становятся къ хлѣбу для плоти, какъ-бы невольно вздрагиваютъ отъ смерти плоти,—и пользуются тѣмъ, что смерть духа можетъ быть не видной. Отъ этого чувство „обязанности“ „долга“ у нихъ есть—и очень сильное подчасъ—именно по отношенію къ тѣлесному хлѣбу, и только къ нему. На основаніи этого сложилась вся общественная жизнь.

Предположимъ, что я беру на воспитаніе ребенка. Я обязанъ давать ему ѣсть, и умри онъ съ голоду—всѣ, и я самъ, если я не больной и не сумасшедшій, рѣшили-

бы, что я не исполнилъ своего долга, и осудили-бы меня. А если я не только не дамъ ему духовной пищи, но даже приблизительныхъ путей, какіе знаю, не укажу—я и самъ, не говорю уже о зрителяхъ, буду, пожалуй, считать, что на это моя добрая воля, потому что тутъ я —свободенъ. Кто рѣшится манкировать службой всякій разъ, когда онъ къ ней нерасположенъ? Вѣдь онъ можетъ потерять кусокъ хлѣба, да и помимо этого, тутъ принятая на себя обязанность, осязательное дѣло—и дѣйствіе его связано. А еслибы, скажемъ, были двое или трое, даже истинно понявшіе свой голодъ и желающіе утоленія, и сговорились-бы они сойтись въ извѣстный часъ, не ради хлѣба тѣлеснаго, а прежде всего ради исканія пищи для духа, исканія, призыванія Отца вмѣстѣ—они всетаки считали-бы себя свободными, независимыми одинъ отъ другого и отъ своего слова, и, можетъ быть, сошлись-бы, а, можетъ быть, и нѣтъ. Тотъ изъ единомышленниковъ, кто не придетъ, скажетъ, что для исканія пищи духовной нужно „настроеніе“ духа, а настроеніе у него явилось. И онъ можетъ искренно не знать, что настроеніе есть всегда резуль-

татъ дѣйствія, такъ что не настроеніе нужно для дѣйствія, а дѣйствіе для настроенія.

И часъ трапезы придетъ и пройдетъ, пропущенный нами безъ тревоги, а часъ „обѣда“ не будетъ пропущенъ.

Но это ничего. Это такъ и должно быть. Чувство „свободы“ по отношенію къ хлѣбу духа—вѣрное чувство въ человѣкѣ, только смутное еще, темное, и въ понятіи смѣшиваемое со своеволіемъ съ настроеніемъ, съ капризомъ. Должна быть свобода, но перерожденная въ высшее подчиненіе, свобода, намъ еще недоступная. Мы чуемъ „свободу“, но, не понимая, замѣняемъ ее пока ребяческими вольностями, которыя, конечно, есть самое безпомощное рабство, только въ развѣвающихся свободныхъ одеждахъ. Съ нимъ и бороться не стоитъ, хотя считаться надо. Пусть же будетъ у насъ чувство обязанности по отношенію къ плоти, къ жизни, и предчувствіе свободы—къ духу, къ религіи. Когда жизнь и религія дѣйствительно сойдутся, станутъ какъ-бы одно—наше чувство долга неизбѣжно коснется и религіи, слившись съ предчувствіемъ свободы; и вмѣстѣ они опять составятъ одно, можетъ быть, ту высшую, еще неизвѣстную, свободу,

которую обѣщалъ намъ Сынъ Человѣческій; „Я пришелъ сдѣлать васъ свободными“. Когда обѣдъ и трапеза сольются, когда часы ихъ совпадутъ,—никто уже по своей волѣ не сможетъ пропустить часъ трапезы. Но еслибы мы, люди жизни, люди видимаго, пусть черствaго хлѣба, дѣйствительно вздумали тепѣрь, на досугѣ отъ дѣлъ нашихъ, собираться вмѣстѣ, искать Отца, говорить о Немъ—наше единомыслiе намъ-бы не помогло. Мы собирались-бы только ради пищи духа, ея одной,—стараясь не глядѣть другъ въ друга, непремѣнно стараясь забыть о томъ, что каждый изъ насъ дѣлалъ сегодня—и еслибъ хлѣбъ Духа (понятiе Отца) и дался намъ на это отрывочное мгновенiе, то лишь одинъ онъ, не нужный, неутоляющiй, не слитый съ плотью, несуществующiй. И только усилилась бы боль отъ разрыва. Тутъ былъ-бы компромиссъ съ нашей стороны, отреченiе отъ жизни, маленькое, на одинъ часъ, но всетаки отреченiе. И, не связанные ни высшей свободой ни долгомъ,—мы случайно разойдемся и можемъ случайно никогда болѣе не встрѣтиться, несмотря на наше единомыслiе.

Единомыслiе еще ничего не рождаетъ,

не двигаетъ впередъ. Для движенія нужны единомыслiе и единодѣйствiе. Мнѣ жаль, что нельзя написать эти два слова одно въ другомъ, какъ они должны были-бы существовать. Но, пока люди склонны больше въ одну сторону,—что-нибудь да должно итти впереди. У насъ, людей, склоненныхъ въ жизнь, единомыслiе впереди, отдѣленное отъ единодѣйствiя,—или не создастъ ровно ничего, или, въ крайнемъ случаѣ, можетъ создать секту. Тогда, пожалуй, со временемъ явится и призракъ единодѣйствiя, слабый, сжатый узкимъ кольцомъ сектантства. Притомъ отъ нашей старой жизни, прежнихъ дѣлъ, мы всетаки должны будемъ отречься, такъ какъ они не умѣстятся въ кольцѣ, или продолжать ихъ независимо, но тогда это даже и не настоящая секта. Намъ не нужна секта. Мы не хотимъ никакихъ протестовъ, а потому намъ не нужно никакихъ осторожностей, скрываній, тайнъ—ради страха; а на страхъ идетъ очень много силъ и времени. На пропаганду, на отвлеченные споры, тоже идетъ много времени: намъ не нужна пропаганда, какъ нѣчто главное, первое. Да и кого убѣждать? Всѣ согласны. Никто не хочетъ черствaго хлѣба,

держатся за него отъ страха, что и онъ отнимется, и будетъ смерть. Никто не хочетъ, чтобы была смерть, а смерть плоти всѣ знаютъ, и смерть духа всѣ чуютъ. Смутно, безсознательно, но чуютъ. Если насъ не пугать, не дергать изъ рукъ бѣдную, черную корку, а взять съ нею вмѣстѣ—мы всѣ придемъ и ободримся.

Мы должны начать съ единодѣйствія. Дѣло, дѣло, попроще, пошире, связывающее единомышленниковъ работой, деньгами, временемъ,—связывающее ихъ однимъ желаніемъ, однимъ голодомъ, однимъ исканіемъ—Отца. Если будетъ хоть одно дѣло во имя Отца—это знакъ, это надежда, что всѣ человѣческія дѣла будутъ только во Имя Его и съ Нимъ. И не будутъ-ли они тогда стройнѣе, дѣльнѣе, живѣе, хлѣбнѣе? Потому что—теперь всѣ видятъ это—даже самыя дѣльныя дѣла наши, и у насъ, и по всей землѣ, не дѣльны, не стройны, да и кормятъ насъ впроголодь.

Но мнѣ страшно. Мои слова о реальномъ еще такъ отвлеченны. Многое не ясно, но вѣдь многое и недосказано. Люди „серьезные“, „практическіе“ (или считающіе себя такими), если они и услышатъ мои слова—

упрекнутъ меня въ неопредѣленности. Какое дѣло? Дѣлъ и безъ того такъ много „во имя Отца“, особенно дѣлъ „благотворительныхъ“. И деньги, и конторы, и чиновники, и дамы... И бѣдныя, больныя дѣти... Сама жизнь!

Но, Боже мой, какъ это страшно! Какое горькое, стыдное слово „благотворительность“! Творю благо. Хорошо дѣлаю. А ты, получая, помни о томъ, что я сдѣлалъ отлично. Да развѣ накормить человѣка значитъ сотворить благо? Это значитъ только быть естественнымъ, подчиниться своему простому человѣческому желанію. Слово „благотворительность“ тянетъ за собою и другое слово, искажая и опозоривая его истинное значеніе, слово это— „жертва“. О немъ, въ прямомъ, первомъ его пониманіи, можно и должно и говорить много, потому что жертвѣ есть мѣсто тамъ, гдѣ собираются двое или трое во имя Отца. Но посмотрите, что сдѣлали изъ него, какъ его приставили крѣпко къ слову „благотворительность“ и что они вмѣстѣ значатъ! Я „жертвую на благотворительность“ О „пожертвованіяхъ на благотворительныя дѣла“ пишутъ каждый день, кричатъ. Это „жертва“

для меня, я себя лишаю, но видите, терплю эту непріятность, потому что мнѣ хочется поступить отлично. Есть даже посмертныя „пожертвованія“, въ духовныхъ завѣщаніяхъ, хотя, казалось-бы, ужъ тутъ „жертвующій“ не можетъ отвѣчать, что онъ будетъ чувствовать непріятность лишенія. У меня не можетъ быть, конечно, любви къ людямъ, лично со мной не связаннымъ, изъ-за которыхъ я выношу непріятности; но зачѣмъ любовь? Они получаютъ отъ меня корку и я знаю,—они знаютъ, что я великолѣпно поступилъ.

Слова спутались, слова померкли и мы уже не понимаемъ, что тѣ, кто „благотворяетъ“—унизители человѣка, убійцы духа; тѣ кто принимаютъ „благотвореніе“—мертвы, безстыдны. Благотворительное общество, съ вывѣской, съ явной, громко повторяемой цѣлью благотворенія—не сможетъ существовать во имя Того, Кто хотѣлъ, чтобы всѣ помогали всѣмъ въ неизвѣстности,—потому что, когда всѣ даютъ всѣмъ—всѣ неизвѣстны.

Дѣло людей, ищущихъ хлѣба жизни, спасенія себя и другихъ,—не будетъ дѣломъ благотворенія. Къ тому-же благотвореніе—

есть только даяніе, а мы и брать должны, мы хотимъ и себѣ спасенія, столько-же, сколько другимъ—ровно столько-же; мы сами голодны.

Нѣтъ, общество людей, несущихъ свой черствый хлѣбъ, чтобы оросила, умягчила его живая вода Духа—не можетъ называться благотворительнымъ. Нужно-ли тутъ только слово другое—не знаю; но вѣдь слово мѣняетъ понятіе, а понятіе мѣняетъ душу—и человѣка и дѣла. Но общество—или собраніе—единомышленниковъ, во всякомъ случаѣ, должно быть явно, открыто, стоять на землѣ, которая близка и явна всѣмъ.

Я не собираюсь писать здѣсь программъ и уставовъ общества. Я не знаю, мое-ли и дѣло опредѣлять. Я даю только намекъ, это только слово, вырвавшееся изъ общаго, смутнаго гула голосовъ, кричащихъ и просящихъ того же. И развѣ мало окаменѣвшихъ корокъ, и развѣ не все равно, съ какой изъ нихъ итти къ алтарю и просить, чтобы брызнула на нее живая вода? У каждаго изъ насъ, у самаго малаго, есть какая-нибудь своя работишка, ремесло, способъ для прокормленія, что-нибудь да онъ знаетъ, любитъ, умѣетъ. Пусть идетъ съ

тѣмъ, что у него есть, на все можетъ упасть живая капля, все нужно. А у кого совсѣмъ ничего нѣтъ, никакой черствой корки для питанія тѣла—тому пусть дастъ ближайшій къ нему, самый ближній, поскорѣе отломитъ отъ своей и дастъ, не благо творя, а просто дѣло творя, чтобы было и ему съ чѣмъ подойти къ Отцу—а всѣмъ вмѣстѣ легче итти. Можетъ быть, единодѣйствіе единомышленниковъ должно начинаться съ малаго, съ тѣхъ копѣекъ, изъ которыхъ растутъ рубли и сотни. Да и какъ имъ не вырасти? Я вѣрю, что мои единомышленники—всѣ; только не всѣ это знаютъ.

А тѣ, которые знаютъ—и о томъ, что здѣсь написано, знаютъ больше меня, видятъ дальше меня—пусть говорятъ. Я имъ вѣрю. Я ихъ слушаю.

Критика любви

1900

Давно мнѣ хотѣлось поговорить о томъ, во что превратились отношенія людей между собою, и какія изъ этого рождаются тупыя и ненужныя страданія. Потребность общаться—потребность первоначальная, съ нею человѣкъ родится. Любовь къ одиночеству, замкнутость—развиваются въ сердцѣ человѣческомъ уже послѣ, отъ условій самой жизни. Конечно, скрытность и склонность къ уединенію бываютъ наслѣдственны; но и далекая причина ихъ рожденія — все та же, неудовлетворенная, обманутая жажда общенія.

У каждаго есть внутреннее сознаніе себя и міра, какимъ онъ отразился въ его душѣ. И у каждаго есть непобѣдимое стремленіе „выявить“ свою душу, сдѣлать ее доступной для другого, воплотить въ слова, образы, звуки, дѣйствія, превратить въ явленіе, от-

дать въ міръ. Я говорю не о художникахъ только, а обо всѣхъ людяхъ вообще. Всякій испыталъ, хотя-бы въ любви, острую жажду высказать себя другому вполнѣ, — ощущеніе невозможности этого, и муку отъ невозможности. Но даже у великаго художника есть, вѣроятно, различіе, разстояніе между тѣмъ, что онъ видитъ внутри себя—и образомъ созданнымъ. Между этими двумя образами, внутреннимъ и внѣшнимъ, существуетъ только постоянная возможность сближенія; и мы вѣчно сближаемъ ихъ, дѣлаемъ похожими,—все для того, чтобы другой, по этому похожему, доступному ему, внѣшнему образу—догадался о внутреннемъ. Все для того, чтобы другой слушалъ, слышалъ, смотрѣлъ, видѣлъ, — понялъ, что у насъ въ душѣ и далъ намъ знакъ, что понялъ.

Сблизить два образа, выразить свою душу, человѣкъ можетъ гораздо вѣрнѣе, полнѣе, нежели онъ самъ это думаетъ. Не оттого нѣтъ знака отъ другого, что недостаточно выразилъ человѣкъ себя, а оттого, что другой не оборачивается на его зовъ, не смотритъ, не слушаетъ.

Люди подвигаются впередъ разбросан-

ной, безпорядочной кучей, хотя и по одной дорогѣ—но не вмѣстѣ. Всѣ кричатъ что-то другъ другу—и никто никого не слышитъ. До каждаго доносится лишь гулъ чьихъ-то голосовъ, ему-бы подойти ближе и прислушаться—но некогда подходить, у него свое отчаяніе, онъ самъ оскорбленъ, что его не слышатъ. Люди не потеряли еще голоса, дара слова,—но оглохли; пройдетъ время и, какъ всякій глухой, люди потеряютъ рѣчь и погибнутъ.

А выходъ есть: сознаніе. Только сознавъ глухоту, можно освободить въ себѣ волей свою первоначальную любовь, вниманіе къ людямъ. Слушать такъ-же важно и нужно для насъ, какъ и говорить. Вѣдь слушающій и самъ въ отчаяніи, самъ ищетъ для себя путей, а въ одиночествѣ онъ ихъ не найдетъ. Мы учимся у другого всегда, глядя въ него—узнаемъ себя. Учимся, если подходимъ со вниманіемъ, приникаемъ ухомъ, не перебиваемъ рѣчи, вѣримъ, что его мука — можетъ быть и наша. Каждая душа — драгоцѣнность; теряя ее — мы теряемъ свою.

И мы ее теряемъ, и рѣдкій человѣкъ этого не видитъ.

Теряніе души влечетъ за собою постепенное теряніе и всякой способности жить. Время наше таково, что почти всѣ люди, безъ различія окружающихъ условій, рода занятій, способностей, даже степени умственнаго развитія,—иные несознательно—слабѣютъ, перестаютъ радоваться жизни, неудовлетворены, не имѣютъ опредѣленныхъ желаній, а если имѣютъ—то обманныя желанія, исполненіе которыхъ не приноситъ имъ счастья.

Конецъ этому—медленное, вѣрное умираніе каждаго въ своемъ одиночествѣ, умираніе съ проклятіями жизни, даже не умираніе—околѣваніе. Есть, конечно, люди до такой степени безсознательные, что они и не начали быть недовольными и, какъ будто, ничего не ищутъ. Люди — цвѣты, люди — звѣри. Ихъ душа еще спитъ. Но она проснется, не въ нихъ—такъ въ ихъ дѣтяхъ, а дорога одна, все та же. Подойдутъ они къ сознанью, поймутъ, что̀ надо для жизни, захотятъ выразить себя, и если не смогутъ слышать другихъ, творить жизнь вмѣстѣ—начнутъ терять душу, потеряютъ жизнь и околѣютъ.

Посмотримъ на примѣрѣ, какъ мы въ

самомъ дѣлѣ ничего не слышимъ, — даже собственной муки сквозь слова другого не узнаемъ,—оправдываясь иногда тѣмъ, что голоса говорящихъ слабы.

Слабы! А сильный голосъ насъ совсѣмъ оглушаетъ, и гдѣ ужъ тутъ разбирать слова.

Лучше уйти подальше, „чтобы намъ не погибнуть“. Сильнѣйшій изъ голосовъ слышали люди и не слышали; потому что жаловались потомъ одинъ другому. „Что это онъ говоритъ намъ? Какія странныя слова! Кто можетъ ихъ слышать?“ И, сказавъ— отошли.

Не о сильныхъ хочу говорить, а хочу заступиться за малыхъ и слабыхъ, которые гибнутъ дурно, увлекая за собою другихъ. Слабые, загнанные, засмѣянные люди названы декадентами: ихъ не только не „слушаютъ“, но съ ними привыкли даже совсѣмъ особенно обращаться. Что-же это за люди, которыхъ даже за людей не считаютъ, и чѣмъ они хуже людей? Они—больные, говорятъ мнѣ. Но есть-ли точная мѣрка здоровья и нормальности? Для новобранца есть деревянная мѣрка средняго роста, и сейчасъ же видно — годится онъ, или нѣтъ. А какая же мѣрка для души че-

ловѣческой? Всѣ люди немного болѣе здоровые, немного менѣе. Кого-же назначить судьей, кто будетъ приговаривать и оправдывать? Часто новая мысль, родившаяся въ одномъ человѣкѣ, кажется другимъ, отъ ея непривычности, безумною; и часто, если подойти съ желаніемъ понять ее, она превращается въ ясную, въ нашу же, только еще не сознанную или еще не выраженную.

Я не говорю, что нѣтъ болѣзни, безумія: я говорю только, что надо раньше, чѣмъ отойти, рѣшить для себя съ добросовѣстностью—точно-ли это одно безуміе, выслушать — чтобы имѣть право не взять. Иногда человѣкъ бьетъ, какъ попало, въ стѣну, съ отчаяніемъ, повинуясь только неотразимой потребности общенья съ другими. Удары глухіе, а вотъ одинъ, можетъ быть случайно, острый и звонкій. Онъ и есть главный, въ немъ и правда души этого человѣка, правда и намъ нужная. Что его судить? Слушать будемъ, поможемъ ему — и онъ намъ поможетъ, ибо и мы въ отчаяньи. Мнѣ говорятъ еще: „декадентовъ“ нельзя понять, у нихъ наборъ нелѣпыхъ словъ, часто смѣшной. Можетъ быть и такъ; но вѣдь и это

все отчаяніе, наше общее отчаяніе жизни. Какъ-нибудь заставить оглянуться другого!

Тиканья часовъ мы не замѣчаемъ, надо непривычный, хоть уродливый, но другой звукъ, хоть пѣтухомъ закричать — пусть только обернутся. А что до „непонятности“ декадентовъ вообще—то, я думаю, не найдется человѣка и недекадента, который считалъ-бы самъ себя совершенно понятнымъ, окончательно понятымъ другими людьми. Тутъ опять все „болѣе и „менѣе“, а сущность одна и та же. Декаденты — неискренни, мелки, эгоистичны, полны самообожанія, черствы, жалки, неумны, — скажутъ мнѣ. Ну что жъ? Вѣроятно, и это правда. Но кто можетъ сказать про себя, что и въ немъ этого всего нѣтъ? Только-хорошихъ людей нѣтъ, какъ нѣтъ только-дурныхъ. Въ декадентѣ, и въ не-декадентѣ, есть эти черты, есть и другія. Снова мы приходимъ къ „болѣе и менѣе“; а кто будетъ судить, отдѣлять овецъ отъ козлищъ? Скажемъ лучше для многихъ уже ясную правду: никакихъ декадентовъ нѣтъ. Есть только люди, менѣе другихъ сильные, менѣе способные высказать себя—и вотъ къ этимъ то,—какъ бы ихъ не называла нерасчетли-

вая людская глухота, — мы и должны подойти и выслушать ихъ, вѣря въ ихъ отчаяніе. Они первые гибнутъ, но вѣдь за ними упадутъ и всѣ, какъ солдатики изъ картъ; упадутъ и околѣютъ.

Декадентовъ нѣтъ. Возьмемъ-же просто одного изъ самыхъ маленькихъ людей, самыхъ несчастныхъ, осмѣянныхъ, подойдемъ къ нему по-человѣчески и посмотримъ, не наша ли въ немъ мука, не то же ли самое недоумѣніе, которое живетъ теперь въ каждомъ изъ насъ, и при нашемъ одиночествѣ—для каждаго темно и губительно? Можетъ быть, это просто покинутый ребенокъ, котораго не слышатъ? Я говорю объ Александрѣ Добролюбовѣ, самомъ непріятномъ, досадномъ, комичномъ стихотворцѣ послѣдняго десятилѣтія. Это онъ первый сказалъ о „бѣлыхъ ногахъ“, Брюсовъ повторилъ: „закрой мои бѣлыя нози“—и фраза была извѣстна одно время всѣмъ, кому было извѣстно слово „декадентъ“. Ее повторяли, только ее одну, и неудержимо смѣялись, но не весело, а презрительно и негодующе.

Предлагали разныя исправительныя мѣры, говорили, что хорошо-бы „сѣчь“ такихъ „дуряцихъ мальчиковъ“; иные предпочи-

тали жестокость болѣе тонкую: притворялись серьезными, звали къ себѣ декадентовъ, серьезно и какъ-бы внимательно ихъ слушали, играли роль сочувствующихъ, вообращенныхъ, хвалили почти грубо, забавлялись этимъ недостойнымъ спектаклемъ и нечеловѣческимъ издѣвательствомъ. — Можетъ быть и слѣдовало поступать тогда жестоко, говорить правду, указывать на фальшь, комизмъ и жалкость большинства „новыхъ“ стиховъ; но никто не имѣлъ права быть жестокимъ ни съ однимъ изъ этихъ стихотворцевъ, потому что жестокость оправдывается только любовью, а ихъ никто не любилъ. Жестокость даже безсмысленна безъ любви. Попробуйте казнить человѣка какой-угодно правдой, покажите ему правду, самую неоспоримую, самую разумную—онъ не увидитъ ея, если вы его не будете любить. У одного разума—странная вещь!—нѣтъ никакой дѣйственной силы, никакой покорительной власти надъ людьми,—(какъ нѣтъ ея, впрочемъ, и у одного чувства, у безразумной, безсвѣтной любви). Во всякомъ случаѣ, равнодушной, разумной жестокостью нельзя ничего создать, никуда нельзя войти.

Помню Александра Добролюбова гимназистомъ, съ большими черными глазами на выкатѣ, съ тихимъ голосомъ, мальчишески-дерзкими словами, съ тетрадкой тогда модныхъ, безсмысленныхъ и очень плохихъ, скучныхъ стиховъ. Въ тѣ молодые, неустойчивые дни увлеченій европейской игрушкой, только что выдуманной, у Добролюбова были товарищи, но для которыхъ игрушка и была игрушкой, свойственной легкому дѣтству. Увлекались—и отпали, пошли пробовать общаться съ людьми по своимъ путямъ. Для Добролюбова, я думаю, игрушекъ не было, и наноснаго въ его стихахъ, словахъ, даже въ презрительности къ чужимъ мнѣніямъ — тоже было мало. Впрочемъ, эта презрительность всегда есть и всегда искренняя у людей, которые особенно горячо хотятъ высказать себя, подойти къ другимъ. Ее надо понять—и не повѣрить ей, такой естественной, такой трогательной.

Встрѣчался мнѣ Добролюбовъ рѣдко, потому что въ самомъ дѣлѣ производилъ непріятное, жалкое, досадное впечатлѣніе, а мы отъ такихъ впечатлѣній себя заботливо охраняемъ, вѣдь часто мы даже бо-

имся пойти навѣстить трудно больного: а вдругъ ему хуже?

Разсказывали, что Добролюбовъ чудитъ все болѣе и болѣе, хотя при этомъ много читаетъ и много работаетъ.

Чудачества его носили самый разнородный характеръ: то были дѣтски-невинны и наивны, то опасны. Онъ оклеивалъ потолокъ своей комнаты черной бумагой и убѣждалъ молодыхъ дѣвушекъ убивать себя. Письма онъ писалъ дикія, ни на что не похожія, безъ обращеній, изломаннымъ почеркомъ, и точно поддѣлываясь подъ бредъ. Его стихи по-прежнему были и неталантливы и тягостны. Въ послѣднее мое свиданье съ нимъ, раннимъ осеннимъ вечеромъ, въ чужой комнатѣ, онъ велъ себя тоже странно, говорилъ какъ будто не то, что ему хотѣлось, и лицо у него было измученное и дикое—лицо человѣка въ послѣднемъ отчаяніи. Но и тогда онъ былъ непріятенъ, досаденъ, хотѣлось уйти отъ него съ брезгливостью, съ сознаніемъ своей правоты. Недавно вышелъ сборникъ его послѣднихъ стиховъ, изданный его „друзьями“, съ предисловіемъ Ивана Коневскаго. По этому предисловію, мучительному, урод-

ливому—но и дѣтски жалкому, совершенно непонятному, — узнаю въ Коневскомъ духовнаго брата Добролюбова, такого-же бѣднаго человѣка нашихъ дней, который хочетъ и не можетъ высказать, себя, человѣка въ отчаяньи, погибающаго, одного изъ тѣхъ, кого не слышатъ. Но вернемся къ Добролюбову.

Стихи его, конечно, — не стихи, не литература, они и отношенія къ литературѣ, къ искусству, никакого не имѣютъ. Было бы смѣшно критиковать ихъ, судить,—хвалить или бранить. Это просто крики человѣческой души, которой больно такъ-же, какъ и нашей бываетъ больно. Я понимаю, что трудно подойти къ такому человѣку со вниманіемъ, безъ привычной скуки, разобраться въ его дикихъ возгласахъ и оскорбительныхъ выходкахъ, повѣрить, что въ немъ—частица насъ. Но я потому и беру Добролюбова, что къ нему трудно подойти и кажется, что вовсе не нужно подходить. Если даже здѣсь найдемъ мы нашу борьбу, наши недоумѣнія—значитъ, можемъ открыть мы ее во всякомъ, кто говоритъ намъ, кто въ отчаяніи. А его отъ довольнаго легко отличить.

У Добролюбова стиховъ немного. Первая книжка была совсѣмъ тоненькая, вторая не толще. Но между выходомъ въ свѣтъ первой книжки и второй Добролюбовъ былъ занятъ созданіемъ не стиховъ, а своей жизни. Года три тому назадъ онъ ушелъ изъ литературы, изъ университета, изъ Петербурга, отъ матери, одѣтый постраннически, замолчавшій и дикій. Говорятъ, что онъ долго жилъ въ какомъ-то далекомъ монастырѣ, работалъ, какъ послушникъ, носилъ вериги, хотя и не постригся. Черезъ годъ онъ пришелъ въ Петербургъ пѣшкомъ, былъ у товарища. Товарищъ говорилъ, что велъ себя Добролюбовъ странно: сидѣлъ на полу, пѣлъ псалмы или молчалъ. На юродиваго, впрочемъ, не походилъ, а такъ, молчалъ, не желая говорить. Денегъ у него не было, онъ питался милостыней. Спустя нѣсколько дней, онъ снова ушелъ и гдѣ теперь, и вернется-ли—неизвѣстно. Сдается мнѣ, однако, что мы еще о немъ услышимъ.

Добролюбовъ, конечно, столько-же юродивый, сколько мы всѣ. Онъ кричалъ, мучался, цѣплялся за людей, которые, — думалъ онъ, и не ошибался,—почти всѣ му-

чаются, какъ онъ, и почти тѣмъ же,—но остался, какъ былъ, въ одиночествѣ. И онъ углубилъ одиночество, создалъ для своей внутренней судьбы соотвѣтственную внѣшнюю судьбу—ушелъ въ аскетизмъ. Если говорить проще и прямѣе, то будетъ такъ: люди нашего времени отчаиваются и гибнутъ,—иногда сознательно, иногда безсознательно, — потому что нельзя человѣку жить безъ Бога. А Бога мы потеряли и не находимъ. Религіи отреченія, аскетизма, одиночества противится наше углубившееся сознаніе, которое видитъ, что въ природѣ человѣческой, рядомъ съ желаніемъ Бога, лежитъ желаніе жизни, и мы хотимъ религіи, которая-бы оправдала, освятила, приняла жизнь. Религіи не одиночества, а общенья, соединенія многихъ — во имя единаго. Но сознанье наше все-таки еще слабо, и потому мы, хотя и мучительно, хотимъ общенья, хотимъ высказать свое людямъ, создать святость,—не умѣемъ слушать другихъ, подать имъ знакъ во время, спасти ихъ и себя. Въ Добролюбовѣ, несомнѣнно, какъ во многихъ и многихъ теперь, жила смутная жажда этой новой, неизвѣстной и необходимой религіи не отреченія отъ

жизни, а освященія и принятія ея, жажда свободнаго оправданія и плоти и духа равно—потому что всякій изъ насъ—плоть и духъ равно. Добролюбовъ не хотѣлъ свободы для одного духа или для одной плоти, какъ и мы не хотимъ. Вѣдь не хотимъ мы ни свободы духа—смерти ни свободы плоти—животности. Вотъ слова Добролюбова:

„Мы не хотимъ превратной свободы,
Будемъ покорны законамъ всего.
Эти деревья, животныя, воды
Ходятъ путями Творца Самого“.

Повторяю, не надо и думать, что это „искусство“, или что „не искусство“.

Мы только смотримъ со вниманіемъ въ душу человѣка, слабаго, похожаго на всѣхъ людей.

Далѣе, у Добролюбова идетъ путаница, надрывъ безсилія, а потомъ опять искренняя мука, все одна:

„Но не свободна наша свобода
И мы умираемъ, что-то безумно любя“.

Какая свобода „не свободна“? Конечно, та, „превратная“, которой онъ „не хочетъ“, но въ которой живетъ и умираетъ, что-то безумно любя. Вотъ это „что-то“, и любовь

къ нему—слова не случайныя, въ нихъ—ужасъ одиночества. Онъ говоритъ дальше, и тутъ ужъ прямо крикъ:

„Кто можетъ изъ знаетъ другое — скажи,облегчи!“

Кто зналъ—не услышалъ крика и ничего ему не „сказалъ“. Дѣйствительно была у Добролюбова, если не въ сознаніи, то въ мукѣ, все возрастающая потребность слить въ одно два начала человѣческой природы — любовь къ небу и любовь къ землѣ. Оправдать духъ плотью, оправдать плоть — духомъ. Добролюбовъ говоритъ вдругъ просто, какъ ребенокъ:

„Я освятить хочу и молочь“.

Вотъ именно то, чего мы всѣ хотимъ, теперь, какъ всегда, теперь болѣе сознательно, чѣмъ всегда: освятить и мелочь. Нужна человѣку святость, нуженъ Богъ; но и „мелочь“ мы любимъ нашимъ, Богомъ созданнымъ, сердцемъ, и до ужаса надо намъ ее освятить именно потому, что мы любимъ. Религія аскетизма и одиночества не освящаетъ любимаго нами, а говоритъ: „отрекись“, или не отрекайся, но тогда знай,

что это не святое, а „грѣхъ“. И людямъ пока нѣтъ другихъ путей: жить въ Богѣ, но безъ жизни, или съ жизнью, но въ „грѣхѣ“, то-есть въ великой мукѣ и борьбѣ. Тѣ, кто не выносятъ мученій — стараются жить лучше совсѣмъ безъ Бога, безъ религіи — въ одной жизни. Но это противъ природы человѣческой, тутъ опять одиночество, потому что единственное нужное намъ неодиночество—только во имя Бога; а отъ только жизненнаго общенія — всякій явно или тайно страдаетъ. И люди гибнутъ, не умѣя создать то, чего одного они хотятъ — религію соединенія, сліянія смерти съ жизнью.

Послушаемъ еще Добролюбова. Въ немъ мы.

„Царство идетъ неизмѣнное,
Царство плоти и крови!

Солнце, вселенную къ славѣ маня, далеко заходитъ. Кровь! Плоть! Утѣшься, на вѣчный закатъ не гляди.

Солнце, вселенную къ славѣ маня, далеко заходитъ. Кровь! Плоть! Утѣшься, на вѣчный закатъ не гляди“.

Что это за странныя слова! Кто можетъ

это понять? А между тѣмъ о крови и плоти говорилось людямъ много вѣковъ назадъ. Данъ былъ завѣтъ освящать ее въ глубокомъ любовномъ общеніи. Но люди, ставъ одинокими, потеряли святость, и вотъ умираютъ, потому что имъ нельзя жить безъ святости.

Какъ-же, гдѣ искать ее? Не знаю, какъ, но знаю — гдѣ: не въ одиночествѣ, а въ единеніи.

Послѣднія страницы книги Добролюбова говорятъ намъ, что борьба въ человѣческой душѣ кончилась: Богъ побѣдилъ жизнь. Борьба происходила въ одиночествѣ—и побѣдилъ Богъ одиночества, Богъ аскетизма и отреченія. Въ другой душѣ, можетъ быть, побѣдитъ жизнь; но обѣ эти побѣды—равно—пораженіе. Добролюбовъ боролся въ пустынѣ, упалъ въ одинокаго Бога—и ушелъ:

„... Себя иному жребью обрекаю
За что-то (опять это „что-то“) можетъ пострадать
И многіе не вспомнятъ обо мнѣ.
... На рубежѣ таинственной страны,
Передъ покоемъ вѣчнаго успенья,
Творца молю я съ мыслями простыми...“

„Простыя“ мысли, „вѣчный покой“... Гдѣ-же крики и борьба? И руки, съ отчаяніемъ протянутыя къ людямъ?

Гдѣ гимны плоти и крови, святой плоти и крови? Тишина. Вѣчный покой. Вѣчное успенье. Смерть.

Онъ счастливъ, скажутъ мнѣ, онъ нашелъ, но не то, что искалъ. Нашелъ для себя. А мы, которые ищемъ, хотимъ ли мы такой правды? Хотимъ-ли Божьей смерти? Нѣтъ, мы Бога хотимъ. Мы Бога любимъ. Намъ надо Бога. Но и жизнь мы любимъ. Значитъ и жить намъ надо. Какъ-же намъ жить?

Современное искусство

Мы поѣхали на открытіе выставки „Современнаго искусства“.

И началось съ того, что мы попали не туда. Какъ? это и есть современное искусство? Казалось, что это все та же унылая, слякотная улица. Холодныя, унылыя залы, полуосвѣщенныя. Унылыя, сѣрыя дамы. Молчаніе. По стѣнамъ—страшныя, сѣрыя картины... Мы не повѣрили, что мы тамъ, куда ѣхали—и были правы. Это была „французская выставка“. Мы сбѣжали съ темныхъ лѣстницъ, перешли по грязи въ подъѣздъ напротивъ. И вотъ, сразу—теплота, и ароматы, и ласковый, но свѣтлый свѣтъ уютныхъ огней. Какъ хорошо! Художники-устроители, настоящіе современные художники, положили сюда живую душу, живую любовь къ большой красотѣ. Они поняли, что мѣсто искусству не только на полотнѣ или въ мраморѣ (придешь, полюбуешься,—и до-

мой вернешься), но мѣсто ему и въ жизни. Надо, чтобы красота сопровождала васъ повсюду, чтобы она обнимала васъ, когда вы встаете, ложитесь, работаете, одѣваетесь, любите, мечтаете или обѣдаете. Надо сдѣлать жизнь, которая прежде всего уродлива,—прежде всего прекрасной.

И вотъ, передъ нами рядъ комнатъ, всѣ различныя, какъ различны мечты различныхъ художниковъ, какъ различны сами души художниковъ. Но всѣ цвѣты прекрасны, хотя и не одинаковы. Каждая комната мнѣ казалась цвѣткомъ. Вотъ круглый, бѣлый и алый, будуаръ Бакста. Свѣжія, блѣдныя стѣны, тонконогіе, полустрогіе, полуласковые диванчики и легкіе стулья... На каминѣ, подъ прямымъ зеркаломъ, плотные ряды бѣлыхъ и алыхъ тюльпановъ. А вотъ зеленовато-сизый покой Коровина. Потолокъ, шкафы, столъ—изъ тускло-поблескивающаго сѣрымъ серебромъ дерева, по стѣнамъ связные, полузеленые-полусѣрые, диваны и такія же подушки съ вышитыми, рѣдкими и круглыми, синими цвѣтами... И еще комнаты, и переходы... Вотъ тонкая, прозрачная и прямая электрическая лампа... Низкая кушетка, нѣжно выгнутая... А вотъ,

подъ стекломъ, драгоцѣнное ожерелье, созданное все тою же любовью и тонкостью художника; дальше—женское платье, сверкающее сѣрымъ огнемъ... Все, что нужно, чтобы жить въ красотѣ, купаться въ ней непрерывно.

Переходя изъ комнаты въ комнату, изъ одного теплаго, благоухающаго цвѣтка въ другой, мы наслаждались, наслаждаясь утомлялись, утомляясь—задумывались.

Сядемъ, отдохнемъ, хотя бы здѣсь, въ этой милой, такой простой и благородной, комнатѣ-цвѣткѣ Коровина. Да, хорошо! Вотъ вершина современнаго искусства. Вотъ куда оно шло. Осуществилась цѣль. Красота воплощается, входитъ въ жизнь. Моя жизнь можетъ сдѣлаться прекрасной. И какъ просто! Дорого, правда, стоитъ, но вѣдь это вздоръ, найдено главное. Принципъ прекрасной жизни найденъ.

И я мечтаю, что у меня много-много денегъ. Баснословно много, милліонъ милліоновъ рублей. Художники мнѣ служатъ, рисуютъ, создаютъ. Я зову обойщиковъ,—опытныхъ; умѣющихъ,—они устраиваютъ мнѣ точно такія, прекрасныя комнаты—и вотъ, я начинаю въ нихъ жить.

Живу, напримѣръ, въ комнатѣ Коровина. И все вокругъ меня, каждая вещь, каждая мелочь—прекрасны. Лежу я на сизомъ диванѣ, работаю на серебристомъ столѣ... Все такъ заботливо и любовно мнѣ устроено, живи и наслаждайся. И я живу. И мнѣ страшно. Чѣмъ дольше живу—тѣмъ все страшнѣе. Должно быть, мнѣ чего-то недостаетъ, и чего-то ужасно важнаго. Я вспоминаю, что вѣдь ужъ было это, жили когда-то веселые люди въ прекрасныхъ жилищахъ, окруженные прекраснымъ—хотя бы помпейцы; жили, и ничего имъ, какъ будто, не недоставало. Но вспоминая—вспоминаю, что на стѣнахъ ихъ жилищъ смѣялись веселые боги, надъ очагомъ стояла, улыбаясь, покровительница, та, которую они любили и въ которую вѣрили; подъ ея улыбкой они жили, подъ ея улыбкой сходили въ тѣнь Аида. Красота, трагедія, жизнь и смерть были слиты у нихъ въ одно созвучіе. Красота ихъ жизни находила отвѣтную красоту смерти. А теперь? А здѣсь? мнѣ въ комнатѣ—цвѣтникѣ, созданіи современнаго искусства,—какъ умирать? Я здѣсь не смѣю умирать, потому что здѣсь все устроено *только* для жизни, для тихаго, равномѣрно усыпительнаго на-

слажденія жизнью; тутъ, въ этой комнатѣ, даже рѣзкая душевная мука, трагедія,—оскорбительна, разрушительна. А смерть—невозможна! Здѣсь нѣтъ мѣста ничему, что выливается за края нашей жизни, нѣтъ мѣста даже и для улыбающейся древней богини, не только для того Бога, котораго бы приняла моя теперешняя душа. Безъ какого бы то ни было Бога мнѣ невозможно умереть, а потому невозможно и жить, Такъ было всегда. Такъ есть и теперь. Такъ будетъ и дальше.

Въ моей теперешней уродливой квартирѣ съ безобразными столами и креслами, съ полками старыхъ книгъ, съ яркими занавѣсями и съ образомъ Христа въ углу,—я могу умереть, смѣю, сумѣю; а здѣсь, около этихъ красивыхъ диванов, на ребристо-сѣромъ столѣ, мое мертвое тѣло—какое кощунство! И сама „красота“ комнаты, вся гармонія полутоновъ, линій,—все разрушено. Для такой красоты, смерть—непредвидѣнное и непріемлемое безобразіе. Это—красота, но отнюдь не вѣчная, а лишь для „пока“, для „здѣсь“. Какъ современная наука говоритъ намъ: „все здѣсь, и начало и конецъ, а больше нѣтъ ничего“, и спра-

ведливо называется позитивной наукой.—такъ и современное „новое“ искусство, дающее намъ всяческую красоту для устроенія чисто-прекрасной жизни, только жизни,—есть не что иное, какъ тотъ же старый *позитивизмъ*.

Изъ теплыхъ, душистыхъ залъ мы вышли на улицу. И на какую улицу! Январьская оттепель съ желтымъ небомъ, съ чернымъ, жидкимъ снѣгомъ; когда снѣгъ дѣлается грязью—онъ грязнѣе грязи. Сверху что-то падало. А можетъ быть лилось. Вѣтеръ хлесталъ больно, точно мокрымъ полотенцемъ били по лицу. Ползали коричневые, сплошь грязные люди. Кучка современныхъ художниковъ, конечно, не нашла бы на улицѣ сознательно сочувствующихъ ихъ желаніямъ. Улица чужда всякой красотѣ и—спросите любого встрѣчнаго—онъ никогда не скажетъ вамъ, что хочетъ красоты въ жизни, что это—цѣль жизни. Онъ скажетъ вамъ, что высшіе идеалы не эстетическіе, а этическіе. Кучка художниковъ и улица думаютъ, что между ними—бездна, глубочайшее различіе,—они искренно презираютъ другъ друга; очень искренно не знаютъ, что, въ сущности, ни малѣйшаго различія

между ихъ идеалами нѣтъ. Коричневые люди на улицѣ нисколько не нравственные люди; но и эстеты не всѣ сплошь живутъ въ красотѣ, — у иныхъ нѣтъ милліона милліоновъ рублей; это, вѣдь, только принципъ, только выставка. У моралистовъ улицы тоже есть свои выставки,— мало-ли! Разныя „братства“, „нравственныя бесѣды“, косоворотка Горькаго (принципъ!), любовь Ясной Поляны. Но и тѣ и другіе, и эстеты и моралисты, если выразятъ свое послѣднее желаніе, свою мечту,—сойдутся... Даже въ словахъ: „надо устроить прекрасную жизнь“. Одинаково ли они понимаютъ слово „прекрасное“—все равно. Это по существу различія не дѣлаетъ.

И вотъ, устраиваютъ. Одинаково искренніе, одинаково позитивные--и одинаково безсильные, потому что совершенно одинаково начинаютъ съ конца. Безсильные устроить *жизнь*. Думая, что устраиваютъ жизнь—они лишь что-то устраиваютъ *для* жизни. Устроили, готово, пожалуйте! Братство, разумный трудъ, взаимопомощь,— тоньше кружевного золотое ожерелье, бѣлоалые тонконогіе стулья, умывальникъ, нѣжный, какъ дѣвушка.... Только бы жить! А жизнь не приходитъ, не начинается, а ка-

кая есть—идетъ мимо. Два русла проложено; какъ старались — прокладывали,—и оба сухи. Зачѣмъ убивать столько напраснаго труда? Отвалить бы камень отъ истока воды; она бы нашла свое русло; и слила бы въ одну живую, истинно новую, рѣку этику и эстетику.

А еще совсѣмъ недавно казалось, что путь современнаго искусства—не конечный путь, не знакомый благоразумный путь „добра для добра“ (красоты для красоты). Чего-то мы отъ него ждали, на что-то надѣялись. „Благоразуміе“ эстетовъ казалось безуміемъ. „Мы для новой красоты—нарушаемъ всѣ законы, преступаемъ всѣ черты.“ Когда-то это казалось полетомъ. А теперь, любуясь комнатами-цвѣтами (цвѣтами безъ корней), переливами сѣрыхъ блесковъ на женскомъ платьѣ, красными стульями у зеркала, совиными глазами на стѣнѣ,—мы ясно видимъ, что ни малѣйшаго полета не было, и даже не было мысли о немъ; и даже летѣть отсюда совершенно некуда и незачѣмъ. Прекрасно можно устроиться и безъ крыльевъ. Благоразумнѣе всего не желать невозможнаго. Что есть—то есть. Наслаждайся, живи да поживай.

Ну а какъ же, все-таки, смерть?

Послѣдняя беллетристика

Въ „Вѣстникѣ Европы“ все благополучно. Все стоитъ на мѣстѣ. Январьскія „belles-lettres“ начинаются, конечно, г. Боборыкинымъ, — его разсказомъ „Законъ жизни“. Кому случалось наблюдать газетнаго интервьюера „въ дѣлѣ“, тотъ, конечно, замѣчалъ, что на „маститаго писателя“ или даже тенора, „любимца публики“, обращается этимъ „совопросникомъ“ мало вниманія: интервьюеръ мучительно напряженъ уловленіемъ отдѣльныхъ словечекъ, занятъ мыслью о томъ, запомнитъ ли онъ ихъ, запомнитъ ли, гдѣ стоитъ стулъ у сегодняшняго любимца, и какъ онъ, интервьюеръ, завтра обо всемъ этомъ напишетъ. Прежде всего—онъ!

Такимъ интервьюеромъ кажется мнѣ г. Боборыкинъ. Онъ не наблюдаетъ жизнь: онъ ее вѣчно интервьюируетъ, и даже—лишь одинъ сегодняшній день жизни. Для самого интервьюера нѣтъ ни малѣйшаго интереса

въ интересѣ дня. Ему совершенно все равно, писать ли о Некрасовѣ, о реформахъ женской одежды, о предсказаніяхъ Демчинскаго. Талантъ интервьюера — его умѣнье услышать во-время, о чемъ всего болѣе говорятъ. Г. Боборыкинъ—интервьюеръ талантливый. Въ прошломъ году въ столичныхъ кружкахъ замѣчался подъемъ интереса къ вопросамъ идеалистическимъ, религіознымъ, въ связи съ толстовствомъ и сектантствомъ, не забывали и недавняго „декадентства“,—и въ „Вѣстникѣ Европы“ тотчасъ же появился романъ г. Боборыкина „Исповѣдники“, сплошь трактующій о вѣрѣ, невѣріи, исканіяхъ и сектахъ. Впрочемъ, жена „ищущаго вѣры“ интеллигента была декадентка „съ Апокалипсисомъ“. Заслышалъ г. Боборыкинъ, что гдѣ-то заговорили о бракѣ, о полѣ, о семьѣ, о дѣтяхъ... И онъ поспѣшно пишетъ „Законъ жизни“, и разсказываетъ, какъ двое любящихъ супруговъ сначала оба ни за что не хотѣли имѣть дѣтей, а потомъ, когда все-таки родился ребенокъ, то мать поняла, что это „законъ жизни“ и полюбила ребенка, а отецъ ничего не понялъ и не полюбилъ. *Что* хотѣлъ этимъ сказать г. Боборыкинъ—неизвѣстно; но для интервьюера важно не

что онъ говоритъ, а лишь *о чемъ*. Важно схватить здѣсь, тамъ... если сюжетъ требуетъ — можно съѣздить взглянуть на живого раскольника,—и повѣсть готова, самая современная. Но что-то случилось съ читателями; они устали отъ неутомимаго интервьюера жизни и отъ его немножко старомодныхъ фельетоновъ, которые онъ выдаетъ за „искусство“. Г. Боборыкинъ пишетъ, все пишетъ,—а его не читаютъ. И менѣе всего читаютъ тѣ, кто интересуется современными вопросами. А потому довольно о г. Боборыкинѣ. Поговоримъ о другомъ „беллетристѣ“, тоже старомъ, не въ примѣръ болѣе крупномъ и глубокомъ, уважаемомъ и неизвѣстномъ—о г. Альбовѣ. Насколько легокъ, словно весенній мотылекъ, г. Боборыкинъ,—настолько неподвиженъ этотъ гробмадный черный камень — г. Альбовъ. Онъ лежитъ давно. Помнится, онъ началъ писать раньше Гаршина и сразу занялъ почетное мѣсто въ литературѣ. Къ сожалѣнію, его имя, по какой-то роковой случайности, сплелось съ именемъ г. Баранцевича, и это послѣднее стало бросать на него веселый отблескъ своего ничтожества. Въ январьской книгѣ „Міра Божьяго“ находимъ по-

вѣсть г. Альбова „Глафирина тайна“. Это продолженіе его же „Тоски“, напечатанной лѣтъ восемь тому назадъ въ „Сѣверномъ Вѣстникѣ“. Авторъ спокойно начинаетъ свое повѣствованіе съ того момента, на которомъ онъ его прервалъ. Та же „тоска“, тѣ же образы, тотъ же стиль, яркій — тяжело-выпуклый, хорошаго стараго типа; тѣ же мысли. Прошло восемь лѣтъ: въ жизни, въ сердцахъ людей, въ искусствѣ многое рушилось, создалось вновь, преобразилось,—и всѣ восемь лѣтъ прошли *мимо* г. Альбова, какъ будто онъ просидѣлъ все время одинъ въ петербургской меблированной комнатѣ съ запертыми дверями и даже форточками. Годы—мгновенія для него—пролетѣли: и вотъ талантъ г. Альбова опять проявился--совершенно такъ же, совершенно тотъ же. Онъ слишкомъ крупенъ, конечно, чтобы собирать пыль современности, подобно г. Боборыкину,—но какъ знать, не слишкомъ ли онъ малъ, чтобы смѣть быть неподвижнымъ?

Что касается общей массы читателей,—то прежде „тоска“ г. Альбова еще трогала ее, но и то слегка: она будила отвѣтное чувство тоски, а это чувство непріятно,—и Альбова не любили. Теперешніе, самые но-

вые беллетристы умѣютъ вызывать со дна души человѣческой нѣчто, ей тоже сродное, но тайное и сладкое — прежде, какъ будто, стыдное, теперь, какъ будто, почетное и гордое. Стало позволено упиваться „сладкимъ“, и можно даже самообманываться, думая, что вѣдь это, въ сущности, „бичеванье порока“. И вотъ всякая „тоска“ забыта для веселаго веселья „бывшихъ“ людей и упоительныхъ „безднъ“. Г. Андреевъ, московскій беллетристъ, — несомнѣнно самое яркое свѣтило въ новооткрытомъ „созвѣздіи Большого Максима“. Это созвѣздіе, какъ явленіе, очень важно и знаменательно. Но пока я коснусь только г. Андреева и его послѣдней повѣсти „Въ туманѣ“, напечатанной въ декабрьской книжкѣ „Журнала для всѣхъ“. Въ этомъ литературномъ „омнибусѣ“, гдѣ даже г. Бальмонтъ, послѣ нѣкотораго стихотворнаго колебанія, рѣшаетъ быть „какъ всѣ“,—г. Андреевъ и компанія свили, повидимому, прочное гнѣздо. И г. Андреевъ разсказываетъ „всѣмъ“ о гимназистѣ, который сначала рисовалъ неприличныя картинки, потомъ заразился нехорошей болѣзнью и, наконецъ, пошелъ къ проституткѣ и убилъ ее, вса-
живая „ножъ, съ налипшимъ на него хлѣ-

бомъ“ въ животъ, „который при этомъ надувался, какъ пузырь“, а гимназистъ его „протыкалъ“. Яркость описаній и сила разсказа только подчеркиваютъ характерную особенность его и всѣхъ вообще послѣднихъ произведеній писателя. Г. Андреевъ не владѣетъ ни своимъ замысломъ ни чертами подробностей въ разсказахъ—онъ, начиная писать, дѣлается ихъ рабомъ. Та, если хотите, безкорыстная, любовь къ грязи, зародышъ которой живетъ почти въ каждомъ человѣкѣ, въ г. Андреевѣ и его произведеніяхъ достигла пышнаго, едва ли не болѣзненнаго развитія. Онъ, какъ будто, сидитъ на краю дороги послѣ осенняго дождя, медленно забираетъ рукой жидкую грязь и, сжимая пальцы, любуется, какъ она чмокаетъ и ползетъ внизъ. Въ этомъ нѣтъ ничего, кромѣ властно покоряющаго, своеобразнаго наслажденія: это обратный, но тоже безпримѣсный, — эстетизмъ. Напрасно хотятъ навязать г. Андрееву какія-то мысли, тенденцію, мораль: оно „чистый“ художникъ. И напрасно думаютъ восхищенные имъ, что они восхищены силою, съ которой изображенъ „презрѣнный“ порокъ и „возмутительныя“ условія жизни. Ничего этого нѣтъ.

Они просто смотрятъ, какъ чмокаетъ грязь между пальцами, какъ упоенъ ею сидящій при дорогѣ,—и понемногу заражаются этимъ упоеніемъ, потому что всѣ къ нему склонны. Это и есть та сладость, тайная и дѣйствительно страшная, которая прежде была забиваема и скрываема, а теперь, такъ или иначе, сдѣлалась дозволенной.

Ничто въ тѣлѣ человѣческомъ не можетъ быть доведено до большей святости, чѣмъ полъ,—за то ничто нельзя и превратить въ болѣе страшную грязь, чѣмъ полъ. И послѣднія исканія „чистой“ грязи г. Андреевъ обращаетъ именно въ сторону пола. Студентъ, насилующій дѣвушку послѣ трехъ босяковъ въ „Безднѣ“, созданъ лишь для утоленія этой мучительной жажды послѣднихъ предѣловъ мерзости—жажды, томящей г. Андреева и понемногу просыпающейся въ его читателяхъ. Не одному гимназисту помогъ гимназистъ изъ „Тумана“ гордо открыть въ себѣ источники тайнаго, сладкаго ужаса.

Мы знаемъ, какъ судили раба, который зарылъ данный ему талантъ въ землю. Какъ будутъ судить этого новаго раба, г. Андреева, вѣчно кидающаго даръ Божій—въ грязь?

Читаю книги

Мнѣ скучно.

Читалъ-читалъ цѣлый мѣсяцъ и журналы, и газеты—нечего даже на поляхъ отмѣтить. Газеты—сѣрыя, извнѣ и внутри. Новая газета „Заря“ — особенно сѣра. Издаетъ ее „идеалистъ“, и называется она „Заря“,— могла бы, кажется, быть посвѣтлѣе. Сѣрыя, дождливыя зори намъ давно надоѣли. Московская газета „Русское Слово“ ополчилась на меня. Какъ можно быть Антономъ Крайнимъ? „Къ чорту“ Антона Крайняго! (Стиль журналистовъ еще варварскаго времени, какъ видите). Я, было, удивился ярости корреспондента — но тотчасъ же все объяснилось: замѣтка была подписана Антономъ Среднимъ. Еще бы среднему не возмущаться крайнимъ? Серединность не выноситъ ничего, кромѣ себя, и если допускаетъ крайности—то лишь въ газетной полемикѣ, гдѣ

уже не стѣсняется. Такъ и быть должно. Хорошо еще, что середина подписывается, что она середина. Или, можетъ быть, это по наивности?

Читалъ „Вѣстникъ Европы“—ничего не нашелъ. Не журналъ,—а благородная окаменѣлость. Въ романѣ г. Оболенскаго, впрочемъ, льются слезы. Проливаетъ ихъ барышня, наблюдающая борьбу народниковъ и марксистовъ. Барышня изо всѣхъ силъ старается ихъ примирить, но они не примиряются, и барышня рыдаетъ на протяженіи четырехъ или пяти печатныхъ листовъ.

Въ „Русской Мысли“ набрелъ на нѣкоторый „пассажъ“: г. Боборыкинъ, нашъ интервьюеръ“ жизни, устами своей героини („Высшая школа“),—дамы очень образованной, умной, благородной, отъ лица которой ведется разсказъ и которой авторъ явно сочувствуетъ,—говоритъ:

„...И почему-то мнѣ вспоминался все стихъ *Некрасова* --- едва ли не единственный русскій поэтъ, изъ котораго я кое-что знаю наизусть:

„То ликовалъ иль мучился порокъ“.

Къ сожалѣнію, это стихъ не Некрасова, а Лермонтова, изъ его „Сказки для дѣтей“.

Маститый интервьюеръ къ литературѣ и поэзіи относится съ такой же, если не большей, легкостью, какъ и къ жизни. Оно и понятно: Лермонтова и Некрасова нельзя больше интервьюировать. Ихъ уже надо читать. И читать со вниманіемъ.

Трудно въ теперешнія поспѣшныя времена что-нибудь литераторамъ читать. Было бы когда писать! Беллетристамъ, впрочемъ, необходимо лишь знать старую литературу, современниковъ имъ не читать, пожалуй, позволительно; а вотъ критикамъ, которые безъ этого обходятся — трудно бываетъ. „Новое Время“ недавно напечатало за чужой подписью стихотвореніе г. Минскаго, одно изъ весьма извѣстныхъ, уже четырежды напечатанное въ изданіяхъ самого поэта и безчисленное количество разъ въ сборникахъ и хрестоматіяхъ. Въ сѣроватенькой книжкѣ „Нивы“, въ февралѣ, появилась торжественно повѣсть „Гдѣ правда, тамъ и счастье“ г. Гордика, принятая г. Сементковскимъ,—а оказалась она повѣстью небезъизвѣстнаго писателя г. Ясинскаго, тоже давно, два раза, напечатанною. Впрочемъ, г. Сементковскому есть извиненіе — если не его знанію современной литературы, то его ли-

тературному вкусу: повѣсть очень плоха, скучна, длинна, написана неуклюже (вѣроятно, она—одно изъ очень старыхъ произведеній г. Ясинскаго, который пишетъ теперь легко, подчасъ красиво, сжато). Г. Сементковскій вполнѣ могъ допустить, что повѣсть принадлежитъ г. Гордику и годна для беллетристическихъ складовъ „Нивы“. Позднѣйшія произведенія г. Ясинскаго, вѣроятно, для нихъ бы не пригодились. Впрочемъ, во всѣхъ произведеніяхъ этого писателя, равно и въ данной повѣсти, сохраняется одна его главная особенность: крайняя пустота. Онъ, говоря, ничего не говоритъ. Почитайте его журналъ „Ежемѣсячныя Сочиненія“, сплошь написанный самимъ редакторомъ: тонко, образно, умѣло и—ровно ничего. Еще никогда не было въ русской литературѣ такого *ненужнаго* таланта.

Я рѣшительно усталъ отъ „литературныхъ“ журналовъ, отъ ихъ однообразной сѣрости и серединности. Заглянемъ въ другую область „печатнаго слова“. Можетъ быть, найдемъ какое-нибудь развлеченіе. Вотъ „литературный“ (литературный!) отдѣлъ „Нижегородскаго крестнаго календаря“ г-на М. А. С—о,—того самаго,

который отыскивалъ бѣсовъ у фокусника Ленца. Посвященъ этотъ отдѣлъ „учащейся молодежи Нижн. Новгорода“, начинается съ громаднаго креста и „Критическаго разбора отвѣта Л. Толстого на постановленіе Св. Синода“. У г. С—о отнюдь не сѣрый современный стиль; онъ пишетъ подлиннымъ языкомъ XVII вѣка, вполнѣ соотвѣтствующимъ его мыслямъ и убѣжденіямъ. Онъ съ искреннимъ огнемъ утверждаетъ, что „въ графѣ“ поселился „веліаръ“. „Сочиненія Толстого суть клоаки, издающія на весь свѣтъ смрадъ лжесловеся и богохульства, убійственное для здоровья душъ и умовъ дыханіе „князя міра сего“—діавола“, „графъ Левъ проврался“ и „своимъ свирѣпымъ отвѣтомъ, подобнымъ рыканію льва или шипѣнію змія, вступилъ на путь ожесточенія“ и т. д. Невозможно приводить всѣ цитаты: слишкомъ ихъ много, слишкомъ часто г. С—о выясняетъ „окаянство“ „писаній прескверныхъ“ и то, какъ „графъ дошелъ до состоянія бѣсовскаго“. Особенно любопытныя мѣста выписываю цѣликомъ: „Почему же ты, о графъ, не хотѣлъ сначала отвѣчать Св. Синоду? Фу, ты, какое великолѣпнѣйшее презрѣніе!... но кто ты таковъ, и кто таковъ Св. Синодъ? Хоть

ты и Сіятельство, а все же ты человѣкъ незначительный и не облеченный властью, при томъ же человѣкъ отнынѣ заклейменный, отверженный, посрамленный. А Св. Синодъ— это коллегія избранниковъ Божіихъ. По образованію и учености во много разъ превосходятъ они тебя, о окаянная главо; по власти — они *господа и владыки* (курсивъ подлинника), а ты рабъ и подданный"... И далѣе, по поводу цензуры: „Вотъ кого русскій народъ долженъ благодарить за свое спасеніе—это цензуру русскую, и, конечно, Правительство, давшее власть вязать и рѣшать. Надо разумѣть цензуру духовную, ибо представители свѣтской цензуры подъ дѣйствіемъ князя міра сего стали очень снисходительны къ писаніямъ не только бездарнымъ, но и вреднымъ. Можно надѣяться, что въ составъ свѣтской цензуры будутъ введены члены духовнаго сословія и вмѣстѣ съ ними привнидетъ въ рѣшенія свѣтской цензуры Благодать мудрости, безпристрастія и святой ненависти".

Люди, отъ которыхъ зависѣло появленіе въ свѣтъ этого „литературнаго отдѣла", должны были находиться въ очень затруднительномъ положеніи: съ одной стороны,

нельзя же положить veto на такія крайне благонамѣренныя рѣчи, на мысли самыя похвальныя, которыхъ *неудобно* не раздѣлять, — онѣ только ярче выражены, чѣмъ ихъ обыкновенно выражаютъ. А съ другой стороны—не совсѣмъ ловко и подписаться подъ тѣмъ, что написано какъ будто не въ XX вѣкѣ, а въ „лѣто 1666-ое“...

Да, положеніе трудное!

Два звѣря

Лежатъ они оба передо мною. Одинъ зеленый — Скорпіонъ („Сѣверные Цвѣты“, альманахъ), другой сѣрый, Грифъ (просто „Альманахъ“). Давно собирался о нихъ поговорить—уже мѣсяца два-три, какъ они вышли,—и прочелъ ихъ давно,—да воздерживался: пожалуй, сталъ бы бранить. Бранить же ихъ по меньшей мѣрѣ безполезно. „Сумасшествіе! Кривлянье! Порнографія!“—Безобразіе!“—только и слышишь, чуть зайдетъ рѣчь о такъ называемыхъ „декадентахъ“. Старомодныя слова! Ихъ повторяютъ, и никто уже ихъ не боится. Не спорю, кое-что въ декадентствѣ способно возбудить досаду, и въ досадѣ не выбираешь словъ; но потому-то и надо сначала успокоиться, присмотрѣться, можетъ быть даже полюбить этихъ и не въ мѣру презираемыхъ, и порой не въ мѣру превозносимыхъ лю-

дей,—только тогда и увидимъ, что они такое.

Оба альманаха изданы въ Москвѣ. Ни Скорпіонъ ни Грифъ не могли бы родиться нигдѣ, кромѣ Москвы. Странно,—но несомнѣнно, что декадентство московское, хотя бы съ петербургскимъ почти ничего общаго не имѣетъ. Въ Петербургѣ оно, занесенное съ Запада, западнымъ и осталось,—утомленнымъ, утонченнымъ, сѣроватымъ и быстро вянущимъ. Петербургскіе декаденты—зябкіе, презрительные снобы, эстеты чистой воды. Они боятся нарушенія какихъ-нибудь приличій, очень держатся хорошаго тона. Если иной, — случается, — разъярившись, начнетъ выкрикивать неподобное, не брезгуя пріемами плебейскихъ „листковъ“,—то это ужъ развѣ выжившій изъ декадентства. Тотчасъ же болѣе молодые товарищи стараются затереть старческое шамканье—и все опять прилично, и мило, и сѣро, какъ петербургскія улицы.

Въ Москвѣ и улицы не тѣ. Отчаянно звонятъ колокола въ маленькой церкви гдѣ-нибудь на Маросейкѣ, прыгаетъ зеленый Ванька по рыжимъ ухабамъ, — а рядомъ высится бѣлый-пребѣлый домъ съ

длинными черными рогами и круглыми, какъ глаза вампира, окнами. Въ Москвѣ декадентство — не одно убѣжденіе, но часто и жизнь. Изъ чахлаго западнаго ростка—здѣсь распустилась махровая, яркая,—грубоватая, пожалуй,—но родная роза. Декаденты, опираясь на всю мудрость прошедшаго вѣка, не только говорятъ: „что мнѣ изволится!“, но и дѣлаютъ, что имъ изволится,—и это хорошо, потому что тутъ есть какое-то движеніе, хотя бы и по ложному еще пути. Когда есть движеніе—есть и возможность развитія, возможность найти настоящее, свое, не только взятое отъ болѣе культурнаго Запада. Чужая культура къ намъ не прививается, мы тянемся къ своей — хотя бы черезъ варварскія дорожки, полубезсознательно; вотъ почему меня и радуетъ грубая, варварская роза московскаго декадентства; это — невозможный, уродливый, но все-таки живой цвѣтокъ; и вѣдь онъ— первый. Я вѣрю, что многіе изъ декадентовъ уже не удовлетворены имъ. А о тѣхъ, кто удовлетворенъ — нечего жалѣть. Они останутся на мѣстѣ. И вѣдь они никому не мѣшаютъ!

Скорпіонъ—старше Грифа, серьезнѣе и

гораздо культурнѣе. Въ предисловіи говорится: „Пора снова идти. Наши лица обращены впередъ, къ будущему“... Хорошее желаніе! Но пока, если Скорпіонъ и движется—онъ достигъ лишь извѣстной дисгармоніи. Въ послѣднемъ выпускѣ „Сѣверныхъ Цвѣтовъ“ нѣтъ прежняго лада, унисона декадентства. И это большой шагъ впередъ! „Новыя силы“, на которыя такъ надѣется Скорпіонъ,—очень стары, по старому декадентствуютъ въ непонятно отвлеченномъ духѣ — имъ бы мѣсто скорѣе у Грифа. Но за то сами составители „Цвѣтовъ“ куда-то идутъ, ломаются, расширяются, даютъ мѣсто такимъ „старымъ“ писателямъ, какъ Розановъ, Минскій (его рѣчь, произнесенная на религіозно-философскомъ собраніи, однако, уже слишкомъ дисгармонируетъ съ „новыми пѣснями“ нѣкоторыхъ „новыхъ“ участниковъ альманаха).

Наконецъ, въ общей своей дѣятельности, какъ книгоиздательство—„Скорпіонъ“ совсѣмъ культуренъ и серьезенъ. Онъ любитъ то, чего у насъ пока еще никто не любитъ—книгу. Онъ издалъ По, Гамсуна, „Письма Пушкина“, „Пушкинъ“ (хронологическія данныя), Пшибышевскаго — издалъ

красиво, заботливо, съ любовью. Въ Альманахахъ онъ помѣщаетъ письма и ненапечатанные матеріалы старыхъ писателей,—Крылова, Тютчева. Эта любовь къ литературѣ и спасаетъ, вѣроятно, „Скорпіона“ отъ печальной „гармоніи“ Грифа, который знать ничего не хочетъ, кромѣ собственной „неизвѣданности“. „Жажда неизвѣданнаго томитъ насъ“, кричитъ Грифъ въ предисловіи. Грифу все равно. Сейчасъ мы увидимъ, какія прекрасныя неизвѣданности далъ намъ Грифъ, а пока не могу удержаться, чтобы не пожалѣть о скорпіонскихъ „Цвѣтахъ“, иныя страницы которыхъ никакъ нельзя отличить отъ грифскихъ. Маленькій Гофманъ, „новая сила“, поетъ гимназическія восхваленія старымъ „магамъ, волшебникамъ“—Бальмонту и Брюсову, „склоняя голову“ передъ обоими. Шаловливый Максъ Волошинъ подпрыгиваетъ:

„Прожито,—отжито,—вынуто,—вышито,
Ти-та-та... та-та-та... та-та-та... ти-та-та...“

Несомнѣнно талантливый Андрей Бѣлый, уже давно прославленный въ московской семьѣ декадентовъ, но недошедшій, недокисшій, какъ недавно поставленная опара,—все пишетъ въ стихахъ о „небесномъ шам-

панскомъ“, а въ прозѣ пишетъ съ цифрами; однако, и цифры ничему не помогаютъ:

„2. Ястребовъ поднялъ блѣдно-христанское лицо.

„3. Его уста стыли пунцовымъ изгибомъ“.

„4. Ястребовъ опустилъ просвѣщенное лицо“...

И такъ все время, все то же—тоскливое, давно надоѣвшее „гдѣ-то, что-то и странно“, безъ всякой возможности выпутаться.

Я разсѣянъ, извиняюсь: послѣдняя выдержка взята не изъ Скорпіона, а изъ Грифа; но ошибка не велика; и въ Скорпіонѣ тотъ же Андрей Бѣлый и такъ же вѣренъ себѣ: „кто-то, куда-то, зачѣмъ-то пришелъ“,—и вся вещь называется „Пришедшій“. Какъ бы хорошо Андрею Бѣлому почитать, поучиться, подождать печататься! Изъ недокисшей опары не испечешь хорошаго хлѣба, а опара поставлена хорошая, надо только имѣть терпѣніе.

Да, обращаясь къ „юнымъ силамъ“ — нельзя не перепутать Грифа со Скорпіономъ. Чѣмъ я виноватъ, что эта юность такъ единообразна и такъ... банальна? Банальность—печать проклятія чистыхъ, са-

моудовлетворенныхъ, недвижимыхъ декадентовъ. Вотъ разсказъ „Осень“—дамы-декадентки. Будь разсказъ напечатанъ въ *Нивѣ*, *Сѣверѣ*—никому бы и въ голову не пришло, что тутъ „новая сила“ стремится къ неизвѣданному“. Вотъ, послушайте.

„Онъ — былъ молодъ, еще вѣрилъ въ любовь“, „сладко благоухали липы“, „но скоро липы отцвѣли“, „настали сѣрые дождливые дни“, „какая-то мучительная тоска прокралась ему въ душу“, и когда она спрашивала: „ты любишь меня?“—онъ уже „улыбался безжизненной улыбкой: твои поцѣлуи лгутъ“... „а вѣтеръ глухо хохоталъ надъ человѣкомъ, который поздней осенью тоскуетъ о весеннихъ цвѣтахъ“. И кончено. Точка. Надъ этой осенью не захохочутъ даже присяжные рецензенты, считающіе своимъ долгомъ надъ декадентами хохотать. Увы, печать проклятія, банальности лежитъ и на самыхъ даровитыхъ, „старыхъ“ декадентскихъ писателяхъ тамъ, гдѣ они *только* декаденты, не ломаются, не мѣняются, прыгаютъ на истоптанныхъ мѣстахъ. Много ея, утомительной, и у обоихъ „маговъ“, у Бальмонта и у Валерія Брюсова, коренного московскаго декадента, родоначальника

Гофмановъ, Соколовыхъ, Рославлевыхъ и другихъ. Бальмонтъ еще болѣе ровенъ, онъ поетъ „wie der Vogel“, съ большой пріятностью, порой увеселяя, а порою укачивая, убаюкивая читателя:

Вѣтеръ, вѣтеръ, вѣтеръ, вѣтеръ,
Что ты въ вѣткахъ все шумишь?
Вольный вѣтеръ, вѣтеръ, вѣтеръ,
Предъ тобою дрожитъ камышъ,
Вѣтеръ, вѣтеръ, вѣтеръ, вѣтеръ...

Убаюканный, я опять не знаю, гдѣ Грифъ, гдѣ Скорпіонъ. Только смутно вижу кружащуюся на одномъ мѣстѣ толпу съ ея гордымъ вождемъ, волшебникомъ и побѣдителемъ Валеріемъ Брюсовымъ. Почему ему подчинены всѣ юные скорпіоны, такъ же, какъ и юные грифы? Какимъ онъ имъ кажется? Я сплю—и въ полуснѣ повторяю тягучія длинныя строки, которыя сами складываются, выростаютъ изъ бальмонтовскаго „Вѣтра“:

Валерій, Валерій, Валерій, Валерій!
Учитель, служитель священныхъ преддверій!
Тебѣ поклонились, восторженно-чисты,
Купчихи, студенты, жиды, гимназисты...
И, вѣрности чуждый—и чуждый закона,
Ты Грифа ласкаешь, любя Скорпіона.

Но всѣхъ покоряя—ты вѣчно покоренъ,
То красенъ—то зеленъ, то розовъ—то черенъ..·
Ты соткань изъ сладкихъ, какъ сны, недо-
вѣрій,
Валерій, Валерій, Валерій, Валерій!“

Хочу остановиться—нѣтъ! Упорно поетъ, поетъ мнѣ на ухо какой-то молодой звѣрокъ хвалу прародителю московскихъ декадентовъ:

Валерій, Валерій, Валерій, Валерій!
Тебя воспѣваютъ и гады и звѣри.
Ты дерзко-смиренен—и томно преступенъ,
Ты явно-желаненъ—и тайно-доступенъ.
Измѣна и вѣрность—все мгла суевѣрій!
Тебѣ—открываются сразу всѣ двери,
И сразу проникнуть умѣешь во всѣ ты,
О магъ, о владыка, звѣрями воспѣтый,
О жрецъ дерзновенный московскихъ мистерій,
Валерій, Валерій, Валерій, Валерій!..

Однако, надо же проснуться. Какъ усыпительно, какъ отупительно порою дѣйствуетъ буйно-веселое, шаловливое московское декадентство! Дай Богъ, чтобы это была лишь рѣзвость молодости, чтобы не остался Грифъ навсегда такимъ, какъ теперь, по пословицѣ: „маленькая собачка до старости щенокъ“. Скорпіонъ давно ростетъ,

потому такъ и неуклюжъ. Буду радъ, если въ грядущихъ „Сѣверныхъ цвѣтахъ“ увижу еще больше несоотвѣтствій и противорѣчій. Это надежда, что когда-нибудь, наконецъ, распустится стройный, нѣжный и молитвенно-прекрасный цвѣтокъ—послѣдняго, дѣйствительно новаго искусства.

Я? Не я?

I

Въ кухнѣ у меня живетъ небольшая, плотная и уже не первой молодости собаченка—Гринька. Я часто съ любопытствомъ наблюдаю Гриньку. Въ немъ до крайности развито чувство индивидуализма. Ко всему, что не его „я“—онъ относится или со злобой, или съ презрѣніемъ, или съ глубокимъ равнодушіемъ—смотря по обстоятельствамъ. Такъ, къ людямъ, когда они не даютъ ему возможности для проявленія его „я“—съ равнодушіемъ, къ кошкамъ, когда онѣ не садятся на его постель,—съ презрѣніемъ, къ собакамъ, когда онѣ проходятъ мимо—со злобой. Видъ каждой собаки приводитъ Гриньку въ изступленіе. Я думаю—потому, что въ собакѣ онъ ярче ощущаетъ подобное ему „я“—и не можетъ примириться, что оно существуетъ. Если бы Гринька

умѣлъ анализировать свои чувства, онъ бы думалъ: „Какъ? не я, а такой же? Зачѣмъ же онъ, когда уже есть я? Пожалуй, онъ тоже любитъ телячью грудинку? И ему дадутъ, и онъ съѣдаетъ, и я эту самую ужъ никогда не съѣмъ, потому что онъ, совершенно ненужный, ее съѣстъ?!“ Негодованіе, накипающее въ эти минуты въ Гринькиной душѣ, вѣроятно искренно и величественно. Одна общая любовь—къ телячьей грудинкѣ—не только не связываетъ Гриньку съ проходящей собакой,—а напротивъ, обостряя его ощущеніе „единаго я“—воспламеняетъ до кровомщенія. Въ своемъ праведномъ негодованіи Гринька бросается на незнакомую собаку, виноватую въ томъ, что она существуетъ, и... поражаетъ ее, или терпитъ пораженіе, смотря по тому, меньше она его ростомъ, или больше. Я согласенъ, не всѣ собаки подобны Гринькѣ: онъ—яркій индивидуалистъ. Яркость характера—довольно рѣдкій случай и среди животныхъ. Но кто знаетъ? можетъ быть онъ первый изъ грядущаго „новаго поколѣнія“ собакъ, и впослѣдствіи принципъ индивидуализма сдѣлается у нихъ господствующимъ, проявится еще ярче, и... на каждой улицѣ можно будетъ держать

только по одной собакѣ. Если оно такъ пойдетъ—то пойдетъ очень скоро: вѣдь Гриньки, на правахъ животныхъ,—просты, не лицемѣрятъ, принциповъ своихъ не ос-ложняютъ и не замазываютъ: какъ чув-ствуютъ—такъ и поступаютъ, въ открытую. Кромѣ того Гринька идетъ въ индивиду-ализмѣ до самаго послѣдняго конца: ему совер-шенно и ни на что не нужна проходящая собака. Будь онъ посложнѣе и послабѣе,—онъ, мо-жетъ быть, захотѣлъ бы, чтобы эта собака полюбовалась, голодная, какъ онъ, Гринька, ѣстъ грудинку; или удивилась бы его силѣ и преклонилась передъ нимъ; или... мало ли что! Но Гринькѣ-индивидуалисту этого не нужно, его счастье не зависитъ отъ такихъ вещей. Боюсь, что это нужно—людямъ-индивидуалистамъ...

II

Вполнѣ ли подходящее, однако, слово „индивидуалисты“—къ нашимъ современ-никамъ? Пожалуй, и для Гриньки оно слиш-комъ пышно, слишкомъ... благородно; но другого я не знаю. Оставимъ же кличку. Разберемся въ томъ, что подъ ея прикры-

тіемъ дѣлается; въ томъ, что фактически есть—вмѣсто долженствующаго быть.

Я думаю, что главное отличіе *настоящаго индивидуалиста* отъ Гриньки и отъ Гринекъ-людей съ ихъ человѣческими осложненіями, заключается въ слѣдующемъ: у перваго есть *сознаніе* своего „я“, и, какъ неизбѣжное слѣдствіе этого—сознаніе и „не я“; или, иначе, сознаніе и другихъ „я“, подобныхъ, равноцѣнныхъ,—при условіи передвиженія единой точки,—и уже равноцѣнностью, множественностью — связанныхъ неразрывно. Такое сознаніе (пониманіе)—есть уже *принятіе* каждаго „я“ вмѣстѣ со своимъ собственнымъ, и при томъ такъ, какъ они есть, то-есть несліянными и нераздѣльными. У современныхъ же „индивидуалистовъ“ съ основами Гриньки—никакого сознанія „я“ нѣтъ, есть лишь его *ощущеніе*; немного болѣе обостренное, чѣмъ оно было всегда у людей, правда; но дѣйствительно ли это—движеніе впередъ? Я сказалъ, что у Гриньки, быть можетъ, собачій прогрессъ, но возможно, что это и регрессъ; не расширеніе, а съуженіе круга; вѣдь благодаря тому, что всѣ„не я“ (или всѣ „я“ кромѣ одного), не сознаны,—они

выключены изъ круга, и кругъ съузился въ точку. Почти страшно! Хорошо, что времена переходчивы, что нѣтъ стройныхъ историческихъ законовъ, что при большинствѣ существуетъ и меньшинство, что, наконецъ, это большинство современныхъ, безсознательныхъ, наивныхъ „индивидуалистовъ“—состоитъ изъ вялыхъ, слабыхъ, бездарныхъ и безвольныхъ маленькихъ человѣчковъ, которымъ ничто не удается. Хорошо еще, что есть старые люди, которые, не занимаясь модным анализомъ, твердо, издавна знаютъ, что высказанная мысль судится сама по себѣ, а не по тому, кто ее высказываетъ, и остается вѣрной (если вѣрна), даже если бы и не „я“, „первый“, ее высказалъ.

У большинства настоящихъ либераловъ второй трети прошлаго вѣка это знаніе было. Было *ощущеніе* (хотя бы только ощущеніе!) не одного своего „я“, а и всѣхъ другихъ вмѣстѣ, и даже ощущеніе возможности какого-то послѣдняго „Я“, связующаго, въ ихъ несліянности, всѣ первыя. Они называли Его „идеей“. Всякое имя тутъ—правда, потому что въ самомъ ощущеніи—несомнѣнная вѣчная правда.

Я стою на томъ, что именно старые *либералы* имѣли это знаніе, именно они были безкорыстно вѣрны „идеямъ“. Таковы они и по сіе время. Конечно, были въ прошломъ вѣкѣ и убѣжденные, искренніе „консерваторы“, со своими „идеями“; вѣроятно, есть они гдѣ-нибудь и нынѣ; но, однако, этихъ „идейныхъ“ консерваторовъ теперь незамѣтно, такъ, какъ будто ихъ и не было никогда. Наши литературные современники, называющіе себя консерваторами,—совершенно напрасно присвоили себѣ это имя: они все тѣ же собачьи „индивидуалисты“, знающіе одно единственное „я“. Они — глубоко равнодушны ко всякимъ „идеямъ“, такъ же, какъ декаденты-индивидуалисты, которые, впрочемъ, ни малѣйшими идеями и не прикрываются, а прямо говорятъ, что есть, молъ, только „я“, а на остальное наплевать.

Впрочемъ, бываетъ, что современные „индивидуалисты“, при всемъ ихъ внутреннемъ единочувствіи, прикрываются и не одинаковыми, а разными идеями, одни—консервативными, другіе — либеральными. Это личное дѣло каждаго и стоитъ въ зависимости отъ случая, отъ среды, отъ

способностей... Въ каждомъ изъ двухъ оппозиціонныхъ „лагерей“ есть своя возможность для „индивидуалиста“ послужить собственному „я“. Кромѣ того, ихъ занимаетъ вѣчная перебранка, перелаиваніе; каждый втайнѣ грезитъ: „я“ буду побѣдителемъ! Конечно, если бы завтра эти псевдо-либералы стали называть себя консерваторами, — тотчасъ же „консерваторы“ перешли бы въ „либерализмъ“ (не все ли имъ равно?)—и перелаиваніе благополучно продолжалось бы.

Впрочемъ, возможно, что „консерваторы“ бы и не перешли. Но это отнюдь не изъ вѣрности идеямъ, которыхъ у нихъ нѣтъ и не можетъ быть, а по той причинѣ, что человѣкъ,—современный „индивидуалистъ“ въ особенности,—очень зависитъ отъ обстоятельствъ. Что жъ, дѣло житейское, понятное. А никто не вздумаетъ требовать отъ г. Грингмута, чтобы онъ, внезапно сдѣлавшись французскимъ министромъ, не сталъ бы радикаломъ; или отъ г. Сквор-цова,—очутись онъ въ положеніи сербскаго митрополита, — чтобы онъ не объявилъ, что убійство королевской четы совершалось „по волѣ Божіей“. Этого, повторяю, по

человѣчеству мы не можемъ не понять; и, однако, это только ярче подчеркиваетъ „индивидуализмъ“ машихъ „индивидуалистовъ“.

То, что происходитъ въ публицистикѣ,—проникло и въ отдѣлъ „искусства“ нашихъ журналовъ. Между писателемъ и читателемъ все болѣе и болѣе стирается раздѣляющая черта: сегодня читатель—завтра писатель. Читаетъ читатель какой-нибудь разсказъ какого-нибудь тысячнаго „подмаксимника“ о босякахъ (ужъ, конечно, о босякахъ), и очень ему нравится... не разсказъ, а собственная мысль: „ловко! ну-ка я! Можетъ, и „я“ такъ напишу! Да еще вдругъ лучше? Понравится“... И пишетъ. То же самое думалъ, вѣроятно, и первый читатель „самого“ Максима, такъ же радовался... себѣ, тоже написалъ,—и очень понравилось! А если бы онъ читалъ про аристократку въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ и зналъ бы, что теперь именно она должна нравиться,—то написалъ бы непремѣнно про аристократку, и вышло бы не хуже.

До жизни, до искусства нашимъ „индивидуалистамъ“ такъ же мало дѣла, какъ и до идей.

III

Итакъ, употребляя поневолѣ общепринятыя слова: „консерваторъ“, „либералъ“,—я говорю не о людяхъ съ тѣми или другими убѣжденіями,—а о людяхъ безъ всякихъ убѣжденій, о тѣхъ же „индивидуалистахъ“, солидарныхъ между собою глубоко, какими бы различными идеями они не прикрывались. Солидарность эту они остерегаются обнажать. Но порою злоба, похожая на злобу моей собаченки-Гриньки, застилаетъ имъ глаза, они забываютъ осторожность и проваливаются. Въ послѣднемъ номерѣ нашего журнала отмѣчалось, какъ трогательно соединились, въ нападкахъ на „Новый Путь“ и на его сотрудниковъ, Скабичевскій со Скворцовымъ, Грингмутъ съ критикомъ „Русскихъ Вѣдомостей“, Лухманова съ Мещерскимъ, о. Іоаннъ съ Михайловскимъ. „Они говорятъ о свободѣ совѣсти?—сказалъ г. Грингмутъ.—Прочь!“ „Да, да, конечно, прочь!“—въ унисонъ съ г. Грингмутомъ закричали „Новости“ etc., не вслушавшись, да и не желая вслушиваться, о чемъ именно идетъ рѣчь. Не все ли, въ сущности, равно имъ, свобода или не-свобода

совѣсти? Не мы, не „я“—ну и прочь. Декаденты тоже согласились, что прочь. „Это все мистическія вожделѣнія! Мы этого ничего не придумали. Прочь!“

Истинные старые либералы, тѣ честные, совѣстливые, хорошо воспитанные люди, которые вѣрятъ еще въ „идею“, въ „общественность“ и держатся холодноватаго, но корректнаго, искренняго безкорыстія, подали голосъ. Въ „Вѣстникѣ Европы“, въ майской книжкѣ, была съ большой правдивостью описана „злостная обвинительная кампанія“ гг. Грингмутовъ противъ „Новаго Пути“ и религіозно-философскихъ собраній. При этомъ журналъ съ достойнымъ безстрастіемъ прибавляетъ: „Мы очень далеки отъ согласія съ писателями, взявшими на себя починъ религіозно-философскихъ собраній; мы готовы допустить, что не все сказанное ими въ этихъ собраніяхъ заслуживаетъ сочувствія, какъ не заслуживаетъ его многое въ ихъ статьяхъ и книгахъ; но мы рѣшительно отказываемся понять, какимъ образомъ сколько-нибудь уважающій себя органъ печати можетъ предпочесть честному спору мало-похвальный призывъ къ воздѣйствію власти“.

Журналъ умалчиваетъ, что къ этому призыву присоединилась, косвеннымъ образомъ, и вся современная либеральная печать,—не говоря уже о воистину „умѣренномъ“ „Новомъ Времени“, которое, съ равнодушіемъ браня „Гражданинъ“, съ тѣмъ же равнодушіемъ пропускаетъ у себя и „призывы къ воздѣйствію“. „Новое Время“—„индивидуально“—съ приближеніемъ къ декадентамъ: очень ужъ оно откровенно обнажаетъ свое задушевное „наплевать“.

Вѣрный своей идейности, старый либеральный журналъ откликнулся, въ іюльской книжкѣ, и на вопросъ о свободѣ совѣсти, обсужденію котораго были посвящены три засѣданія религіозно-философскихъ собраній. Разбирая мнѣнія ораторовъ и естественно становясь на сторону тѣхъ изъ нихъ, духовныхъ и свѣтскихъ, которые возражали противъ человѣческаго насилія — хроникеръ „Вѣстника Европы“ говоритъ: „рѣчи послѣдовательныхъ сторонниковъ вѣротерпимости угадать не трудно: послѣ всего сказаннаго на эту тему въ нашей литературѣ“, „повторенія почти неизбѣжны,—но вмѣстѣ съ тѣмъ *они необходимы, пока*

остается неизмѣннымъ юридическое положеніе вопроса".

Всю замѣтку журналъ заканчиваетъ слѣдующими словами: „продолженія собраній не можетъ не пожелать каждый, кому дорого исканіе истины... Къ нѣкоторымъ другимъ вопросамъ, обсуждавшимся въ религіозно-философскихъ собраніяхъ, мы еще возвратимся".

Ни „Новостямъ", ни „Міру Божьему", ни „Гражданину"—равно не „дорого исканіе истины". Ни у тѣхъ ни у другого нѣтъ равно никакой религіи,—на что же имъ свобода религіозной совѣсти? А такъ какъ всякій изъ представителей этихъ „двухъ, лагерей"—„индивидуалистъ", и не сознаетъ, даже не ощущаетъ другихъ „я", помимо собственнаго, и тѣмъ самымъ лишенъ всякаго чувства „общественности",—то не ясно ли, что его и не можетъ тревожить никакая чужая несвобода. Съ одинаковой, умилительно-согласной, нетерпимостью и „либералы", и „консерваторы" говорятъ: „это не мы. Это не „я". Не слышимъ. Этого не должно быть. Прочь!"

Нѣтъ, хорошо, что есть еще старые „идейные" люди. И дай Богъ, чтобы этотъ страш-

ный новѣйшій „индивидуализмъ“ поскорѣе слетѣлъ, какъ слой пыли отъ взмаха метлы. Онъ убилъ, съѣлъ всякую общественность,—съѣстъ и наше искусство, литературу—потому что вѣдь онъ уже пробрался въ эту область.

IV

И я прохожу молчаніемъ все „индивидуальное“ творчество безчисленныхъ писателей въ послѣднихъ книжкахъ всевозможныхъ журналовъ. Какой то блѣдный, кошмарный туманъ. Босяки... босяки... земскіе доктора... фельдшерицы... больные мужики... голодные фабричные... нежданныя аристократки... добродѣтельныя, гордыя дѣвицы... сельская учительница... еще босякъ...—а за ними напряженное лицо автора, проникнутаго одной мыслью: „вотъ какъ я! Я еще новѣе могу! А я еще гуманнѣе! А я еще благонадежнѣе! Это все „я!“

Къ своимъ героямъ у нихъ не только нѣтъ никакой любви,—они даже и не видятъ ихъ. Благодаря этому трудно ихъ видѣть и читателю, да и авторы смѣшиваются, сливаются,—ужъ слишкомъ они явно идутъ къ одной цѣли. Тутъ опять приходится со-

знаться, что средняя „старая“ литература была болѣе литературна. Самые плохіе повѣствователи и романисты были болѣе различны, потому что были плохи каждый по своему. О талантливыхъ и говорить нечего. Но, конечно, устарѣвшія одежды тлѣютъ и спадаютъ, удержать ихъ на плечахъ нельзя, и я не могу жалѣть, что новые писатели не подражаютъ старымъ. Но, неужели, чтобы перейти отъ хорошаго стараго къ хорошему новому—надо неизбѣжно перебираться черезъ мутный потокъ современнаго „индивидуализма“, того, который такъ похожъ на безнадежную безличность? Мнѣ было жаль, когда я увидѣлъ, что достойный, корректный, замкнуто-идейный „Вѣстникъ Европы“ пошелъ на компромиссъ и открылъ свои страницы нововременскому романисту, г. Будищеву. Что онъ „нововременскій“—это еще, конечно, ничего не значитъ: въ „Новомъ Времени“ можетъ быть и хорошее, и скверное, вѣдь ему—„все равно!“ Но г. Будищевъ самъ по себѣ—мало пріемлемое, оскорбительное „новое“. Не желалъ ли „Вѣстникъ Европы“ очистить у себя воздухъ послѣ „Развалинъ“ г. Оболенскаго? Увы, г. Будищевъ не годится для этихъ ги-

гіеническихъ цѣлей. Г. Будищевъ даже не бездаренъ: онъ именно оскорбителенъ. Когда я думаю о г. Будищевѣ—онъ мнѣ предста-вляется акцизнымъ чиновникомъ, загримированнымъ Ницше, на вечеринкѣ въ провинціальномъ, даже уѣздномъ, городкѣ. Онъ дирижируетъ танцами, а въ промежуткѣ между фигурами кадрили—ведетъ со своей дамой „ужасные“ разговоры, психологическіе, надрывные, „съ силой и мощью“. Барышня пугается. Иногда, между рѣчами о величіи силы, жизнерадостности, о плѣнительности могучаго зла—у Будищева проскальзываютъ діалоги о „жалости“, такіе знакомые, что барышня, при всей невинности, лепечетъ: „ахъ, да, я читала... про Мармеладова тамъ... это тоже вы написали?“

Барышня плѣнена. И г. Будищеву она нравится, попросту; онъ почти забываетъ, что онъ—Ницше, и со всей натуральностью акцизнаго чиновника, говоритъ шопотомъ: „какая прелестная ручка! О, позвольте мнѣ впиться въ нее!“ Барышня обомлѣла и молчитъ. Акцизный настаиваетъ: „ну скажите, царица моей души, скажите мнѣ: впейся!“ Черезъ нѣсколько времени акцизный совсѣмъ

„образуетъ“ барышню, она при каждомъ свиданіи (тайномъ, конечно) будетъ сама протягивать руку и повторять: „впейтесь!“ И акцизный чиновникъ будетъ „впиваться“ и говорить ей діалоги изъ Ницше и Достоевскаго, приноровивъ ихъ къ своей выгодѣ и къ ея пониманію.

А потомъ напечатаетъ все это въ „Новомъ Времени“ или въ „Вѣстникѣ Европы“, не забывъ упомянуть о „впиваніяхъ“. И будетъ думать: „вотъ, какъ „я“ пишу! Въ родѣ Ницше и Достоевскаго, только новѣе!“

Зачѣмъ понадобилось солидному журналу такое дешевое, старое, „новшество?“

Нѣтъ, я не могу больше читать журнальную беллетристику. Книги послѣднія смотрѣлъ—еще хуже. Тотъ же „индивидуализмъ“, но подчасъ еще до неприличія нелитературный. Въ журналѣ все-таки за грамотностью смотритъ редакторъ, а въ отдѣльныхъ изданіяхъ—некому; цензорамъ и наборщикамъ все равно, хоть „абракадабру“ выпускай, только заплати за бумагу,—и чтобы не противъ существующаго порядка. Боже мой, какъ же быть со всѣми этими Гордиками вторыми, третьими, Протасо-

выми, Нефедьевыми, Глауберами и т. д., и т. д.? Даже не знаешь, чего пожелать: установленія литературной цензуры? Совѣстно. Рецензентскихъ нападокъ на нихъ? Безполезно, даже вредно. Я самъ, конечно, могу и не страдать: не буду читать—и конецъ. Но другіе, ну хоть три, четыре человѣка да прочтутъ! И каждому будетъ маленькая,—но мука. Видѣлъ у деревенскаго извозчика „Битву русскихъ съ кабардинцами или прекрасная магомстанка, умирающая на гробѣ своего супруга“. Читаетъ, и это для него не мука, а наслажденіе. Далъ ему Гордика-второго. Валялъ-валялъ, засалилъ—принесъ. „Ослобоните. Очень ужъ незанятно. Безъ толку наведено“. Мучился, все-таки, долго,—ради меня. И еще люди будутъ мучиться. Средствъ, однако, противъ такихъ „Митекъ Корявыхъ“ и „Гордиковъ“ нѣтъ. Это оборотная сторона „просвѣщенія“. Ничего не подѣлаешь. Пусть лучше будетъ просвѣщеніе хотя бы и съ оборотными сторонами, чѣмъ вовсе безъ просвѣщенія. И цензуры литературной не надо. Авось люди посильнѣе сами разберутся и справятся. Пишите, Гордики!

А вотъ неожиданно и недурная книжка.

V

Я говорю о сборникѣ А. Амфитеатрова—„Сказочныя были“. Вышелъ одновременно и романъ его „Викторія Павловна“, о которомъ въ нашемъ журналѣ уже была рецензія,—немного добродѣтельная, но отчасти справедливая: романъ слабоватъ, куда слабѣе многихъ разсказовъ, и очень грубъ. Впрочемъ, г. Амфитеатровъ, при всей его несомнѣнной даровитости, несомнѣнно писатель очень грубый, и по языку, и по всей манерѣ, и по несложности идей. Мгновеніями онъ яркій художникъ, а черезъ двѣ строки срывается въ публицистику, и срывается очень грубо. Его разсказъ „Наполеондеръ“—прекрасно написанный—переходитъ въ нарочитую сантиментальщину въ концѣ; и это опять выходитъ грубо. Иногда, впрочемъ, грубость эта, выдержанная,—своеобразно-граціозна: такова фламандская легенда о святой Жаннѣ и чертѣ. Въ „Исторіи одного сумасшествія“ есть мѣста подлиннаго ужаса; сюжетъ такъ затасканъ въ послѣднее время, что нуженъ былъ недюжинный талантъ г. Амфитеатрова, чтобы съумѣть такъ блестяще съ этимъ справиться. Глу-

бины въ произведеніяхъ г. Амфитеатрова искать не слѣдуетъ: онъ все-таки болѣе публицистъ, чѣмъ художникъ. А если и встрѣчается глубина,—то невольная, неожиданная, несознанная, вѣроятно, самимъ авторомъ. Его „Морская сказка“—малоправдоподобно написанное повѣствованіе матроса о какомъ-то далекомъ, необитаемомъ островѣ. На этотъ островъ попали, послѣ кораблекрушенія, двѣ женщины и двое мужчинъ. Имъ пришлось прожить вчетверомъ много лѣтъ, безъ всякаго сообщенія съ другими людьми, съ міромъ. Матеріально они устроились очень недурно, островъ былъ южный, съ прекраснымъ климатомъ и растительностью, разбитый корабль доставилъ имъ предметы первой необходимости, они были молоды, способны къ работѣ. Двое французовъ—были братъ и сестра; сестра вышла замужъ за оставшагося мужчину, братъ женился на оставшейся женщинѣ. Все пошло весело, мило, нормально. Французы вышли изъ хорошей семьи,—знатные, образованные, утонченные люди. Мирное счастье поселилось на островѣ, тепломъ и волшебномъ. Годы шли. У любящихъ супруговъ рождались дѣти, росли, женились,

рождали въ свою очередь и... островъ оказался заселеннымъ племенемъ грубыхъ дикарей. Сами родоначальники такъ одичали, несмотря на свое счастье (или благодаря ему?), что убѣжали въ пещеры, завидѣвъ первый корабль.

Какъ это все могло случиться? Какъ нѣжная француженка и ея знатный братъ превратились въ дикарей? Чего имъ не доставало? Почему братъ разучился даже писать, хоть и долго велъ дневникъ? У каждаго было все, что необходимо человѣку: родство, любящее сердце, милыя дѣти, полное матеріальное благосостояніе... Неужели они перестали быть людьми потому, что не общались съ другими людьми, нелюбимыми, нелюбящими, не кровными, чужими, врагами—тѣми, кто, казалось бы, совсѣмъ имъ не нуженъ? Мы привыкли вѣрить, что намъ нужны только близкіе, только ближніе. О, какъ много людей! Слишкомъ много, слишкомъ много!—восклицаетъ Ницше. Въ самомъ дѣлѣ, зачѣмъ мнѣ нуженъ какой-нибудь американскій рабочій, который такъ и умретъ,—и я не узнаю его имени? Или китаецъ, распарывающій себѣ въ настоящую минуту животъ? Уже не говоря о врагѣ,

который даже вреденъ, потому что стремится схватить тотъ ломоть хлѣба, который я ѣмъ. Не нужны, не нужны! А присмотрѣвшись, увидимъ, что не только нужны всѣ всѣмъ,—а необходимы. Неуловимое, неопредѣлимое,—но что-то такое несомнѣнно во мнѣ было бы не то, что то хуже, чего то меньше, если бы не существовалъ вотъ этотъ проѣзжающій сейчасъ мимо моего окна пустой извозчикъ, именно этотъ, маленькій въ большой шапкѣ,—или не жилъ бы въ средніе вѣка оставшійся неизвѣстнымъ рыцарь, который, можетъ быть, начерталъ на щитѣ:

Lumen coeli, Sancta Rosa...

И наивные „индивидуалисты“ примитивныхъ ощущеній, увѣряя себя, что есть только „Я“—не подозрѣваютъ лѣса колючихъ противорѣчій, куда они зашли. Они не такъ послѣдовательны, какъ моя собака Гринька, которой, дѣйствительно, мало нуженъ встрѣчный песъ; они все-таки люди, имъ необходимы другіе, тѣ, которые для нихъ „не существуютъ“; имъ нужно, чтобы тѣ, не существующіе, непремѣнно признали ихъ существующее „я“. Зачѣмъ? Какая путаница! Какой обманъ!

Великое благо небесъ, что людей такъ много, что они каждый—„я“, что они, несливаемые, такъ нераздѣльно связаны и всѣ необходимы другъ другу, каждый—каждому. И великое благо, что у людей есть пути къ сознанію этого. Недошедшіе—страдаютъ;—вѣроятно, не страдаетъ только мой Гринька; но вѣрю, подлинно (пусть безсознательно) мучится каждый изъ этихъ „не настоящихъ“ людей: не настоящій „консерваторъ“, не настоящій „либералъ“,—даже индивидуалистъ не настоящій, а „индивидуалистъ“ въ кавычкахъ,—заключенный въ свое „я“, какъ въ одиночную тюрьму; и мучится независимо отъ того, Скворцовъ ли онъ, или Михайловскій, Будищевъ или Амфитеатровъ... который, впрочемъ, былъ такъ близко отъ правды, когда писалъ, не претендуя на глубину, свою „Морскую сказку“.

Но если нѣтъ „лишнихъ“ людей,—то, вѣроятно, нѣтъ и лишнихъ страданій. Во всякомъ случаѣ, страданіе отъ вопросовъ: „какъ можетъ быть множественность, если есть Единство? Какъ можетъ быть „не я“—если есть „я“?—такое страданіе—ростъ человѣческій.

Слово о театрѣ

Усталъ отъ чтенія Міровъ Божіихъ, Вѣстниковъ Европъ, Русскихъ Вѣстниковъ, Богатствъ и Мыслей, отъ Куприныхъ, Величкъ и Серафимовичей, отъ разнообразія и роскоши нашихъ современныхъ belles-lettres. Вздумалъ отдохнуть отъ нихъ немного и поговорить—о современномъ театрѣ.

Казалось бы, какой милый отдыхъ! Пошелъ, посмотрѣлъ пьесу,—написалъ. Опять пошелъ, посмѣялся, порыдалъ,—еще написалъ. Г. Юрій Бѣляевъ неутомимо ходитъ, неутомимо пишетъ, кого похвалитъ, кого нѣжно упрекнетъ, добросовѣстно разскажетъ содержаніе пьесы,—и всѣ довольны, и онъ самъ. Моя же задача не легка: дѣло въ томъ, что я совсѣмъ не могу ходить въ театръ. Я заболѣваю со второго, иногда съ перваго акта лихорадкой, сопровождающейся сильнымъ ознобомъ и жаромъ. Воз-

вращаюсь домой и пью малину, не помышляя о рецензіи. Это несчастное мое свойство заставило меня уже давно отказаться отъ посѣщенія петербургскихъ храмовъ Мельпомены. Въ послѣдній разъ я былъ въ Александринскомъ театрѣ—и досидѣлъ до конца,—два года тому назадъ, весной, когда давали, „Фауста“ Гете. Отъ стоновъ Аполлонскаго-Фауста со мной нѣсколько разъ начинался было предательскій ознобъ; но тихія движенія Коммиссаржевской, веселость Ге и, главное, глубокія и вѣчныя слова, которыхъ не смогъ испортить и переводчикъ—Холодковскій, остановили развитіе моей театральной болѣзни. Съ тѣхъ поръ я однажды лишь пытался — и напрасно—просидѣть вечеръ передъ сценой: шелъ Ипполитъ Эврипида. Декораціи условныя и неподвижно-величественныя, успокоили и обнадежили было меня. Но вотъ вышелъ г. Юрьевъ-Ипполитъ, съ красными руками и бѣлыми ногами и такимъ источнымъ голосомъ завопилъ, дублируя согласныя и шипя на „эсахъ“: „Раббы ко ммнѣ притронутьсся не сссмѣютъ!“ — что я тотчасъ же всталъ и пошелъ вонъ. Я понялъ, что при г. Юрьевѣ меня не спасутъ даже

прекрасныя и вѣчныя слова Эврипида. Уходя, я еще видѣлъ мелькомъ накладную, трясущуюся бороду Тезея и слышалъ плаксивый голосъ: „Гол-лубка моя!“ На послѣдующихъ представленіяхъ, говорятъ, г. Юрьевъ употреблялъ еще большее число согласныхъ и для усиленія сценичности завивался чуть не вихремъ, а Тезей окончательно надорвалъ себя, плача надъ тѣломъ Федры. Но, несмотря на это — пьеса въ публикѣ успѣха не имѣла. Вѣроятно, все-таки артисты не смогли возвысить ее до себя, довести до полнаго соотвѣтствія, до полной гармоніи со своей игрой. Успѣхъ въ этомъ же сезонѣ имѣли другія пьесы— не такой успѣхъ, какъ пьесы Московскаго Художественнаго театра (и весь театръ вообще)—но тоже порядочный, заставившій меня предположить, что тутъ была извѣстная гармонія между авторомъ и актерами. Гармонировали, конечно, и зрители—это доказываетъ успѣхъ; однако, справедливость требуетъ замѣтить, что современные зрители находятся въ еще большей душевной гармоніи съ актерами и пьесами Художественнаго театра. О немъ и объ этой гармоніи скажу ниже, а пока остановимся на

нашихъ домашнихъ произведеніяхъ драматическаго искусства, о которыхъ столько спорили, говорили и писали.

Видѣть на сценѣ я ихъ не могъ, а потому просто взялъ журнальчикъ г. Кугеля „Театръ и Искусство“ и прочиталъ три пьесы: „Внѣ жизни“ В. Протопопова, „Голосъ крови“ О. Дымова и „Лебединая пѣснь“ Е. Безпятова. Хотѣлъ было еще поискать „Дѣтей“, Найденова или Ванюшина. не помню, но не нашелъ, да и не подъ силу это мнѣ оказалось бы. Довольно и этихъ. „Голосъ Крови“—премированъ Суворинымъ; изъ-за „Лебединой пѣсни“ во всѣхъ газетахъ шла серьезная полемика, „Внѣ жизни“ — немедленно перевели на нѣмецкій языкъ и съ большимъ успѣхомъ и длинными разсужденіями и похвалами давали, кажется, въ Берлинѣ. Въ нашихъ петербургскихъ газетахъ воспроизводили фотографическіе снимки съ цѣлыхъ сценъ. Чего же еще? И я принялся читать.

Боже мой, Боже мой! Знаетъ ли кто-нибудь, что такое современная пьеса, премированная литературно-театральнымъ кружкомъ, игранная на Императорской сценѣ, восхваленная берлинскими критиками и

т. д. и т. п.? Я вспомнилъ и благословилъ всѣхъ Митекъ Корявыхъ, Глауберовъ, Подкольскихъ и Будищевыхъ, которыхъ прежде преслѣдовалъ. Благословилъ и судьбу, не позволившую мнѣ всего этого видѣть въ лицахъ—выросшимъ до кошмара. Я вообразилъ съ излишней живостью гармонію, которая навѣрно царила на сценѣ между артистами и авторами пьесъ—и чуть не заболѣлъ отъ одного воображенія. Мнѣ будутъ говорить: „нѣтъ, вообразить ничего нельзя, пьесу надо видѣть, чтобы судить о ней, непремѣнно видѣть“... Неужели театральное „искусство,—такое особенное, странное искусство, что, если мы подойдемъ къ нему съ литературными требованіями, оно окажется просто безграмотностью? Зачѣмъ же тогда печатать пьесы? Расписывать по ролямъ и учить съ голоса. Во всякомъ случаѣ это относится лишь къ *современному* драматическому „искусству“, потому что вѣдь не воспрещается же читать ни Гамлета, ни Ревизора, ни Мнимаго больного, ни Горя отъ ума, ни Прометея, ни даже Недоросля или Бригадира. Напротивъ, теперь только *читая* ихъ и получаешь наслажденіе, а смотрѣть нельзя. Всѣмъ су-

ществомъ сливающіеся съ Внѣ жизнью и Дѣтьми Найденова актеры наши и въ Гамлета невольно впустятъ найденовскаго ребенка или добродѣтельнаго повара Осипа; г. Юрьевъ Ипполита подцвѣтилъ же чуть-чуть не Альфредомъ изъ Маргариты Готье. Позорная фальшь, разнообразная, но всегда варварская, безграмотность названныхъ пьесъ таковы, что слишкомъ тяжело и трудно было бы копаться въ этомъ, передавать содержаніе каждой, приводить цитаты. Скажу кратко: во Внѣ Жизни добродѣтельный поваръ. Осипъ все время говоритъ о превратностяхъ прислужьей жизни языкомъ провинціальнаго студента перваго курса, а злосчастная горничная, соблазненная бариномъ, прямо проповѣдуетъ святость любви по книжкѣ; въ Лебединой Пѣснѣ невѣроятно-обольстительный профессоръ дѣлаетъ на сценѣ женскую операцію своей возлюбленной, а она выдаетъ въ бреду мужу и сонму докторовъ свою тайну и зоветъ профессора: „Аркадій... Аркадій... люблю... приди...“ Тутъ же на сценѣ потрясенный профессорь и зарѣзалъ ее операціонным ножомъ отъ блаженства; въ Голосѣ Крови всѣ ругаются и стрѣ-

ляются; снова стрѣляются и снова ругаются. Послѣдняя пьеса написана еще съ усиліями декадентить, а потому смысла труднѣе добиться. Какъ будто оттого стрѣляются, что ругаются, а ругаются оттого, что стрѣляются, а быть можетъ и не такъ. Жалость, отвращеніе и недоумѣніе.

Казалось бы, эти ужасы—послѣдняя степень удаленія отъ искусства, убіеніе искусства, смерть. Но, присмотрѣвшись и поразмысливъ, увидимъ, что смерть искусства еще не здѣсь. Если опредѣлить, что искусство вообще — и театральное тоже, конечно,—есть стремленіе человѣческаго „я“ создать, въ той или другой формѣ, нѣчто синтезирующее данное „я“ и жизнь, а потому всегда *подобное* жизни — никогда съ ней не *тождественное*,—то надо признать, что пьесы Дымовыхъ, Безпятовыхъ и сценическія ихъ воплощенія—все-таки въ кругу принциповъ *искусства*. Конечно, настоящее искусство всегда сверхъ-жизнь, усиленіе жизни, расширеніе жизни,—потому что входящій элементъ,—человѣческое „я“—всегда въ стремленіяхъ своихъ смотритъ *поверхъ* явленій, углубляя ихъ, измѣняя до предѣла своихъ желаній. Оно, настоящее искусство,

находится непремѣнно въ извѣстномъ отдаленіи отъ жизни, но впереди, *надъ* нею. Современное же театральное искусство въ лицѣ Дымовыхъ, Ванюшиныхъ, (а также ихъ достойныхъ исполнителей) тоже находится въ удаленіи отъ жизни, только оно не *надъ* жизнью, а *подъ* нею. Отъ чего бы это ни зависѣло, отъ безсилія ли творцовъ, отъ свойства ли ихъ „я“ и соотвѣтственныхъ этому „я“ желаній и стремленій,—намъ все равно; принципъ искусства внѣшнимъ образомъ, соблюденъ. Омертвѣнія окончательнаго тутъ еще нѣтъ. Отрицательное искусство—только путь къ омертвѣнію; въ этой агоніи не разъ еще выскочитъ какой-нибудь Дымовъ пограмотнѣе, поталантливѣе, подпрыгнетъ вверхъ на минутку и, хотя агоніи не прерветъ—но въ свою минутку будетъ правъ и живъ. Нѣтъ, истинное кладбище театральнаго искусства не въ Александринскомъ театрѣ, не у Суворина съ его премированными пьесами, не въ Петербургѣ: этотъ погостъ — Московскій Художественный театръ. Тамъ я былъ не разъ—и досиживалъ до конца, не въ силахъ двинуться съ мѣста, какъ очарованный. Съ вѣтромъ сдвигался оливковый занавѣсъ, а

я все сидѣлъ, почти безъ лихорадки, съ ужасомъ. Каждый вечеръ тамъ происходитъ пышное погребальное торжество при веселыхъ одобреніяхъ зрителей. Толпа давно ждала этого возгласа: „смерть искусству! Да здравствуетъ сама жизнь!“ Вотъ она и здравствуетъ, какъ, впрочемъ, и раньше здравствовала, съ тою лишь разницей, что раньше ее не считали тупикомъ, а если считали, то ужасались этому,—теперь же и считаютъ, и радуются, что сидятъ въ тупикѣ.

Принципъ Художественнаго театра — сдѣлать искусство *тождественнымъ* съ жизнью, вбить его въ жизнь, сравнять, сгладить съ жизнью, даже съ однимъ настоящимъ моментомъ жизни, такъ, чтобы и знака на томъ мѣстѣ не осталось. Художественному театру и удаются лишь пьесы, отвѣчающія этому принципу, преимущественно пьесы Чехова (послѣднее время Горькаго), и во время такихъ представленій бываютъ минуты полной гармоніи — автора, актеровъ и толпы. Всѣ слились въ одномъ достигнутомъ желаніи — желаніи неподвижности, отупѣнія, смерти. Ни прошлаго ни будущаго, одинъ

настоящій мигъ, навсегда окостенѣвшій. Впрочемъ, когда у трупа наступаетъ окостенѣніе,—то кажется тоже, что это навѣки; а зарытый въ землю онъ отходитъ—чтобы начать разлагаться. Умершему искусству, пышно схороненному въ Московскомъ театрѣ,—еще предстоитъ долгое разложеніе. Величественная окоченѣлость покойника, которой такъ гордится Театръ, скоро пройдетъ, кое гдѣ уже замѣтны первые признаки разложенія, но пока — мигъ еще длится; неподвижность и смерть еще красивы... на взглядъ наивныхъ или неумныхъ людей, не понимающихъ, что такое смерть.

Я не хочу касаться здѣсь Чехова и Горькаго, какъ писателей вообще: я говорю теперь исключительно о театрѣ, объ его современномъ положеніи, объ его неуклонномъ пути къ совершенному вырожденію и смерти. Къ вопросу о театрѣ вообще я впослѣдствіи еще вернусь. Пока же замѣчу лишь, что и Чеховъ и Горькій, такіе различно-талантливые, оба сильно подвинули русскій театръ впередъ, къ его послѣднему концу. Что дѣлается у нихъ въ „храмѣ искусства?“

Вотъ что: идетъ дождикъ. Падаютъ

листья. Люди пьютъ чай съ вареньемъ. Раскладываютъ пасьянсъ. Очень скучаютъ Иногда мужчина, почувствовавъ половое влеченіе, начинаетъ ухаживать и говоритъ: „роскошная женщина!“ Потомъ опять пьютъ чай, скучаютъ и, наконецъ, умираютъ иногда отъ болѣзни, иногда застрѣливаются. И какъ вѣрно, какъ точно, до геніальности точно, *тождественно* съ жизнью! Никакого вымысла! Бываетъ и другая картина: у людей нѣтъ денегъ для чая съ вареньемъ, они лежатъ на доскахъ и ругаются „разными словами“, или разсуждаютъ длинно-длинно о томъ, что они—люди, и что это очень хорошо и больше ничего не нужно. Потомъ бьютъ другъ друга, обвариваются кипяткомъ, кто нибудь вѣшается сдуру, а другіе опять лежатъ на доскахъ и говорятъ о томъ, какъ хорошо, что они люди и могутъ, если захочется, много и долго драться. И опять—какъ точно! Совершенно такъ, вѣроятно, и есть. Никакого вымысла!

Я думаю, Пушкинъ, доживъ до нашихъ дней, не захотѣлъ бы жить дальше. Вѣдь онъ не хотѣлъ умирать потому, что у него была надежда:

„Порой надъ вымысломъ слезами обольюсь“...

Впрочемъ, Пушкинъ еще сказалъ, что

„Тьмы низкихъ истинъ намъ дороже
Насъ возвышающій обманъ...“

Современный „интеллигентъ“, съ честными и трудовыми убѣжденіями, сынъ двадцатаго вѣка, считающій себя кстати и культурнымъ любителемъ, „искусства“,— непремѣнно возразитъ Пушкину, что гораздо лучше обливаться слезами надъ существующимъ общественнымъ зломъ, нежели надъ вымысломъ, и что истинное изображеніе жизни дороже всякаго обмана... Если не возразитъ, то лишь потому, что хрестоматичныя изреченія авторитетовъ принято оставлять безъ всякаго вниманія. Пушкинъ! Какъ это старо! Се, творимъ все новое!

Да здравствуетъ же навѣки нерушимо наша честная интеллигенція, роскошныя женщины, гордые пропойцы, современная „истинная“ жизнь! Смерть искусству!

Вѣчный жидъ

Прочелъ о „миквѣ“ В. В. Розанова („Юдаизмъ“, Нов. Путь“, августъ)—и ужаснулся. Неимовѣрное утвержденіе: будто бы смрадное можетъ быть святымъ. Отъ начала міра благоуханіе связано со святостью. Господу—куренія, Господу ѳиміамъ. Самое духовное въ сгорающей жертвѣ— и есть ея благовоніе. Тутъ какая то глубочайшая тайна нашей тѣлесной, человѣческой и дочеловѣческой, животной эстетики. Обоняніе—темное, но глубоко вѣрное чутье. Оно какъ бы ограждаетъ насъ, предупреждая, что страшные, еще незримые, духи заразы и тлѣна близко. Есть ли для человѣка что-нибудь болѣе отвращающее или ужасное, чѣмъ запахъ тлѣна? Самое нуменальное и вмѣстѣ съ тѣмъ реальное имя дьявола—Смрадный. Розановъ ниспровергаетъ эту первозданную эстетику, онъ хочетъ увѣрить насъ, что есть непонятая

нами религіозная тайна въ зловонной миквѣ, что миква—свята.

Но что же такое миква въ томъ историческомъ освѣщеніи, которое даетъ ей отчасти самъ Розановъ? Жалкій современный остатокъ древняго обряда, бывшаго когда-то дѣйствительно священнымъ. Весь смыслъ Израиля—исканіе великой, для него самого непонятной цѣли. Абсолютной божеской чистоты въ зачатіи и рожденіи. Преодолѣнія первороднаго грѣха именно здѣсь,—(„сѣмя жены сотретъ главу змѣя“),—въ самомъ темномъ и скользкомъ срывѣ, въ центрѣ пола. Чистота и святость достижимы только посредствомъ очищенія, отграниченія, отрѣзанія несвятого отъ святого, нечистаго отъ чистаго. Вотъ откуда всѣ эти физіологическія и вмѣстѣ съ тѣмъ религіозныя законодательства Моисея, кажущіяся намъ теперь столь педантичными и мелочными. Омовенія, очищенія, обрѣзаніе, субботы (обрѣзаніе дней)—все это путь къ единому, послѣднему, абсолютно-непорочному зачатію. Путь къ Мессіи,—Богорожденію, къ явленію плоти—божественной... Огораживался неприступной каменной оградой таинственный садъ, гдѣ должна была расцвѣсти непорочная ли-

лія—Дѣва-Мать. И цѣль достигнута. Совершилось чудо непорочнаго зачатія,—и стало источникомъ нашей новой святости и новой чистоты. Но Израиль не понялъ, что его старый путь, путь пріуготовленія, пройденъ до конца,—и въ этомъ донынѣ его міровая трагедія. Израиль, проведшій 40 лѣтъ въ пустынѣ, искатель Бога, въ христіанской исторіи превратился въ Донъ-Кихота исканій, трагикомическаго Титана, въ вѣчнаго добровольнаго странника,—Вѣчнаго Жида. Древній Іовъ все еще сидитъ на смрадномъ гноищѣ, ропщетъ прометеевымъ ропотомъ, и не хочетъ сойти. Жидовское гноище, жидовская миква!

А вѣдь, дѣйствительно, когда-то эта липкая грязь была кристальной водой пустыни, поившей землю того вертограда, гдѣ должна была вырости Галилейская лилія. Но есть законъ религіи: всякая попытка вернуться къ упраздненной, *исполненной* святости—приводитъ къ извращенію религіознаго чувства, демонизму и кощунству. Такія попытки всегда были. Въ самомъ христіанствѣ всегда былъ уклонъ въ сторону Израиля: ересь жидовствующихъ. Теперь настало самое опасное время для усиленія этого религіоз-

наго недуга. Намъ нужно, во что бы то ни стало нужно освятить полъ новою, всеозаряющею святостью. Нужно понять тайну непорочнаго зачатія, дѣвственнаго материнства, тайну пола до конца—до конца міра,—и не теоретически, не отвлеченно, богословски, — а пламенно, дѣвственно, жизненно. Историческое христіанство не разрѣшаетъ, а лишь упраздняетъ этотъ вопросъ—отсѣченіемъ пола, всепоглощающимъ, односторонним аскетизмомъ. Тѣ, кто не могутъ заглушить въ себѣ этотъ вопросъ и не имѣютъ силы искать новыхъ рѣшеній—попадаютъ на старые, до-христіанскіе пути. Въ самомъ христіанствѣ начинается ропотъ Іова. Отставшія отъ пастыря овцы блуждаютъ въ древней пустынѣ, идутъ утолять жажду въ заброшенный колодезь, гдѣ уже нѣтъ воды, а лишь на днѣ осталась липкая грязь зловонной миквы. Какое отверженіе, какое проклятіе! Начинается безнадежная антиэстетика, извращеніе и ужасъ, смрадъ принимается за благоуханье, дьявольское за божеское.

Великая религіозная жажда должна быть у Розанова, если онъ рѣшается утолять ее даже въ такомъ источникѣ. Почему не слы-

шитъ онъ призыва, къ нему обращеннаго; „Кто жаждетъ—иди ко Мнѣ и пей“? Должно быть выросли неодолимыя препятствія между жаждущими и Утоляющимъ. Такимъ камнемъ завалили источникъ воды живой, что умремъ — не подымемъ. Вотъ, іеромонахъ Михаилъ увѣряетъ Розанова, будто бы онъ съ нимъ во всемъ согласенъ. „Вы говорите: бракъ святъ,—я говорю: бракъ святъ. Чего же больше? Пойдемъ вмѣстѣ“. Любопытно, однако, знать, дошли ли бы они вмѣстѣ до миквы, и погрузился ли бы въ нее, вслѣдъ за Розановымъ, согласный съ нимъ іеромонахъ Михаилъ? Или это согласіе только на словахъ? Увы, кажется такъ. Тысячелѣтній номинализмъ! Но не утолить жаждущихъ словомъ: „вода“.

Самъ того не подозрѣвая, Розановъ и здѣсь, своимъ беззаконнымъ возвратомъ къ жалкимъ обломкамъ Израиля,—служитъ христіанству въ его грядущемъ, еще неизвѣстномъ проявленіи. Между первой книгой Библіи— книгой Бытія,—и послѣдней—Апокалипсисомъ—есть еще неоткрытая связь. Конецъ и Начало, Ветхій и Новый Завѣтъ, древо познанія и древо жизни — должны явиться намъ въ послѣднемъ и совершен-

номъ соединеніи. Сказано: весь Израиль—спасется. А для насъ, увы, вѣчный Израиль—только Вѣчный жидъ. Что ужъ грѣха таить: гдѣ намъ, съ номинализмомъ іеромонаха Михаила, исцѣлить эту страшную проказу, одолѣть древнее проклятіе и отверженіе Іова. Мы даже и представить себѣ не можемъ ту степень раскаленной вѣры, которою, какъ въ горнѣ, очистится и снова расплавится, чтобы слиться съ нами—Израиль. Это и есть огонь того пожара, въ которомъ сгоритъ и преобразится міръ. „Огонь пришелъ я низвести на землю, и какъ желалъ бы, чтобъ онъ уже возгорѣлся“...

Нужны-ли стихи?

Стали все чаще говорить, что хорошихъ стихотворцевъ нѣтъ, плохонькіе ударились въ декадентство, гдѣ ничего понять нельзя, что поэзія вырождается, и даже—что стихи не нужны. Съ этимъ послѣднимъ положеніемъ я въ нѣкоторой мѣрѣ согласенъ. Сборникъ стиховъ современнаго автора дѣйствительно ненуженъ, безполезенъ для современнаго читателя. Причина—отнюдь не то, что наши поэты плохи; одни лучше, другіе хуже, есть и совсѣмъ хорошіе, и совсѣмъ плохіе; въ мою задачу теперь не входитъ оцѣнка ихъ талантовъ. Тѣмъ болѣе что современные стихотворные сборники и талантливыхъ и бездарныхъ одинаково оказываются не нужны никому. Причина, слѣдовательно, лежитъ не только въ авторахъ, но и въ читателяхъ. Причина—время, къ которому принадлежатъ и тѣ и другіе,—

всѣ наши современники вообще; покорные ему, они покорно принимаютъ отъ него одинаковую печать.

Печать эта—крайняя, тѣсная, почти страшная,—субъективность. И современный поэтъ, утончившись,—обособился, отдѣлился, какъ человѣкъ (и, естественно, какъ стихотворецъ) отъ человѣка, рядомъ стоявшаго, который тоже ушелъ въ свою сторону. Именно обособился — и перенесъ центръ вниманія на свою особенность, поетъ о ней, такъ какъ въ ней видитъ путь, святое своей души. Субъективизмъ можетъ печалить,—но тутъ еще нѣтъ ничего ни мелкаго, ни безнадежнаго. Опечаленныхъ пусть утѣшаетъ мысль, что это—„современное“, а все современное—временно. Кто знаетъ,—не ведетъ ли неизбѣжная одинокая дорога къ новому, болѣе полному, общенію въ грядущемъ? Но возвращусь къ стихамъ.

Вопреки мнѣнію усталыхъ, злорадно-равнодушныхъ людей, грустно заявляющихъ, что стихи отжили свой вѣкъ и вообще болѣе не нужны,—я утверждаю, что стихи необходимы, естественны и вѣчны. Я считаю естественной и необходимѣйшей потребностью человѣческой природы—молит-

ву. И каждый человѣкъ непремѣнно молится или стремится къ молитвѣ,—все равно, сознаетъ онъ это или нѣтъ, все равно въ какую форму выливается у него молитва и къ какому Богу обращена. Форма зависитъ отъ способностей и наклонностей каждаго. Поэзія вообще, стихосложеніе, словесная музыка въ частности—одна изъ формъ, которую принимаетъ въ человѣческой душѣ молитва. Поэзія, какъ опредѣлилъ ее Баратынскій,—„есть полное ощущеніе данной минуты“. Быть можетъ, это опредѣленіе слишкомъ обще для молитвы,—но какъ оно близко къ ней!

И вотъ, современный стихописатель, подчиняясь вѣчному закону человѣческой природы, молится—въ стихахъ. Удачны или неудачны стихи,—поэтъ всегда беретъ все свое данное „я“ данной минуты (таково условіе молитвы и поэзіи). Виноватъ ли онъ, что каждое „я“ теперь сдѣлалось особеннымъ, одинокимъ, оторваннымъ отъ другихъ „я“ и потому для другихъ непонятнымъ, ненужнымъ? Каждому страстно нужна, понятна и дорога его молитва; нужно его стихотвореніе—отраженіе мгновенной полноты его сердца. Но не нужно другому,

пока его завѣтное „я“—другое. Это безнадежное одиночество уже смутно сознается многими поэтами и сознаніе еще болѣе обособляетъ ихъ, заставляетъ замыкаться душу. Чувствуя, что въ своихъ молитвахъ все равно не сольются ни съ кѣмъ, они уже слагаютъ ихъ какъ бы вполголоса, только для себя, намѣренными намеками, ясными только себѣ. Иные, въ полусознанномъ отчаяніи, прикрываются безпечной смѣлостью, независимостью: „Мнѣ никого не надо! Пусть меня не поймутъ! Скрытое въ моей душѣ—пусть выльется отрывочными словами; я знаю то, что ихъ соединяетъ. Пусть образъ будетъ извнѣ кривъ и дикъ: въ моей душѣ я сливаю невысказанное съ высказаннымъ—и онъ прекрасенъ“! Отсюда—путь крайнихъ декадентовъ, и путь очень покатый и страшный. Всякое желаніе общенія можетъ умереть на днѣ, всякое желаніе дѣйствительно воплотить, выразить, создать. Всякій голосъ можетъ изсякнуть; область словъ можетъ окончиться. Исчезнетъ молитва, порывъ,—исчезнетъ человѣкъ.

Впрочемъ, тутъ я говорю о самомъ днѣ этого пологаго оврага; до дна, кажется, никто еще не докатывался. Тѣмъ болѣе, что всегда

есть мгновенныя утѣшенія; всегда есть—или вѣрятъ, что есть—одинъ, два человѣка, которые услышатъ, вспомнятъ въ свой молитвенный часъ слова поэта и повторятъ ихъ, какъ свои. А если нѣтъ этихъ двухъ трехъ—они должны быть! Вѣдь должно же быть чудо, хотя мы и видимъ, что его нѣтъ.

Благодаря тому, что истинная современная поэзія принимаетъ все болѣе опредѣленный характеръ молитвы, и каждое стихотвореніе воплощаетъ (или стремится воплотить) ощущеніе *данной* минуты, все „свое“ святое—*сборникъ* такихъ стихотвореній меньше всего можетъ что-либо дать читателю. Ощущеніе вылилось—стихотвореніе кончилось; слѣдующее—слѣдующая минута—уже иная; они раздѣлены временемъ, жизнью. А читатель тутъ же перебѣгаетъ съ одной страницы на другую, и смѣны, скользя, только утомляютъ глаза и слухъ.

Было, однако, время, когда стихи принимались и понимались всѣми, не утомляли, не раздражали, были нужны всѣмъ. И опять не потому, что прежніе стихи были хороши, а теперешніе дурны. Исчезли не таланты; исчезла возможность общенія именно въ

молитвѣ, общность молитвеннаго порыва. Когда-то она была. Во всѣ времена стремленіе къ ритму, къ музыкѣ рѣчи, къ воплощенію внутренняго трепета въ правильные переливы словъ—было связано съ устремленіемъ молитвеннымъ, религіознымъ, потусторонним, — съ самымъ таинственнымъ, глубокимъ ядромъ человѣческой души. Это и есть печать поэзіи, безъ нея нѣтъ ни одного истиннаго стихотворенія, она—условіе причастности поэта къ поэзіи. Неумѣлые вздохи гимназиста — могутъ быть истинно поэтичными, и цѣлые томы способныхъ стихослагателей подчасъ не имѣютъ ничего общаго со „стихами“. Молитвословіями были и стихи первыхъ нашихъ поэтовъ,—тѣхъ, въ свое время понятныхъ, принимаемыхъ, нужныхъ. Былъ Пушкинъ. Но онъ былъ—и есть, онъ, кажется, единственный внѣ времени. Онъ—всепроникающъ и вѣченъ, какъ солнце,—но какъ солнце и неподвиженъ. То, что есть молитвы Пушкина—не утоляетъ исканій новыхъ поэтовъ; эти молитвы—не конечная цѣль ихъ собственныхъ порывовъ, а можетъ быть лишь нѣкоторое условіе ихъ существованія, какъ солнце—не жизнь, а только условіе жизни. Пушкинъ,

будучи внѣ времени,—стоитъ за то и внѣ историческаго пути. Но вотъ Некрасовъ,—тоже любимый и всѣмъ въ свое время нужный. Какъ это случилось? Вѣдь и его „гражданскія“ пѣсни были молитвами. Но молитвы эти оказались у него общими съ его современниками. Дрожали общія струны. Онѣ замолкли и уже не воскреснутъ, какъ молитвословія. Но они широко звучали и были нужны—именно потому, что были общими. А у каждаго изъ теперешнихъ поэтовъ отдѣльный, сознанный или не сознанный—но свой Богъ, а потому и кажутся такими бездѣйственными, безпомощными, подчасъ смѣшными ихъ одинокія, имъ лишь и дорогія, молитвы. Изъ старыхъ поэтовъ, истинныхъ, нашимъ современникомъ могъ бы быть Тютчевъ. Когда, кто любилъ, понималъ и зналъ его странные, лунные гимны, которыхъ онъ самъ стыдился передъ другими, записывалъ на клочкахъ, о которыхъ избѣгалъ говорить? Если, наконецъ, немногіе изъ теперешнихъ почуя его близость и сливаютъ сердце съ его славословіями,—то какъ ихъ мало! Да и для каждаго Богъ Тютчева все-таки не всей полностью его Богъ. Одинъ изъ новыхъ поэтовъ—Ѳ. Сологубъ—поэтъ несо-

мнѣнный, глубокій, стройный и цѣльный; а кому нужны его небольшія, многочисленныя книжки? Кто пойметъ его душой и сольется съ нимъ въ молитвѣ—дьяволу, да еще и дьяволу-то необъясненному, таинственному, знаемому только имъ, самимъ Сологубомъ,—и даже, можетъ быть, вовсе и не дьяволу? Видѣнія Бальмонта, безпорядочныя чудовища съ безпорядочными именами, женщины, которыя его какъ-то неукротимо и непонятно любятъ, онъ самъ, Бальмонтъ, Ліонель, „свѣтлый богъ“, его ужасы, легкіе, веселые и не страшные, не отраженіе ли это „единственнаго“ трепета души—самого автора, и не нужны ли они единственной душѣ—ему самому? Брюсовъ смотритъ на фавна особыми, своими глазами, говоритъ объ этой минутѣ, о своемъ созерцаніи и полнотѣ его,—а тотъ, кто не можетъ и не могъ бы никогда почувствовать того-же самого—или смѣется, или равнодушно отходитъ. Передать душевное движеніе чѣмъ бы то ни было, словами, звуками, образами—можно только тому, въ чьей душѣ есть хоть малѣйшій зародышъ такого же, точно такого же движенія. Молиться вмѣстѣ можно только одному Богу,

или, по крайней мѣрѣ, желая найти одного, стремясь къ Единому.

Я употреблялъ слова „современность“ и „современный“ не столько во внѣшнемъ, сколько во внутреннемъ, значительномъ и важномъ смыслѣ слова. Я бралъ тѣхъ, въ комъ дѣйствительно ясна эта движущаяся точка времени. Кто окрашенъ цвѣтомъ времени и идетъ приблизительно на одномъ уровнѣ сознанія. Для времени лишь они одни, лишь это одно и характерно. Есть у насъ не только поэты, живущіе и пишущіе въ данный моментъ исторіи, но даже начинающіе писать, молодые,—и все-таки не современные, а историческіе. Времена, когда они могли бы быть нужны,— прошли, и пѣсни ихъ, хотя и понятны, но тоже ненужны. Это поэты некрасовскихъ завѣтовъ. Но они и сами поняли, что не нужны, обезсиливаютъ, сникаютъ. Молитвы они оставили, а пишутъ передовыя статьи. Другіе— тоже не современные, но и не историчные, а, чтобъ не сказать „вѣчные“—постоянные. Впрочемъ, и пошлость называютъ „вѣчной“. Таковы поэты—комми-вояжеры. Во всѣ времена были особыя, „комми-вояжерскія“, души. Онѣ отличались необыкновенной лег-

костью, пустотой воздушности, дешевизной и непереносной (тоже во всѣ вѣка) пошлостью. Душа комми имѣетъ способность наряжаться во всякія одежды, извнѣ, издали, очень современныя,—и съ первымъ прыжкомъ ихъ сбрасываетъ, запыливъ. Такія души встрѣчаются и у стихосложителей,—у поэтовъ. Да, все-таки у *поэтовъ*, потому что вѣдь и комми-вояжеръ—молится. Только у него свои, комми-вояжерскія, молитвы, и обращены онѣ къ соотвѣтственному богу,—кажется, неизмѣнному. Онъ одинъ для всѣхъ комми-вояжеровъ, а потому они всѣ, вѣроятно, другъ друга понимаютъ. И стихи ихъ другъ другу нужны. Укажу изъ множества такихъ поэтовъ на одного, очень мало извѣстнаго,—но онъ сейчасъ подъ руками. Это—Максъ Волошинъ. Его „молитвы“ были напечатаны въ августовской книжкѣ „Новаго Пути“. Такъ какъ комми-вояжерскія души не рѣдки и у читателей, то молитвы эти, конечно, нашли откликъ въ соотвѣтственныхъ мѣстахъ, несмотря на всю ихъ „послѣднюю модность“, которая хочетъ притвориться „современностью“ и запугать. Цитировать его подпрыгивающіе гимны „кастаньетамъ“ и „стрекозинымъ красотамъ“

не буду; Богъ съ ними. Можетъ быть и они необходимы въ строѣ міорозданія. Гораздо болѣе жаль, что существуютъ, и все выходятъ, сборники... не поэтовъ, а людей, пишущихъ короткими строчками „подъ поэзію“, даже не умѣющихъ нарядиться въ современныя одежды, а грубо прикидывающихся поэтами „историческими“, съ разсчетомъ быть понятными, стать любимыми. Поддѣлка внутренняго ощущенія, нарочитое сооруженіе молитвъ, все равно ради какихъ цѣлей—ради ли денегъ, извѣстности, или ради добраго поученія, благотворнаго вліянія—всегда кощунство. Пусть даже цѣли смутно сознаны, разсчетъ не ясенъ,—это обманъ, которому нѣтъ прощенія, воистину грѣхъ противъ духа святого. И роковымъ образомъ этотъ обманъ падаетъ, разсчетъ почти никогда не удается. Опять возьму изъ тысячи такихъ неудачныхъ грѣшниковъ одного, перваго попавшагося: г. Мих. Гербановскаго съ его недавнимъ сборникомъ „Лепестки“. Я не сомнѣваюсь, что душѣ г. Мих. Гербановскаго такъ или иначе не чужда молитва: вѣдь онъ—человѣкъ. Но молитва его, вѣроятно, проявляется въ какихъ-либо иныхъ, намъ неизвѣстныхъ, формахъ. Ни

въ одной „стихотворной“ строкѣ ея нѣтъ. Есть лишь поддѣлка—изъ разсчета (пусть безсознательнаго! мнѣ все равно). Разсчетливые люди добиваются разнообразныхъ благъ: то теплаго мѣстечка въ канцеляріи, то либеральнаго ордена и поцѣлуя барышни; чего бы они ни добивались—они всѣ равны между собою, всѣ одинаково—„разсчетливые люди“. Только средства бываютъ неблагородныя и благородныя (если въ разсчетѣ есть благородство), неблагодарныя и благодарныя. Стихотворная форма для полученія либеральныхъ орденовъ и дамскихъ восхищеній и поцѣлуевъ—неблагородное и неблагодарное (особенно въ данную минуту) средство. Въ самомъ дѣлѣ, чего достигъ г. Мих. Гербановскій своими крутыми, застарѣлыми шестистопными ямбами? Онъ объявилъ съ самаго начала, что Муза его научила быть „отважнѣйшимъ бойцомъ“. Онъ, съ грубѣйшими прозаизмами, разсказалъ, какъ былъ въ театрѣ, смотрѣлъ на весь „эффектъ плечъ“ и „головокъ“, но вдругъ вспомнилъ, что въ деревнѣ „тамъ гдѣ-то люди мрутъ“ отъ голода и тотчасъ же „всталъ и вышелъ прочь“... Куда именно онъ „вышелъ прочь“ (?!)—не поется, но под-

разумѣвается, что въ деревню. Любовные стихи его прожигающи (наслаждаясь любовью, „поэтъ“ не вспоминаетъ о деревнѣ и „прочь не выходитъ“). И не такъ, чтобы какъ-нибудь этакъ „по-декадентски“, а понятно, натурально прожигающи. Я не цитирую, боясь смутить покой случайной провинціалочки. Хорошо, что смущаемыхъ стихотворными суррогатами теперь не много. Даже и тутъ г. Мих. Гербановскій ошибся въ разсчетѣ, не такъ понравился, какъ хотѣлъ. Чего же онъ достигъ еще? Его печатаютъ въ „Мірѣ Божьемъ“, считая „честнымъ“; напечатаютъ, конечно, и въ глубоконевѣжественномъ „Образованіи“; да въ лучшемъ случаѣ какой-нибудь хорошо опохмѣлившійся рецензентъ въ „Русской Мысли“ назоветъ его лирическимъ поэтомъ съ „формой, доведенной до совершенства“. Но вѣдь скрыть нельзя, что этому рецензенту глубоко и давно наплевать и на форму, и на совершенство, и ничего онъ въ этомъ не смыслитъ, и никого не убѣдитъ,—такъ, помажетъ съ похмѣлья и самъ сконфузится. Міръ же Божій откровенно печатаетъ стихи „на затычку“, не уважая стихи за стихи; лишь бы „честно“. Результаты трудовъ по

выдѣлкѣ не блестящіе. Было бы, пожалуй, практичнѣе писать либретто къ опереткѣ или составлять кафе-шантанныя пѣсенки, разъ ужъ есть способность выдѣлывать риѳмованныя строчки.

Возвращаясь къ „современности“, я долженъ прибавить въ заключеніе, что и форма стиха, дошедшаго было до законченнаго совершенства, начинаетъ у современныхъ поэтовъ ломаться, принимать странныя, угловатыя линіи: созвучія иногда непріятны, льющееся пѣніе замѣняется отрывочными звуками, ритмъ дѣлается очень внутреннимъ, едва уловимымъ. Это—исканіе *своихъ* звуковъ, соотвѣтственныхъ нарождающемуся душевному трепету новой, *своей* — пока одинокой молитвы. Они ищутъ, не нашли,—можетъ быть найдутъ. Кто-нибудь найдетъ. Но все-таки это будетъ несовершенная и никому ненужная молитва—потому что одинокая. Я намѣренно не входилъ здѣсь въ оцѣнку величины и малости тѣхъ или другихъ поэтовъ. Вопросъ о силѣ таланта не имѣетъ значенія для тѣхъ мыслей, которыя я желалъ высказать. Я думаю, явись теперь, сейчасъ, въ наше трудное, острое время, стихотворецъ геніальный,—онъ очутился бы

тоже одинъ на своей узкой вершинѣ; только зубецъ его скалы былъ бы выше—ближе къ небу,—и еще невнятнѣе казалось бы его молитвенное пѣніе. Пока мы всѣ, и писатели и читатели, не найдемъ общаго Бога, или хоть не поймемъ, что стремимся всѣ къ Нему,—Единственному,—до тѣхъ поръ молитвы,—стихи нашихъ поэтовъ,—живые для каждаго изъ нихъ—будутъ непонятны и ненужны ни для кого.

Выборъ мѣшка

I

Что мнѣ дѣлать? Литература, журналистика, литераторы—у насъ тщательно раздѣлены на двое и завязаны въ два мѣшка, на одномъ написано: „консерваторы“, на другомъ „либералы“. Чуть журналистъ раскроетъ ротъ—онъ ужъ непремѣнно оказывается въ которомъ-нибудь мѣшкѣ. Есть и такіе, которые вольно лѣзутъ въ мѣшокъ, и чувствуютъ себя тамъ прекрасно, спокойно. Медлительныхъ поощряютъ толчками. На свободѣ оставляютъ пока декадентовъ, считая ихъ безобидными,—для нихъ, молъ, законъ не писанъ. Пусть перекликаются между собою, какъ знаютъ, о своихъ дѣлахъ, лишь бы „не портили нравовъ“. Но журналисту (особенно журналисту), если онъ вздумаетъ толковать о явленіяхъ, подлежащихъ общественному вниманію, не позво-

лятъ гулять на свободѣ: въ мѣшокъ! Есть сугубо-жгучіе вопросы, имена, о которыхъ совсѣмъ нельзя высказывать своихъ собственныхъ мыслей. Мыслей этихъ никто не услышитъ, — слушаютъ только одно: одобряешь или порицаешь. Порицаешь — въ одинъ мѣшокъ, одобряешь — въ другой, и сиди, и не жалуйся на неподходящую компанію. Самъ виноватъ.

Что же мнѣ дѣлать? Я не хочу въ мѣшокъ, а между тѣмъ мнѣ нужно коснуться именно одного изъ такихъ опредѣляющихъ мою судьбу вопросовъ, одного изъ „волшебныхъ“ именъ,—имени Максима Горькаго. Думаю: правдой, сущностью М. Горькаго уже никто особенно не интересуется; буду я хвалить его, его присныхъ,—ничью душу не возмущу въ ея глубинѣ; буду бранить—ничье святое не оскорблю тоже; М. Горькій, какъ писатель, какъ художникъ, если и расцвѣталъ для кого-нибудь, — давно отцвѣлъ, забытъ. Его уже не видятъ, на него и не смотрятъ. М. Горькій — „общественное явленіе“ и, между прочимъ, одинъ изъ оселковъ, на которомъ пробуютъ „честность“ убѣжденій литературнаго или другого какого дѣятеля. Если я не признаю Горькаго—

значитъ: я признаю цензуру, гоненіе на евреевъ, бюрократизмъ, взяточничество, розгу—и такъ вплоть до крѣпостного права. И меня тотчасъ же посадятъ въ мѣшокъ—прямо на „Русскій Вѣстникъ“, на Грингмута, на Мещерскаго, — какъ бы я, и даже они сами, ни протестовали противъ такой неудобной близости. Если я признаю Горькаго и К°. — я падаю на Батюшкова изъ „Міра Божьяго“, на все сѣро-желтое „Образованіе“, на всѣхъ „честныхъ“ работниковъ съ извѣстными и неизвѣстными именами, ибо, признавая, что „человѣкъ — это гордо“,—я „смѣло иду впередъ по пути прогресса“... и т. д. Пусть Батюшковъ открещивается отъ меня! Мы все-таки будемъ вмѣстѣ, въ одномъ мѣшкѣ.

Великое несчастіе—эта наша литературная тѣснота, недостойная даже и такого малокультурнаго человѣка, какъ нашъ современный „литераторъ“. Она имъ-то именно и создана, потому что нельзя безнаказанно литератору такъ мало интересоваться литературой.

Что же мнѣ дѣлать съ Максимомъ Горькимъ? Мнѣ противно сидѣть съ Мещерскимъ, съ Меньшиковымъ, со Стародумомъ изъ

„Русскаго Вѣстника“,—гораздо больше, чѣмъ ютиться подъ желтымъ крыломъ „Образованія“; и все-таки для тѣхъ немногихъ, которые молчатъ и, можетъ быть, прочтутъ меня до конца, и, можетъ быть, сами думаютъ, какъ я,—скажу, чѣмъ кажется мнѣ „общественное“ явленіе Максима Горькаго, его послѣдователей,—и всей его „школы“.

II

О литературѣ Максима Горькаго почти нечего говорить. Какъ я уже сказалъ—*писатель* Горькій для насъ давно заслоненъ *дѣятелемъ* Горькимъ. Потерявшіе, въ огнѣ общественныхъ страстей, всякое понятіе о литературной перспективѣ, наши критики и читатели привыкли говорить: Горькій и Толстой, Горькій и Чеховъ, Гете и Горькій. Достоевскаго упоминаютъ рѣже: не очень вѣрятъ, что онъ равенъ Горькому. Это все, конечно, не важно. Толстой остается со своей Анной Карениной, а Горькій съ собственнымъ Ѳомой Гордѣевымъ, и при томъ не перестаетъ быть Максимомъ Горькимъ, чрезвычайно интереснымъ знаменіемъ своего времени. О писательствѣ его скажемъ кратко

нѣсколько словъ, съ которыми согласится каждый спокойный и разумно-культурный человѣкъ: писатель, конечно, съ большими способностями, даже съ талантомъ; языкъ небреженъ, однообразенъ, выразителенъ— въ одномъ тонѣ; природу Максимъ Горькій чувствуетъ грубо и мало; описываетъ, придумывая слова и не заботится о промахахъ, заставляя героевъ въ одинъ и тотъ же день собирать яблоки и слушать соловья. Романтизмъ его и лирика—банальны, дѣтски-неумѣлы, смѣшноваты: „старухи Изергили“ его нравятся гимназистамъ и провинціальнымъ студентамъ первокурсникамъ. „Типовъ“ художественныхъ у Горькаго тоже никакихъ нѣтъ. У лицъ его не видно лицъ. Все одинъ и тотъ же Челкашъ, или Ѳома, или Илья, — Челкашо-Ѳомо-Илья, онъ же „супругъ Орловъ“. Удачныя словечки и сюжетики показываютъ, что у автора есть наблюдательность. Къ художественному развитію Горькій неспособенъ: его послѣдніе разсказы приблизительно равны первымъ, если не хуже ихъ. Однообразіе же быта и одинаковость словечекъ лишаютъ самый талантъ Горькаго, несомнѣнный и *посредственный*, постояннаго художественнаго интереса.

Въ этомъ отношеніи гораздо выше хотя бы Леонидъ Андреевъ, одинъ изъ „учениковъ“ Горькаго: онъ не лишенъ силы изобразительности и, безъ сомнѣнія, самый литературно-талантливый изъ всей „плеяды“; впрочемъ, мѣстами недуренъ и Скиталецъ; да и Купринъ не бездаренъ. Другіе — ихъ тьма темъ, — Серафимовичи, Юшкевичи, Вересаевы, Яблоновскіе, Чириковы, — къ сожалѣнію, неразличимы и значительны только своимъ явленіемъ въ данное время, явленіемъ общественнаго характера.

Банальности, которыя я только что говорилъ о „писателѣ Максимѣ Горькомъ“— не моя вина. Ничего иного объ этомъ писателѣ сказать нельзя. Таковъ онъ есть— средній, и было ихъ у насъ, такихъ, очень много, и ничего о нихъ, кромѣ того, что я сказалъ, сказать нельзя, да и не говорилось никѣмъ. Горькій любопытенъ не какъ писатель, „горкіада“ — не какъ литературная эпоха; Горькій — *пророкъ* нашего злополучнаго времени. И важна его *проповѣдь*—его и его учениковъ, а не художественная цѣнность ихъ произведеній.

Какъ ни странно это можетъ показаться на первый взглядъ—я утверждаю, что до по-

слѣднихъ дней вся Европа живетъ въ атмосферѣ *историческаго* христіанства, Франція съ ея Комбомъ, Италія ненавидящая католичество, самодовольная Англія, европейская наука, безбожное — отрицающее Бога или просто забывшее Его—наше общество—все безсознательнымъ и роковымъ образомъ, захвачено историческимъ христіанствомъ, носитъ его въ крови, и жизнь устраивается, и культура идетъ *не помимо* его отдаленныхъ, извращенныхъ законовъ. Никого не сжигаютъ, никто уже и не пойдетъ на костеръ — а безплодный, разрѣженный дымъ отъ костровъ мучениковъ доселѣ незамѣтно разъѣдаетъ намъ глаза. Христіанство въ Европѣ уже не горитъ... а тлѣетъ. Глаза болятъ, въ горлѣ першитъ отъ ѣдкой гари и больше ничего. Маленькія неудобства, которыхъ мы не замѣчаемъ отъ привычки, но, не замѣчая, все-таки съ этой гарью считаемся. Обрывки общепринятой морали, пессимизмъ, нигилизмъ; какъ пережитокъ аскетическаго отрицанія міра—стыдъ и грѣхъ половой любви („все можно, но тайно“), одиночество,—и рядомъ идея общественности, равенства; слово „кощунство“ — произносимое устами людей, которымъ чуждо все святое; нако-

нецъ, рѣчи о какомъ-то „духовномъ“ развитіи человѣка—что это все, какъ не отзвуки *наслѣдственнаго*, когда-то привитаго предкамъ нашимъ, христіанства? И что сдѣлалось съ нимъ, перешедшимъ сквозь поколѣнія? Перешедшимъ только въ кровь, не въ сознаніе. Жизнь стала уродливой, атмосфера христіанства ядовитой, человѣкъ—больнымъ и раздвоеннымъ. И чѣмъ болѣе перетираются, не исчезая, эти невидимыя цѣпи,—тѣмъ тяжелѣе становится дышать и жить. Но жить и дышать все-таки еще можно, и человѣкъ еще человѣкъ. Нуженъ рѣзкій толчекъ, чтобы выкинуть людей сразу въ безкислородное пространство, прекратить ихъ человѣческія мученья. Этотъ толчекъ, этотъ несущій человѣку окончательное, смертное, освобожденіе фонтанъ углекислоты — проповѣдь Максима Горькаго и его учениковъ. Она исторически необходима, но убійственна для попавшихъ въ ея полосу. Она освобождаетъ человѣка отъ всего, что онъ имѣетъ и когда-либо имѣлъ: отъ любви, отъ нравственности, отъ имущества, отъ знанія, отъ красоты, отъ долга, отъ семьи, отъ всякаго помышленія о Богѣ, отъ всякой надежды, отъ всякаго страха, отъ всякаго духовнаго

или тѣлеснаго устремленія и, наконецъ, отъ всякой активной воли,—она не освобождаетъ лишь отъ *инстинкта* жить. И въ концѣ этихъ послѣдовательныхъ освобожденій—восклицаніе: „человѣкъ—это гордо!“ Слова, звуки,—потому что у такого, освобожденнаго отъ всего, существа, во-первыхъ, нѣтъ *чѣмъ* гордиться, а во-вторыхъ—оно совершенно *не* человѣкъ. Звѣрь? Врядъ ли. Даже и не звѣрь. Отъ звѣря—потенція движенія вверхъ. Здѣсь же, въ исторіи, уже поднявшись вверхъ, волна упала послѣдовательно... отъ человѣка—въ послѣднее звѣрство, конечное, слѣпое, глухое, нѣмое, только мычащее и смердящее. Еще послѣднее освобожденье (для него не нужна и проповѣдь пророка) — свобода отъ слѣпого ощущенія своего „я“ — и конецъ всему. „Чисто! Хорошо!“ скажетъ Финстераархорнъ. И дай ужъ Богъ, чтобы она поскорѣе это сказала.

Всякая проповѣдь судится въ своихъ крайнихъ точкахъ, въ своемъ конечномъ идеалѣ, въ томъ, къ чему приводитъ, если идти *до конца*. Я и указалъ эти послѣднія точки, послѣднюю цѣль вѣрныхъ учениковъ пророка—Горькаго. Уклонъ очень крутъ и

цѣль для многихъ уже недалека. Полчища освобождающихся, полуосвобожденныхъ „*бывшихъ людей*“—все увеличиваются, все звѣрѣютъ... Дѣти, юноши, отцы сдираютъ съ себя одежду, обувь, лѣзутъ въ грязь, рѣжутъ и подкалываютъ безъ всякой нужды и даже безъ всякаго удовольствія, просто потому, что „я“—это гордо!“ и потому, что плоскость слишкомъ наклонна. Человѣкъ потерялъ себя,—и ничего не осталось отъ человѣка, отъ человѣчества.

Тѣ же, которые не пошли за „пророкомъ“ (потому что „пророкъ“ этотъ все-таки далеко не всемірenъ и не всѣхъ „малыхъ сихъ“ дано ему соблазнить), оставшіеся въ своей привычной, испорченной, удушливой, но все-таки человѣческой атмосферѣ,—сидятъ и глядятъ на сцену, гдѣ происходитъ „примѣрно“ освобожденіе „до дна“—глядятъ, ничего не понимая, и думаютъ про себя: „благодарю тебя, судьба, что у меня цѣлы сапоги, что я живу въ квартирѣ, а не въ углу, что моя Лиза—не проститутка, а выходитъ замужъ за инженера! И вотъ, ужъ какіе, кажется, мерзавцы—а все-таки гордятся собою! Чего я, дуракъ, боялся при-

жать этого жида? Взялъ бы съ него кушъ, велика важность! Правъ—сильный. Съ Эрнестинкой отлично поужинаемъ. Да, я все-таки, слава Богу, еще не въ такомъ положеніи. Браво! Автора! Автора!“

Эти мысли даютъ обывателю пріятныя, ласкающія ощущенія. Иногда — нѣкоторое временное „освобожденіе“, маленькое, въ видѣ ужина съ Эрнестинкой, а потомъ все идетъ попрежнему. Къ мукамъ героевъ, когда послѣднихъ обвариваютъ кипяткомъ, и они визжатъ — рождается въ душѣ обывателя чувство состраданія, жалости; —онъ радуется и ему, потому что привыкъ состраданіе считать возвышеннымъ чувствомъ. Но это лишь къ герою на сценѣ. Когда такой неуязвимый обыватель встрѣчаетъ „па-аслѣдователя Мма-аксима Горькаго“ на улицѣ— онъ пугается, сердится и уходитъ. А дома смутно безпокоится. Вѣдь ужъ забезпокоились многіе изъ благодушныхъ зрителей и платоническихъ приверженцевъ „пророка“ Горькаго; пишутъ въ газеты, строчатъ: „что это, Господи, проходу нигдѣ нѣтъ! Ни на улицѣ, ни въ литературѣ, ни въ коммерціи. А вчера былъ на первомъ представленіи

„Дна“... Звучали со сцены слова нашего великаго писателя,

Лiясь, какъ пѣсня херувима,
Съ недосягаемыхъ небесъ...
(„Нов. Дня“).

Потомъ пишетъ о думскихъ выборахъ, а потомъ снова какъ будто прежнее смутное безпокойство... и это безъ конца, не связывая и не отдавая себѣ ни въ чемъ отчета, въ полуснѣ.

Таковы разносторонніе „общественные“ результаты проповѣди Максима Горькаго и его учениковъ, причастныхъ къ литературѣ. Таковы цѣли, къ которымъ стремятся наши общественники, провозгласившіе Горькаго своимъ пророкомъ. „Есть *ничто* (Nihil), и Горькій — Его пророкъ!“ кричатъ они въ слабѣющей ярости. Потому что и ярость слабѣетъ по мѣрѣ приближенія къ *ничему*, къ послѣднему отрицанію. Углекислота лишаетъ силъ. Но она прозрачна, невидима. Зрители, держащіеся въ сторонѣ, ея не замѣчаютъ.

Быть можетъ, я придалъ слишкомъ много значенія пророку-звѣрю? Во всякомъ случаѣ,

это еще не послѣдній Звѣрь. Онъ слишкомъ мелокъ, слишкомъ неопрятенъ, слишкомъ грубо-соблазнителенъ. Да и голосъ его уже срывается. Вина его большая, потому что онъ соблазнилъ гораздо болѣе, чѣмъ „одного изъ малыхъ сихъ“... Но, можетъ быть, и не всѣхъ малыхъ соблазнитъ. Человѣкъ живучъ. Человѣческое въ человѣкѣ живуче. Какъ ни затерто, ни закрыто, какъ ни задыхается человѣкъ — живетъ, потому что можно жить. А жить можно потому, что въ жизни, рядомъ съ нами, живетъ Чудо, которое мы всѣ видимъ, всѣ знаемъ, всѣ имъ однимъ живы и котораго не замѣтили еще, не поняли, и никогда о немъ не думаемъ. Если бы подумали, то прежде всего убѣдились бы, что оно дѣйствительно — чудо: неизвѣстно откуда пришло—неизвѣстно куда уходитъ, ни концовъ, ни началъ нѣтъ, и ни на что оно, казалось бы, для жизни ненужно, а между тѣмъ, безъ него невозможна, невообразима и сама жизнь. Оно—сама природа человѣка. Имя его повторяютъ всѣ, именемъ его зовутъ многое, только не его. Оно побѣдитъ и звѣря, не Максима Горькаго даже, а самаго послѣдняго, самаго страшнаго, гряду-

щаго Звѣря. И оно живо, потому что не можетъ умереть.

Но о „Чудѣ Земли“ я поговорю въ слѣдующей книжкѣ *).

---

*) Цензура 1904 г. не пропустила продолженіе статьи: „Любовь — какъ основа общественности“ и единственный корректурный оттискъ затерялся въ цензурномъ управленіи.

1907 г.

Влюбленность

Мнѣ хотѣлось бы сказать нѣсколько словъ по поводу статьи Д. Мережковскаго „Новый Вавилонъ“.

И даже сказать не о всей статьѣ, посвященной разбору книги Розанова „Въ мірѣ неяснаго и нерѣшеннаго“—а только о бѣглыхъ, и, можетъ быть, неосторожно написанныхъ строкахъ, въ которыхъ говорится о „преображеніи пола“ въ „христіанствѣ“.

Вотъ эти строки:

„Въ историческомъ христіанствѣ вопросъ о полѣ и бракѣ еще не разрѣшенъ“. „Путь къ разрѣшенію трагедіи лежитъ, конечно, лишь въ признаніи того абсолютнаго принципа, что Христосъ освящаетъ плоть, что аскетизмъ Христа есть *преображеніе пола*, а не его отрицаніе, что будущность пола—въ стремленіи къ новой христіанской влюбленности, а отнюдь не въ идеалѣ

скопческаго изувѣрства, какъ на то указываетъ Розановъ. Тутъ великая правда грядущей церкви". „Тайна совмѣщенія пола съ евангельскимъ ученіемъ можетъ и должна быть найдена". При помощи Христа загадка разъяснится, и область „неяснаго и нерѣшеннаго" станетъ ясной и рѣшенной".

Слова эти вѣрны по существу, и все-таки, можетъ быть, не слѣдовало ихъ говорить, не слѣдовало *такъ* объ этомъ говорить. Тѣмъ болѣе, что они не преждевременны; важность „вопроса о полѣ" дошла, наконецъ, до нашего сознанія, всѣ мы требуемъ рѣшенія этому вопросу, онъ сдѣлался, наравнѣ съ другими, — „проклятымъ".

Онъ былъ вѣчно—но въ глубокой древности даже не „ощущался", затѣмъ, послѣ христіанства, сталъ „ощущаться" — и все-таки не „сознаться" какъ вопросъ: ему подразумѣвались два ясныхъ, опредѣленныхъ разрѣшенія: принять полъ, отринуть полъ. Принять то, что есть и какъ есть,—отринуть все, что есть и какимъ оно есть. И, сравнительно съ важностью другихъ вопросовъ жизни,—вопросъ о полѣ *мыслился* какъ попутный, какъ представляющійся на

разрѣшеніе (на „да“ или „нѣтъ“)—разъ въ жизни, по дорогѣ къ достиженію высшихъ цѣлей; иногда—какъ одно изъ условій для достиженія этихъ цѣлей.

Бракъ и семья—никогда не былъ и не могъ *метафизическимъ* рѣшеніемъ вопроса. Бракъ (слитый неразрывно съ дѣторожденіемъ) есть одна изъ формъ реальнаго проявленія пола, можетъ быть, самая глубокая, полная и великая, но все-таки—*одна* изъ формъ, *часть* пола. И только уже рѣшивъ вопросъ пола принятіемъ его („да“),—можно на какихъ-либо основаніяхъ стоять лично и общественно за эту именно форму. Большею же частью бракъ принимался и принимается просто какъ первый, самый естественный и практическій житейскій выходъ, и „вопросъ пола“ такимъ образомъ вовсе не „мыслится“ какъ вопросъ. Розановъ, современный „пророкъ“ въ области пола, геніальный защитникъ и ходатай брака, — начиная „мыслить“ о вопросѣ пола—не можетъ удержаться на границахъ брака. Хочетъ или не хочетъ—онъ послѣдователенъ, онъ утверждаетъ *весь* полъ, *всѣ* формы его проявленія, и пытается увѣнчать его такимъ пламеннымъ вѣнцомъ,

лучи котораго спалили бы человѣчество. И Розановъ—необходимость; онъ, освѣщая прошлое и настоящее—довершаетъ, исполняетъ его, оканчиваетъ для насъ. Онъ толкнулъ наше сознаніе, можетъ быть грубо, но разбудилъ его. И оно слилось съ нашимъ, давно обострившимся ощущеніемъ: не то! не такъ! безобразно! или пошло! или грѣхъ! или мучительно! или смѣшно! И *не* скопчество. И *не* „все позволено“. И—*не* бракъ. Не знаемъ мы тутъ правды, не знаемъ, *въ чемъ* правда для нашего *цѣльнаго* существа, для *всей* нашей природы.

Дѣйствительно, если бъ вопросъ сводился къ *противорѣчію* между тѣломъ и духомъ — онъ не былъ бы и міровымъ. Просто, въ зависимости отъ той или другой волны въ исторіи человѣческаго развитія — онъ рѣшался бы общественно то „нѣтъ“—то „да“, въ частности „бракъ“; и лично — въ соотвѣтствіи съ сильной или слабой волей каждаго. Въ такомъ положеніи для человѣческаго сознанія онъ и находился издавна. Для многихъ, невнимательныхъ къ своимъ ощущеніямъ, находится и теперь. Ощущенія дрожатъ слѣпо,

глухо, поднимается что-то, шевелится подъ покрываломъ — видишь только волнующуюся поверхность. Вѣрность ощущенія выражается помимо сознанія въ творчествѣ, — въ искусствѣ, — и даже въ самой жизни. Ощущеніемъ этимъ не пріемлется (*для духа и для тѣла равно*) — *ни одно* изъ двухъ извѣстныхъ рѣшеній вопроса о полѣ, ни „да“ (все позволено), ни „нѣтъ“ (аскетизмъ и его вожделѣнный вѣнецъ — скопчество), ни частное полурѣшеніе — бракъ. Не пріемлется ни одно—какъ окончательное, желанное, удовлетворяющее *вполнѣ — всс* наше человѣческое существо въ цѣломъ. Безсознательно уже почти всякій знаетъ, что оно, это существо, цѣльно, а не размыкается легко и произвольно на духъ-плоть, душу-тѣло, разумъ-сердце и т. д. Рѣшивъ покорить тѣло душѣ—мы оскорбляемъ душу же черезъ тѣло; оскорбляя душу или не принимая ее во вниманіе—мы оскорбляемъ тѣло черезъ душу.

Въ *ощущеніи* непріемлемости никакой изъ реально существующихъ формъ пола—сходятся люди самые разнообразные: позитивисты, демонисты, сторонники святого брака по любви и семьи. Они различны

лишь начиная *мыслить*, ибо хватаются тутъ за одно изъ готовыхъ рѣшеній. Позитивисты кричатъ: не то! вездѣ развратъ! мерзость! болѣзни! Рѣшеніе: надо упорядочить бракъ. Демонистъ, со своимъ „все позволено“, дойдя внезапно до отвращенія, неожиданнаго чувства ужаса, грѣха—и онъ говоритъ „не то!“—но мечтаетъ о монашеской чистотѣ; вѣрящій въ правду и святость брака — совершивъ чистый бракъ, сойдясь плотью съ чистой дѣвушкой, которую любитъ, вдругъ мгновеньями тоскуетъ, стыдится, чувствуетъ себя безмѣрно одинокимъ, чѣмъ то въ себѣ оскорбленнымъ, что-то потерявшимъ; примиряется, конечно, но всегда съ туманной болью вспоминаетъ о времени, когда любовь росла, облеченная тайной, и какъ будто жила надежда на иное, чудесное, таинственное же, ея увѣнчаніе. Даже въ самомъ счастливомъ бракѣ, полномъ любви и родственной нѣжности, душа *и тѣло* человѣка смутно тоскуютъ порою и грезятъ: а вѣдь что-то есть лучше! Это хорошо, но есть лучше; и это, пусть хорошее,—все-таки не то! Не то!

Въ послѣднемъ случаѣ не дѣлается всѣмъ никакихъ выводовъ, нѣтъ уже уклона

ни къ „да“ ни къ „нѣтъ“, а прямо откровенное стояніе лицомъ къ лицу съ неизвѣстнымъ; потому что бракъ — узкая, неподвижная, но все-таки самая высокая точка полового вопроса, вершина горы, извѣданно вѣрная и твердая, старинная. Сидимъ. А хочется выше.

Безполезно убѣждать себя, что не хочется, что доволенъ вершиной горы, или подножіемъ ея, или крутыми скатами; безполезно и увѣрять, что горы вовсе нѣтъ, а если есть—то она не ближе къ небу, не гора, а темная пропасть. Что есть—то есть. Она—есть, и человѣку *хочется* и нужно вверхъ; и вверхъ не до конечной узкой вершины, а дальше. Не ползти, а летѣть. Дальше, говорятъ, ничего нѣтъ. Видно же, что тамъ—ничего. И однако все отчаяннѣе ползанье по горѣ и неоспоримѣе, непобѣдимѣе стремленье у всѣхъ, на какой бы точкѣ они не находились—выше вершины, дальше, туда, гдѣ—Ничего...

Ничего ли?

Тутъ начинается великая трудность вопроса, осложненная тѣмъ, что люди, измѣняясь и расширяясь и, главное—доходя до сознанія своей „личности“, все болѣе и бо-

лѣе разобщались, теряли единозначущія слова, и теперь почти ничего не могутъ передать другъ другу. Иногда, случайно, передается что-нибудь знакомъ, звуками. Розановъ, этотъ великій „плотовидецъ“ (какъ бываютъ духовидцы)—пишетъ полусловами-полузнаками, изъ звуковъ творя небывалыя слова и небывалыя ихъ сочетанія. И онъ показалъ намъ плоть міра, раскрылъ всѣ ея сокровища, ея соблазны такъ широко и ярко, что если мы и послѣ него не соблазнились, не удовлетворились надеждой на обожествленіе уже существующихъ формъ пола и не соглашаемся на утвержденіе прошлаго и настоящаго—какъ навѣчнаго, если тѣмъ болѣе остро (ибо сознательно) стремимся къ будущему, куда-то дальше, къ какому-то „преображенію пола“, къ полету, — если это такъ (а это такъ) — то можно ли не считаться съ нашимъ стремленіемъ? Не оно ли—показатель вѣчной правды?

„Преображеніе пола въ новую христіанскую влюбленность“, говоритъ Мережковскій. Категорично,—и дано, какъ послѣдній выводъ, безъ объясненій. А объясненіе

нужно. Почему „влюбленность“? И почему *христіанская* влюбленность?

Увы, мы живемъ въ смѣшеніи словъ и понятій, и еще приходится опредѣлять самую „влюбленность“!—„Я *влюбленъ*—и хочу сдѣлать предложеніе во что бы то ни стало!“, говоритъ молодой человѣкъ, съ удовольствіемъ взирая на розовую щечку и голубые глазки дѣвушки. „Она будетъ хорошей женой, партія мнѣ подходитъ—и кромѣ того я *влюбленъ*“, разсуждаетъ другой, болѣе благоразумный. „Я *влюбленъ*, я пылаю, она должна быть моей!“ восклицаетъ какой-нибудь похититель чужихъ благополучій, и опредѣленно и послѣдовательно начинаетъ кампанію завоеванія жены своего друга. Всѣ они одинаково говорятъ „влюбленъ“ и одинаково принимаютъ за „влюбленность“—желаніе извѣстной формы брачнаго соединенія. То же самое можетъ происходить и при аномаліяхъ. Достигается ли соединеніе, или нѣтъ,—характеръ *этой* „влюбленности“ остается тѣмъ же. При достиженіи цѣли—*желаніе* достиженія естественно исчезаетъ; при недостиженіи—желаніе можетъ длиться, слабѣя, и, наконецъ, отъ отсутствія всякой надежды—тоже исче-

заетъ. Но это и не слѣдуетъ называть „влюбленностью“. Именъ много; „желаніе“—проще и точнѣе другихъ. Пріятность, радость, во́лненіе, ожиданіе, нѣжность, страсть, ненависть—все это часто входитъ въ „желаніе“. И все-таки оно—не „влюбленность“, это новое въ насъ чувство, ни на какое другое не похожее, ни къ чему опредѣленному, вѣками извѣданному, не стремящееся, и даже отрицающее всѣ формы тѣлесныхъ соединеній,—какъ равно отрицающее и само отрицаніе тѣла. Это — единственный знакъ „оттуда“, обѣщаніе чего-то, что сбывшись, насъ бы вполнѣ удовлетворило въ нашемъ душе-тѣлесномъ существѣ, разрѣшило бы „проклятый“ вопросъ.

Въ самомъ дѣлѣ, можно ли сказать, что огненно-яркое, *личное* чувство, о которомъ мы говоримъ, — исключительно и только духовно? А между тѣмъ попробуйте шепнуть какому угодно юношѣ, но горящему именно *этимъ* огнемъ, что его возлюбленная придетъ къ нему сегодня ночью и онъ можетъ, если захочетъ, „обладать“ ею. Да онъ не только не захочетъ, онъ оскорбится, онъ будетъ плакать и содрогаться. Такъ

же и по тѣмъ же (какимъ?) причинамъ будетъ онъ отвертываться и отъ наизаконнѣйшаго брака, пока жива влюбленность въ ея чистомъ, единственномъ, божественномъ видѣ. Но тотъ же влюбленный менѣе всего отрицаетъ, проклинаетъ тѣло своей возлюбленной: онъ его любитъ, оно ему дорого, въ немъ нѣтъ для него „грѣха“. Ощущеніе грѣха, проклятіе плоти—выросло исключительно изъ *желанія*. „Нѣтъ“ — противъ „да“. Духъ — противъ плоти. Но во влюбленности, истинной, даже теперешней, едва родившейся среди человѣчества и еще безпомощной—въ ней самъ вопросъ пола уже какъ бы таетъ, растворяется; противорѣчіе между духомъ и тѣломъ исчезаетъ, борьбѣ нѣтъ мѣста, а страданія восходятъ на ту высоту, гдѣ они должны претворяться въ счастье. Плоть не отвергается, не угнетается, естественно, — ибо она уже воспринята какъ плоть,—которую освятилъ Христосъ. Мережковскій говоритъ: „исходя изъ того абсолютнаго принципа, что Христосъ освятилъ плоть“... Этотъ принципъ, я думаю, никому не можетъ болѣе казаться не абсолютнымъ. „Отецъ далъ Сыну власть надъ всякою плотью,

да всему, что Онъ далъ ему, дастъ Онъ жизнь вѣчную". Взаимоотношеніе Христа и плоти не ясно лишь тѣмъ, кому христіанство еще заслоняетъ Христа. И въ этомъ неотверженіи плоти—влюбленность такъ же приникаетъ ко Христу, связана съ Нимъ, неотъединима отъ Него, какъ и во всемъ остальномъ.

Только она одна, въ области пола, со всей силой утверждаетъ *личное* въ человѣкѣ (и нераздѣльно слитое съ нимъ *неличное*):—только со Христомъ, послѣ Христа, стала открываться человѣку тайна о *личномъ*. И, наконецъ, сама влюбленность, вся, вошла въ хоръ нашихъ ощущеній, родилась для насъ, *только* послѣ Христа. До Него — ея не было, не могло и не должно было быть; тогда исполнялась еще тайна одной плоти, тайна рожденія, и она была для тѣхъ временъ послѣдней правдой Недаромъ Розановъ, пророкъ плоти и рожденія, обращаетъ лицо назадъ, идетъ въ вѣка до-Христовы, говоритъ о Вавилонѣ, о Библіи.

Нечего себя обманывать, не слѣдуетъ обманывать и Розанова неясными, уклончивыми отвѣтами на его горячія недоумѣ-

нія и порывы: да, бракъ и дѣторожденіе *не* есть рѣшеніе въ христіанствѣ вопроса о полѣ, *не* есть *послѣднее* слово Христа о немъ. Это — одинъ изъ законовъ, которые явленіемъ Своимъ Онъ исполнилъ, съ тѣмъ, чтобы они были отставлены, какъ оставляется въ сторону наполненная чаша. Великое проникновеніе у Павла, когда онъ говоритъ о бракѣ: „сіе даю вамъ не какъ повелѣніе, а какъ позволеніе". И продолжаетъ этотъ законъ жить лишь постольку, поскольку до сихъ поръ не „вмѣщается" въ человѣчествѣ „многое, что Онъ имѣлъ еще сказать, но не могли вмѣстить".

Сама Любовь, принесенная Имъ, вмѣщенная людьми какъ „жалость и состраданіе"—точно ли жалость? „Будьте одно, какъ Я и Отецъ одно"... И „кто не оставитъ отца и матери и жены и дѣтей ради Меня"... Не похожа ли эта, загадочная для насъ, Любовь—скорѣе на огненный полетъ, нежели на братское состраданіе, или даже на умиленіе и тихую святость? И гдѣ злобное гоненіе плоти аскета среди этихъ постоянно повторяющихся словъ о „пирахъ брачныхъ" о „новомъ винѣ", о Женихѣ—

вѣчномъ Женихѣ,—грядущемъ въ полночь? Іоаннъ, любимый ученикъ Его, глубже всѣхъ проникъ въ тайну Любви, покрывающей міръ; и Апокалипсисъ, эта самая послѣдняя и самая таинственная книга, говоритъ опять о Женихѣ, о Невѣстѣ Его, Невѣстѣ Агнца... „И Духъ и Невѣста говорятъ: пріиди“... „Се, гряду скоро“...

Какіе-то лучи отъ этой неразгаданной, всепокрывающей Любви пронизали міръ, человѣчество, коснулись всей сложности человѣческаго существа,—коснулись и той области, въ которой человѣкъ жилъ до тѣхъ поръ почти безсознательной и слишкомъ человѣческой жизнью. И тутъ родилось новое чувство, стремительное, какъ полетъ, неутолимое, какъ жажда Бога. Пусть оно еще слабо и рѣдко,— но оно родилось. оно — *теперь* есть. Послѣ Христа есть то, чего до Него не было. Взглянемъ назадъ, въ древность: Афродита, Церера... Развернемъ „Пѣснь пѣсней“: солнце, чувство *Бога-Творящаго*, *шумъ деревьевъ и потока*, теплота крови и тѣла только желающаго и рождающаго, земля — *одна* земля! И безличность, ибо человѣкъ—есть его родъ, онъ и его потомство—какъ бы едино. Воз-

можно ли представить себѣ, что до Христа или помимо Христа могъ гдѣ-нибудь родиться огонь, озарившій душу Данте, Микэль-Анжело? Возможна ли была эта новая настроенность человѣка въ любви личной, искра, которая зажигается то тамъ, то здѣсь въ послѣдніе вѣка? И безполезно отворачиваться, не смотрѣть тутъ въ сторону Христа:—все равно Онъ будетъ около Отъ еще слишкомъ романтическихъ среднихъ вѣковъ, черезъ Возрожденіе—до нашихъ дней, до нашего Владиміра Соловьева, пѣвшаго о „Дѣвѣ радужныхъ воротъ“, понимавшаго или чуявшаго грядущее влюбленности—искры бѣгутъ, бѣгутъ,—и все разгораются. Влюбленнаго оскорбляетъ мысль о „бракѣ“; но онъ не гонитъ плоть, видя ее свято; и уже мысль о *поцѣлуѣ*—его бы не оскорбила. Поцѣлуй, эта печать близости и равенства двухъ „я“ — принадлежитъ влюбленности; желаніе, страсть, отъ жадности украли у нея поцѣлуй, — давно, когда она еще спала,—и приспособили его для себя, измѣнивъ, окрасивъ въ свой цвѣтъ. Онъ вѣдь, имъ въ сущности совсѣмъ не нуженъ. У животныхъ его и нѣтъ, они честно выполняютъ законъ —

творить. И замѣчательно, что въ Азію, къ язычникамъ, онъ былъ, уже въ этомъ извращенномъ видѣ, занесенъ, не въ очень давнія времена,—„христіанами“. Поцѣлуй—это первое звено въ цѣпи явленій тѣлесной близости, рожденное влюбленностью; первый шагъ ея жизненнаго пути. Но, благодаря тому, что страсть его украла, измѣнивъ—сдѣлала всѣмъ доступнымъ,—намъ теперь и о поцѣлуѣ такъ же страшно и трудно говорить, страшно употреблять „слово“, какъ слово „влюбленность“. Одинъ изъ нашихъ маленькихъ поэтовъ („духъ дышитъ гдѣ хочетъ“; и то, что полетъ ощущеніе „не того“ въ полѣ — доступно не только избраннымъ, — не доказываетъ ли его общечеловѣчность?), одинъ изъ неизбранниковъ, нашъ Надсонъ,—тоже тоскуетъ о влюбленности, чуя что-то, въ своемъ: „Только утро любви хорошо, хороши только первыя, бѣглыя встрѣчи... Перекрестныхъ намековъ и взглядовъ игра“... Но онъ уже испугался, спутался на первомъ шагѣ и говоритъ дальше: „Поцѣлуй—это шагъ къ охлажденью... Съ поцѣлуемъ роняетъ вѣнокъ чистота“... О, да, конечно, — если это онъ, поцѣлуй *желанія*, украденная, запыленная, исковерканная драгоцѣнность...

Обернемся—и опять тутъ, около,—какія-то непонятныя сближенія словъ, касаніе къ многогранной Тайнѣ: прочтите всю Библію—часто ли встрѣтите поцѣлуи, братскіе, отеческіе, нѣжные, страшные? А тамъ, дальше Закона Ветхаго: — „Ты цѣлованія не далъ Мнѣ, а она не перестаетъ лобызать Мнѣ ноги“... „Привѣтствуйте другъ друга цѣлованіемъ святымъ“,—не устаютъ твердить ученики,—главное, Іоаннъ. И былъ ли когда-нибудь, есть ли гдѣ-нибудь—праздникъ поцѣлуевъ? Неужели это лишь печать „равенства и братства?“ Родные братья рѣдко и незамѣтно цѣлуются. Но вернемся опять къ нашему частному вопросу, возьмемъ созданіе великаго поэта, образъ такой чистоты влюбленности, которому почти нѣтъ равнаго, хотя влюбленности еще безпомощной, потому что слишкомъ ранней. Взглянемъ на „рыцаря бѣднаго“ съ его широкими, бѣлыми крыльями.

Онъ имѣлъ одно видѣнье,
Непостижное уму...

Его сознанію...

A. M. D. своею *кровью*
Начерталъ онъ на щитѣ...

Кровью! Чистый ли это духъ, духовность?

...Онъ на женщинъ не смотрѣлъ,
И до гроба ни съ одною
Молвить слова не хотѣлъ...

—въ немъ и чистота монаха...

Lumen coeli! Sancta Rosa!..

Только она! Одна, и она *именно*! Чувство личнаго.

Правда, поэтъ прибавляетъ:

Какъ безумецъ умеръ онъ,—

но что знаетъ поэтъ о томъ, чей образъ творитъ? И гдѣ высота духа переходитъ въ безуміе? И даже если бы... „Бѣдный рыцарь“ былъ одинъ, только одинъ, и ничего не зналъ объ огненной волнѣ, его охватившей: это было — еще „непостижное уму“.

Не *знаемъ* и мы — до конца—что это. Но мы уже знаемъ больше рыцаря. Знаемъ, что передъ нами—чувство пола, и не имѣющее ничего общаго съ разнообразными видами желанія, влекущаго за собой которое-нибудь изъ существующихъ тѣлесныхъ соединеній. Ни бракъ—о, еще бы! ни содомъ,

(бѣдный рыцарь! Да проститъ мнѣ его тѣнь!) и не аскетизмъ, не духовность,—недаромъ же онъ *кровью* начерталъ на щитѣ таинственное Имя.

Вотъ первый *намекъ* на тѣ проявленія пола, которыя должны входить въ „христіанскую настроенность“, какъ говоритъ Розановъ (онъ иногда утверждаетъ, и справедливо, что *брачное* проявленіе пола въ христіанскую настроенность не входитъ. Какъ и *никакое другое* изъ реально-извѣстныхъ, прибавимъ мы). Вотъ точка отправленія неизбѣжныхъ исканій и стремленій человѣчества въ области пола. „Полъ долженъ *быть* преображенъ“, говоритъ Мережковскій. „При помощи Христа загадка *разъяснится*, тайна должна быть *найдена* и область неяснаго и нерѣшеннаго стать ясной и рѣшенной“.

Тайна *должна быть найдена*... До сихъ поръ я, соглашаясь съ Мережковскимъ, только дополнялъ и пояснялъ его слова о новой христіанской влюбленности. Отсюда начинаются мои возраженія.

„Какія новыя формы проявленія и удовлетворенія пола могутъ быть найдены?“ отвѣтятъ и Розановъ, да и люди, не схо-

дящіеся съ Розановымъ, — всѣ. „Не духовныя формы брачнаго соединенія извѣстны и стары, или, вѣрнѣе, вѣчны, а духовное отношеніе къ полу—отрицаніе его. *Нельзя же создать новыя явленія.* Влюбленность—ничѣмъ не кончается. Для того, чтобы эта новая тайна новаго брака была *найдена*—нужно физическое преобразованіе тѣла. Какъ *разъяснится* эта загадка? *Чего* искать?"

Эти вопросы совершенно правильны, когда они предлагаются послѣ категоричнаго и краткаго заявленія: „тайна должна быть *найдена,* загадка *разъяснится*". Но по существу дѣла они неумѣстны и падаютъ сами собой, потому что тайна окончательнаго преображенія пола *не* можетъ и *не* должна быть найдена, не должна раскрыться (=сдѣлаться не тайной), загадка пола *не* должна стать ясной и окончательно рѣшенной.

Такъ же, какъ міръ, Богъ, правда, жизнь — никогда нами не могутъ быть *познаны,* но лишь все болѣе и болѣе *познаваемы*, такъ не *узнаемъ* мы и этой тайны. Знаніе есть конецъ, смерть, или порогъ безвременья, иной жизни; позна-

ваніе — жизнь міра, движеніе во времени. Христосъ—„путь, истина и жизнь“—но *сначала* путь, и весь путь до конца—а затѣмъ уже „истина и жизнь“. Если мы поняли, что вопросъ пола—такой же великій и міровой, какъ рядъ другихъ, которые вѣчно разрѣшаются и никогда не разрѣшены — почему онъ одинъ долженъ быть рѣшенъ разъ навсегда? Исканія правды, счастья, справедливости, Бога,—влекутъ людей впередъ, и люди не устаютъ искать, хотя правда только все болѣе и болѣе раскрывается, счастье только познается, Богъ—только приближается. Такъ и небо, куда намъ хочется полетѣть съ нашей горы,—для насъ—безконечность. Нельзя *до*летѣть, *до*йти до конца пути (жизни) и при этомъ остаться на пути — въ жизни же. Удовлетвореніе нашей жажды, достигнутая, какая бы то ни было, цѣль — лишаетъ смысла исканіе, останавливаетъ насъ,—нашу жизнь, нашу кровь, наше сердце. Они для этого міра созданы ищущими, познающими, во времени для времени;—у познавшаго, у нашедшаго будетъ иная жизнь, иное, новое сердце. Мы здѣсь — только стремимся, мчимся къ концу, или къ „туда“. И такъ

созданы, что не умѣемъ остановиться, даже если бъ хотѣли.

Путь, лишь путь... Но въ пути есть „дальше“ и „ближе“, и если путь вверхъ—то есть „ниже“ и „выше“. Говоря о пути и концѣ его, объ исканіи и цѣли—о недостижимости познанія и все большемъ и большемъ познаваніи—я говорю о каждомъ отдѣльномъ человѣкѣ и его предѣлѣ, и о всемъ человѣчествѣ и концѣ міра. Это вѣдь все равно. „Истина“ не будетъ *познана* здѣсь ни отдѣльнымъ человѣкомъ, ни человѣчествомъ. Но какъ она все расширяется для каждаго ищущаго, такъ соотвѣтственно растетъ и для человѣчества. Сынъ Человѣческій не сказалъ намъ „знайте“, но—„вѣрьте“. „Ибо вкусивъ съ древа познанія—смертью умрете“. Намъ невѣдомы времена и сроки, невѣдома долгота пути, мѣра того, что мы можемъ „вмѣстить“, познавая, приближаясь, подходя, находя. Но мы вѣримъ, что многое можемъ расширить, преобразить, высвѣтлить — лишь бы путь былъ вѣренъ, соотвѣтствовалъ нашей стремительной человѣческой природѣ, и непремѣнно всей, въ цѣломъ,—и духу, и плоти. Такой, единственно соотвѣтственный, путь—

данъ. „Я есмь Путь“... за Нимъ „истина и жизнь“.

Если вопросъ пола — міровой вопросъ, если въ полѣ есть истинное и тайное (а это мы познали черезъ влюбленность) — тайна будетъ вѣчно раскрываться, до конца оставаясь тайной. „Нельзя создавать новыхъ явленій...“—но мы ничего не создаемъ, создаетъ Отецъ, Который „*и донынѣ дѣлаетъ*“. А если и мы здѣсь думаемъ, хотимъ, надѣемся, должны что-нибудь дѣлать — то не сами, не одни, а только съ Сыномъ, только вмѣстѣ съ Нимъ, ибо помнимъ слова: „безъ Меня не можете дѣлать ничего“. Влюбленность—создалась, черезъ Него-же, какъ нѣчто новое, духовно-тѣлесное—на нашихъ глазахъ; изъ нея родился поцѣлуй, таинственный знакъ ея тѣлесной близости, ея соединенія двухъ—безъ потери „я“; мы не знаемъ, что еще встрѣтимъ на пути, пока не встрѣтимъ. Но загадка должна раскрываться, и внѣшне и внутренно, въ явленіяхъ и въ познаваніи ихъ, звенья цѣпи должны нанизываться одно къ другому... Лишь послѣднее—за рубежомъ.

И это ничего не мѣняетъ. Пока Розановъ будетъ уходить назадъ, въ землю, въ глубину ея черныхъ, темныхъ нѣдръ, —

волна человѣчества покатится впередъ. И люди будутъ загораться влюбленностью, порываться летѣть, падать временно отъ усталости на землю, подниматься выше — снова, можетъ быть, падать въ одно изъ готовыхъ, временно и мало утоляющихъ рѣшеній, въ бракъ,—и будутъ передавать дѣтямъ и внукамъ, новымъ людямъ, еще болѣе обостренное желаніе крыльевъ, вмѣстѣ со всѣмъ, что они познали на пути до своего послѣдняго срыва. И дѣти будутъ продолжать путь. Чего не успѣемъ увидѣть мы—увидятъ тѣ, послѣдніе, которымъ дано будетъ видѣть Конецъ. „И они не умрутъ, но всѣ измѣнятся въ одно мгновенье ока".

Пойдемъ же, если не для себя — то для будущихъ людей, и въ этой части нашей человѣческой природы однимъ, вѣрнымъ, путемъ. „Куда Я иду—вы знаете, и путь знаете"... Черезъ Него, черезъ Его вѣчное познаваніе и вѣчное къ Нему приближеніе, жизненное, молитвенное, любовное, дѣйственное,—и всегда и непремѣнно *совмѣстное*, — намъ будетъ вѣчно открываться, все яснѣе и озареннѣе, тайна о мірѣ, тайна о Любви и Правдѣ, — и тайна о Влюбленности.

О пошлости

Часто путая понятія, представленія, слова,—сближаютъ несблизимыхъ: Достоевскаго и Чехова. Думаютъ, что они любятъ одно,—и болѣе или менѣе одинаковой любовью,—жизнь въ ея мелочахъ, *все* въ жизни, какъ оно есть; — да еще притомъ подобные критики называютъ эти великія мелочи (ну, конечно, великія!)—„пошлостью“. Право, можно подорвать нашу вѣру въ то, что ихъ нужно любить. Вѣдь „пошлость“— не проявленіе жизни, а проявленіе не жизни. Пошлость (установимъ понятіе этого слова, не отнимая у него его коренного отрицательнаго значенія, отталкивающаго живыхъ) пошлость — это неподвижность, косность, мертвая точка, анти-бытіе въ самомъ сердцѣ бытія, остановка полета міра, сущность котораго и есть полетъ. Пошлость есть нару-

шеніе перваго условія бытія,—движенія. И мы не только не можемъ и не должны любить ее, но самое приближеніе къ ней насъ страшитъ; „оттуда“ вѣетъ тяжелымъ холодомъ, какъ изъ погреба.

Достоевскій зналъ это; любя „жизнь“ во всѣхъ ея движущихся, преображаемыхъ проявленіяхъ, мелкихъ и крупныхъ, любовью безмѣрной,—онъ „пошлость“, косность, небытіе, показывалъ намъ со страхомъ, и не скрывалъ этого страха. Правда, мы всѣ несчастны, слѣпы и безпомощны; гдѣ вихрь переходитъ въ мертвую точку? Что мы знаемъ? если любить міръ, то почему не *все*, что въ мірѣ?

Конечно, *все*, что въ мірѣ; дѣло въ томъ, что „пошлость“—внѣмірна, это какъ бы черныя дыры, провалы; попадешь—смертью умрешь. Попасть, провалиться,—легко, все потому, что провалы эти тутъ же, рядомъ съ твердой почвой бытія, а мы слѣпы, и наивны, и ничего не знаемъ. Насъ предупреждаетъ холодное дыханье „оттуда“, но не всѣ мы чутки. Достоевскій чуялъ холодъ проваловъ міра, какъ никто. Онъ такъ и называлъ пошлость—чортомъ, т. е. противомірнымъ началомъ въ мірѣ же, вѣчно

стремящимся въ міръ, чтобы въ самомъ сердцѣ его бороться съ нимъ, съ его движеніемъ впередъ, съ его жизнью. Карамазовскій чортъ очень хочетъ войти въ міръ, „*воплотиться* въ семипудовую купчиху“, и такъ, чтобы ужъ „навсегда“. Хочетъ прочности, неподвижности. Ему неуютно въ пространствѣ, да и нелѣпымъ кажется болтаться тамъ безцѣльно, когда можно устроить посреди самаго міра еще одинъ провальчикъ, посреди жизни утвердить еще немного смерти. Неужели Достоевскій съ однимъ и тѣмъ же ощущеніемъ, говоритъ о чортѣ и его воплощеніи въ „семипудовую“,—и слова о братѣ о. Зосимы: „жизнь—это рай, только надо, чтобы люди узнали, *поняли*, что они въ раю“? Братъ о. Зосимы *любитъ*; люди, чтобы *любить*, должны узнать, *понять*, что они въ раю; Достоевскій подходитъ близко-близко и къ понятію и къ любви; такъ близко къ любви, что кажется, вотъ сейчасъ и Она, сейчасъ полетитъ; а чортъ—антилюбовь и антижизнь.

Можетъ быть, надо заглянуть въ провалъ, чтобы *понять* и *полюбить*. И Достоевскій ближе другихъ подходилъ къ про-

валу. Но онъ, повторяю, не таилъ своего ужаса, онъ кричалъ о немъ. Можно ли говорить о его *любви* къ тому, что есть—само отрицаніе любви?

Не любить и малое и большое въ жизни, и мелкое и крупное, и грязное и чистое—просто нельзя, потому что каждый изъ насъ—тоже одно изъ проявленій жизни, мелкое или крупное, грязное или чистое. „Любить“ можетъ быть, слишкомъ глубокое слово для нашего теперешняго сознанія: вѣдь, чтобы „полюбить“—надо раньше „понять“, и еще раньше „захотѣть понять“. Пока не скажемъ „любить“,—но „ощущать своимъ“, необходимымъ для жизни, то-есть для движенія къ любви, къ „раю“. Оно все, весь міръ,—нашъ, свой, нужный, дорогой; это ощущеніе есть, это нечего проповѣдывать, странно говорить объ этомъ. Нельзя и тяготѣть ко всей картинѣ міра, отрицая его мелочи; картина эта—мозаика, она составлена изъ отдѣльныхъ разноцвѣтныхъ камешковъ, необходимыхъ для ея цѣлаго. Но, стремясь къ любви, все больше и больше *понимая*, живя,—и потому утверждая движеніе,—мы требуемъ все большаго и большаго совершенства узора, перемѣщеній мел-

кихъ частицъ; мы измѣняемъ,—должны измѣнять,-—ихъ расположеніе, ища и надѣясь. Косность, пошлость сковала подвижные, мелкіе камешки въ одномъ давнишнемъ узорѣ, и онъ ненавистенъ человѣку, понявшему, что узоръ этотъ—прошлое, тому кто подвинулся дальше въ *пониманіи*, ведущемъ къ послѣдней *любви*, къ „раю“. И узоръ жизни противенъ ему, и мелочи жизни, ея условія, отравлены для него. Онъ ненавидитъ ихъ, какъ ее всю, ненавидитъ себя же, ибо онъ въ ней, а она въ немъ, и... можетъ быть, это святая ненависть: моментъ этой ненависти нуженъ, и отъ силы ея зависитъ все дальнѣйшее. Вѣдь человѣкъ, проклинающій жизнь *теперь*,—не жизнь проклинаетъ, а лишь ея неестественную неподвижность, косность, чорта-пошлость; борется не съ жизнью, а съ ея врагомъ во имя нея же. И сила ненависти должна оторвать вросшіе цвѣтные камешки, все тѣ же, милые, наши; свободные,—они, волей нашего новаго пониманія, должны располагаться новыми, для насъ желанными, узорами.

Чортъ говоритъ: „должно *быть*, какъ *есть*“. Мы говоримъ: „должно *быть*, какъ

должно *быть*". И только если мы такъ говоримъ—и можетъ что-нибудь дѣйствительно *быть*. Потому что чортъ и тутъ обманываетъ насъ, лживо воплощая въ слова свои мысли; истинное же значеніе словъ: „все должно быть, какъ есть":—„все должно *не* быть, потому что ничего *нѣтъ*". Тотъ, кто достигъ нѣкотораго пониманія и уже смотритъ на жизнь не дѣтски простыми глазами, уже внутренно ненавидитъ неподвижность ея узора,—напрасно будетъ пугаться этой своей ненависти и усиливаться вернуть первобытную ясную нѣжность къ жизни; забыть разъ понятое—нельзя; можно только, пятясь назадъ, попасть въ черный чортовскій провалъ; но, проваливаясь—будешь ощущать, что проваливаешься, и желанный „рай" будетъ самымъ опредѣленнымъ и реальнымъ адомъ. Чего реальнѣе,—съ настоящими чертями, „духами небытія", скучными и вѣчно скучающими, скулящими отъ скуки, какъ непріятные щенята.

Можно, смѣшавъ жизнь и смерть міра въ единое и назвавъ это единое „пошлостью" — насильственно сблизить двухъ писателей, Достоевскаго и Чехова, которые не имѣютъ между собой ни одной общей

черты, ни какъ люди, ни какъ художники, ни какъ „пророки“. Даже странно видѣть эти два имени рядомъ (не говоря уже о несоизмѣримости ихъ роста). Достоевскій зналъ чорта; зналъ, что чортъ—чортъ, холодѣлъ отъ ужаса передъ нимъ; любилъ жизнь и ея мелочи той ненавистнической любовью, которая, какъ горячій мечъ, прорѣзаетъ ихъ насквозь, отрываетъ, освобождаетъ, преображаетъ,—побѣждаетъ смерть. Чеховъ—не знаетъ ничего; въ его душѣ чортъ поселился прочно, сплетясь съ живыми отраженьями міра; а Чеховъ даже не подозрѣваетъ, что чортъ существуетъ, и конечно, не ему отдѣлить въ сознаніи живое отъ мертваго. Но онъ тяжело, смутно и устало скучаетъ. Мило, все мило, и небо, и вода, и Мисюсь,—но и тошно какъ-то, и тоскливо: „Мисюсь, гдѣ ты?“ Хорошо все, прекрасно,—однако: „въ Москву! въ Москву!“, хотя и въ Москвѣ, явно, не будетъ никакого „рая“. Цвѣты прекрасные, живые, яркіе—и отравленные; отъ ихъ запаха въ душѣ поднимается предсмертная тошнота, темная тоска. Холодомъ вѣетъ изъ провала, а самъ Чеховъ ничего не знаетъ, только груститъ и скучаетъ. Его сила, его любовь,

подлинная, къ жизни—костенѣютъ въ лапахъ чорта, который очень радъ отвоевать такой славный кусокъ для своей возлюбленной,—для Смерти. Чеховъ не ребенокъ, ясный и простой; онъ слѣпецъ, знающій теплоту солнца, но не знающій солнца, потому что не видитъ, не *понимаетъ* ничего. Что же онъ можетъ *любить*, отравленный чортовской тошнотой?—и возможенъ ли для него „рай“, или хоть желаніе, стремленье къ „раю“?

Достоевскій больно и мучительно продергиваетъ насъ сквозь всю землю до самаго нижняго, второго, неба; Чеховъ тянетъ насъ по скользкому, пріятно-пологому скату въ неглубокую, мягкую дыру, гдѣ нѣтъ никакого, даже перваго, неба, а только черно, тихо и, пожалуй, спокойно. Покой, неподвижность—отнюдь не лишены для насъ соблазна. Правда, тамъ, на днѣ, упраздняется всякая любовь,—но, въ сущности, зачѣмъ намъ любовь? Зачѣмъ намъ страхъ? Зачѣмъ намъ жизнь? Есть точка зрѣнія, съ которой глядя, мы можемъ убѣдиться, что все это совершенно для насъ излишне. Иди, чортъ, воплощайся, внѣдряйся крѣпче, плоди семипудовыхъ, десятипудовыхъ куп-

чихъ, такъ, чтобы онѣ, какъ желѣзныя, совсѣмъ сдвинуться съ мѣста не могли,—пусть расползается гангрена!

Мы еще грустимъ, мы еще скучаемъ, еще *какъ будто* хотимъ „въ Москву! въ Москву!“—но все смутнѣе и слабѣе; вѣдь знаемъ, что и Москва—не рай; скоро значитъ и вовсе замолчимъ, сладко уснемъ, какъ замерзающіе. Пока—скучно (пока еще жива кое-какая любовь), а потомъ будетъ сладко. Изъ чеховской нѣжной, тонкой, слѣпой скуки нѣтъ другого пути, какъ въ послѣднюю сладость послѣдняго замерзанія.

Говорятъ, что Достоевскій удивительно и страшно читалъ „Пророка“ Пушкина. Можетъ быть, онъ самъ слышалъ когда-нибудь таинственное повелѣніе:

...Иди, и виждь, и внемли
И обходя моря и земли
Глаголомъ *жги* сердца людей!

Что слышалъ, то и исполнилъ. Онъ видѣлъ, внималъ, любилъ, и „пламенные глаголы“ любви и ненависти жгли землю, міръ и сердце, ускоряли полетъ жизни,—утверждали жизнь. Если бы Чехова мы, для ма-

ленькихъ полумертвыхъ людей, и рѣшились назвать „пророкомъ“, то, во всякомъ случаѣ, пророкомъ отрицанія жизни, пророкомъ небытія, и даже не полнаго небытія—а уклона къ небытію, медленнаго, вѣрнаго охлажденія сердца ко всему живому. Но Чеховъ, слава Богу, не „пророкъ“. Онъ только рабъ, получившій десять талантовъ, высокое довѣріе—и не оправдавшій этого довѣрія,—можетъ быть безсознательно потому и страдающій, и смутно скучающій. Мы любимъ божественную силу, заключенную въ немъ, и, глядя на него, соблазненнаго,—страдаемъ за него...

Что и какъ

I

Вишневые сады

О послѣдней пьесѣ Чехова „Вишневый садъ“, о ея исполненіи въ художественномъ театрѣ писали такъ много и даже кое-гдѣ такъ вѣрно, что мнѣ будетъ трудно не повторяться. Впрочемъ, моя тема шире Вишневаго сада: я хотѣлъ поговорить и о Чеховѣ вообще, и о театрѣ тоже вообще.

Мнѣ трудно было бы, возвратившись изъ театра послѣ „Вишневаго сада“, сказать, какое я вынесъ „впечатлѣніе“ отъ пьесы и отъ „художественныхъ“ ея исполнителей. Это было—*никакое* впечатлѣніе. Просто—большое Ничего. Великолѣпно, ибо все на своихъ мѣстахъ. До такой степени на своихъ мѣстахъ, что ничего не замѣчаешь. Игры я, во всякомъ случаѣ, не замѣ-

тилъ. Были дамы, шуты-конторщики, какія-то фокусницы, почтовые чиновники, и что имъ полагается—говорили, дѣлали. Не общеинтересное, а имъ интересное. Иногда, впрочемъ, прорывались „нарочные“ взвизги, смѣхъ „сценичный“, да бѣгали барышни неестественно, да кукушка за окномъ дѣланно куковала—тогда вспоминалось, что мы сидимъ въ театрѣ, заплатили деньги, и все это намъ „представляютъ“. Я думаю, то же самое видѣлъ много разъ всякій изъ зрителей,—вѣдь всякій живетъ въ своей семьѣ, бываетъ на журфиксахъ у знакомыхъ, иной, можетъ быть, ѣздилъ и къ неинтереснымъ деревенскимъ сосѣдямъ. Только тамъ было все еще естественнѣе, и кукушка куковала увлекательнѣе, потому что была настоящая. Можно, впрочемъ, надѣяться, что кукованье у Станиславскаго будетъ уловлено въ грамофонъ, тогда и оно не нарушитъ иллюзіи. Вообще всѣ жизненные звуки, птичій гамъ, скрипъ колесъ, пѣніе сверчка—слѣдуетъ воспроизводить посредствомъ грамофона. Съ усовершенствованіемъ движущейся фотографіи (теперь она еще бѣлая и слишкомъ дрожащая)—артисты могутъ отдыхать послѣ перваго представленія, хотя

бы представленій была тысяча. Наконецъ, фотографическіе моментальные снимки съ реальныхъ жизненныхъ сценъ и положеній могутъ помогать впослѣдствіи не только режиссеру, но и автору,—при созданіи пьесы. Его дѣло подобрать „бытъ“ и связать искусно отдѣльныя живыя картинки. Кинематографію будетъ сопровождать (тоже усовершенствованный, безъ шипа) грамофонъ—вотъ идеальный театръ грядущаго; теперешній Художественный—только начало, только первый шагъ по этому пути. Вѣдь живая актриса все-таки можетъ быть не въ ударѣ, какъ бы она ни была вышколена; а ужъ грамофонъ не выдастъ, онъ всегда равенъ себѣ.

Сохранитъ ли этотъ совершенный театръ названіе „художественнаго“—я не знаю; вѣдь и фотографію называютъ „художественной“. Можетъ быть и сохранитъ. Боюсь, однако, что найдутся протестанты, которые потребуютъ, чтобы искусство было творческимъ, и не признаютъ таланта въ будущемъ драматургѣ, какъ бы ни связывалъ онъ рядъ своихъ однобытныхъ фотографическихъ снимковъ, какъ бы идеально-точно не воспроизводили эти связанные

снимки дѣйствительную жизнь на „сценѣ“. Боюсь, что теперешній художественный театръ, если и вмѣщаетъ въ себѣ талантъ Чехова, воплощаетъ его, если они еще совпадаютъ, соприкасаются,—то потому лишь, что театръ этотъ—*первый* шагъ по славному пути идеала, въ то время какъ Чеховъ—*послѣдній* талантъ того же устремленія. Конецъ одного и начало другого еще вмѣстѣ, въ одной точкѣ; но они соскользнутъ другъ съ друга при первомъ движеніи художественнаго театра впередъ, къ своему идеалу.

Театру предстоитъ еще много,—послѣдовательность его развитія мною намѣчена,—но таланту дальше итти некуда, просто нѣтъ почвы. Творчество, создательство, работа человѣческой души, даже всякая „литература“—тутъ кончаются. Природа, жизнь,—это вино; творчество—это пѣна на немъ, его игра, нѣчто сверхъ даннаго, совершенно измѣняющее, преображающее данное. Станиславскій стремится, чтобы вино было какъ вино, безъ пѣны, безъ игры; игры у него и нѣтъ—почти; но это „почти“—и соединяетъ его съ Чеховымъ, который, хотя тоже старается, чтобы пѣны не было, но не мо-

жетъ этого достигнуть: пѣна таланта переполняетъ его стаканъ. Не надо „игры“; не надо различія между жизнью и ея изображеніемъ; жизнь—какъ жизнь, вино—какъ вино...

„Но если игры не будетъ, что же тогда будетъ“? сказалъ огорченный Николинька Иртеньевъ въ толстовскомъ „Дѣтствѣ“.

Чеховъ—послѣдній талантъ,— не только для художественнаго театра, которому предстоитъ въ одиночествѣ итти къ идеалу,—но и для самого себя. У Чехова не можетъ быть ни учениковъ (подражателей я не считаю), ни преемниковъ. Онъ самъ—послѣдній ученикъ многихъ славныхъ учителей, послѣдній преемникъ старыхъ большихъ писателей. Недовершенное ими—онъ свелъ въ линію и довелъ ее до конца, до—точки. Точка всегда конецъ, потому что всегда равна себѣ, неподвижна. Тѣ милые, нѣжные, глубокіе куски жизни, которые давали намъ Гончаровъ, Тургеневъ и Толстой—уже слишкомъ крупны, грубы для Чехова; онъ открылъ микроскопъ, онъ нашелъ атомы и показываетъ намъ ихъ. Это не тонкость; Чеховъ не поэтъ тонкостей, но поэтъ мелочей. Онъ прикасается своимъ

талантомъ къ этимъ сѣрымъ песчинкамъ—и каждая превращается въ крошечный сіяющій алмазъ. Онъ пересыпаетъ ихъ сверканье и мы имъ плѣнены; но, пересыпая, Чеховъ и просыпаетъ ихъ на землю, они теряются исчезаютъ въ пыли. Помочь нельзя: они всѣ отдѣльные, не связанные, не снизанные, въ въ одно ожерелье,—они слишкомъ мелки для этого, нѣтъ нитки, которая могла бы пройти насквозь. И каждая сверкающая точка, неподвижная сама въ себѣ, даетъ намъ мгновенное, чисто-эстетическое (т. е. равное себѣ) неподвижное наслажденіе. Какое оно забвенное! Единый мигъ мы еще можемъ быть неподвижны. Но мгновенья снизаны въ одно ожерелье, мы переходимъ къ слѣдующему зерну, по той же нити, а сверкающія алмазныя точки Чехова, отдѣльныя,—попадаютъ въ пыль.

Мнѣ скажутъ (и уже говорили нѣсколько разъ): „какъ можно судить „талантъ“? Талантъ есть талантъ; какой бы онъ ни былъ—онъ равенъ только себѣ, талантъ всегда положительное, никогда отрицательное. Талантъ есть право, а не обязанность“.

Не только не хочу я унизить талантъ и лишить его какихъ-нибудь правъ,—но, ду-

маю, возвышаю его, утверждаю его въ высшей степени, ибо хочу сказать, что талантъ, кромѣ права,—*и* обязанность. Высшее право налагаетъ и высшія обязанности. Пускай эстеты чистой воды отрицаютъ этотъ всеобщій законъ жизни, законъ міра. Они разрываютъ свои мгновенья, дѣлаютъ ихъ отдѣльными точками, каждую равной себѣ,—и наказаны тѣмъ, что они неподвижны, не живутъ и сами не творятъ жизни. Вѣдь *чисто* эстетическаго дѣйствія нѣтъ, ибо чистая эстетика—чистое созерцаніе, неподвижность вырваннаго изъ цѣпи жизни мгновенья. Эстетика жива и дѣйственна лишь тогда, когда она входитъ въ жизнь какъ часть ея; безъ нея и жизнь—не цѣлое, правда, но вѣчно забываютъ, что и сама она, оторванная, тоже *не цѣлос*. Эстеты жизни, дѣлая часть цѣлымъ, наказаны жизнью; Чеховъ, какъ талантъ, наказанъ еще болѣе глубоко и сильно—въ самомъ себѣ. Развѣ есть въ немъ ясность, свѣтъ, радость, утвержденіе? Онъ тупо томится и стонетъ, иногда сантиментально, иногда жестко, всегда съ безнадежностью. А эта сѣрая пыль пошлости, непретворенной, между отдѣльными сіяющими брызгами? Пусть остается за нимъ

право таланта дѣлать, что онъ хочетъ,—но не обратится ли это право противъ него же, если онъ не принимаетъ налагаемыхъ правомъ обязанностей? Не обращается ли? Не обратилось ли уже?

Публика наслаждается Чеховымъ, довольна; но кто „публика“, и въ чемъ ея наслажденія? Большинство радуется словечкамъ конторщика и гувернантки, стучащей въ чемоданъ: „госпо-динъ женихъ“, ея фокусамъ съ пледами (въ циркѣ еще забавнѣе), безхитростно радуется и знакомому: „а, это совсѣмъ какъ у насъ съ Маничкой вышло!“ другая часть подавлена: „Да, въ самомъ дѣлѣ, какая безнадежность! Да, наша жизнь, наши соціальныя условія... И все равно, видно ужъ ничего не передѣлаешь!“ Болѣе чуткіе любуются зрѣлищемъ, сверканьемъ мельчайшихъ алмазовъ и стараются закрывать глаза на пыль пошлости, которой они пересыпаны. Любуются и кромѣ искусства—еще искусностью, съ которой Чеховъ сталъ „дѣлать“ свои пьесы. Я не думаю, чтобы кто-нибудь искренно былъ увлеченъ тѣмъ перепрѣлымъ элементомъ „идеи“, который даетъ намъ Чеховъ въ лицѣ „вѣчнаго студента“ Пети въ „Вишне-

вомъ саду“. Высокія слова прошлаго столѣтія, конечно, могутъ еще дѣйствовать въ нашей доброй старой матушкѣ-Россіи; не мало юныхъ сердецъ бьется совершенно также, какъ сердца дѣдовъ. Но... „талантъ“ Чехова не позволилъ ему сдѣлать непозволительное, студентъ Петя у него—комическое лицо: недаромъ онъ въ послѣднемъ дѣйствіи такъ занятъ своими старыми калошами, о нихъ только и заботится; и недаромъ онѣ у него дѣйствительно такія старыя, рваныя. Знаетъ ли Чеховъ, что и всѣ слова студента Пети,—этого „облѣзлаго барина“,—не высокія слова, а только старыя калоши? Я думаю, полу-знаетъ. Если бъ не зналъ вовсе, талантомъ не зналъ,—то и сатиры тутъ не было бы никакой; а если бы вполнѣ зналъ—то не допустилъ бы Аню преподносить матери эти калоши въ серьезную, трогательную минуту, какъ послѣднее утѣшеніе. Вѣдь тутъ уже нѣтъ сатиры, и Аня отнюдь не смѣшна; и какой тупикъ, какая безнадежность, какое удушье! „Мажорный аккордъ“ Чехова (такъ говорили нѣкоторые рецензенты)—оказывается весьма печальнымъ, ибо утверждаются изношенныя калоши! И если „полу-знаетъ“ это Чеховъ—

то вѣдь тутъ такое страданіе, что почти жить дальше нельзя! Благо публикѣ, которая совсѣмъ ничего не знаетъ, не видитъ, и хохочетъ надъ пыльными остротами и надъ лакеемъ, „вылакивающимъ“ шампанское.

Публика до Чехова не доросла, и если пьесы его имѣютъ все-таки больше успѣха, чѣмъ „Пляски жизни“, то вовсе не благодаря искусству Чехова, а его искусности. Дай Богъ, чтобы она до него и никогда не доросла, прошла мимо, прямо въ театръ „Грамофонъ“, гдѣ будетъ такъ же дѣтски радоваться еще большей искусности и еще болѣе жизненнымъ „остротамъ“. Потому что тѣ „званые“, которые доростутъ и увидятъ ясно, что единственная звѣзда на низкомъ небѣ жизни—грязныя калоши облѣзлаго студента,—не захотятъ, все равно, этой звѣзды и пойдутъ дазиться, стрѣляться и топиться. Вѣдь не всякому подъ силу жить и стонать, жить и тосковать, жить—и чтобы тебя вѣчно тошнило. Не всякій можетъ также жить—и не жить, разрывать мгновенья, существовать „пунктирно“, какъ эстеты.

Но до такого положенія дѣлъ еще далеко. Мелочи и атомы прошлой жизни изу-

чены и даны намъ ея послѣднимъ поэтомъ. Благодаря ему — мы яснѣе видимъ, что она—прошлое, что намъ въ ней тѣсно, какъ выросшему ребенку въ старомъ платьицѣ. Поэтъ говоритъ: „да, тѣсно почему-то, больно, но другого нѣтъ, страдайте, стоните. Мнѣ самому скверно". „Лучше мы его вовсе сбросимъ". „Ну, это ужъ не мое дѣло". Но если не Чеховъ, этотъ пассивный эстетическій страдалецъ, послѣдній пѣвецъ разлагающихся мелочей, —то неужели никто и никогда не укажетъ намъ иного выхода, кромѣ Москвы и старыхъ калошъ? Неужели выхода нѣтъ, другой жизни нѣтъ и не можетъ быть, неужели Чеховъ—послѣдняя точка *всего* искусства? А за нимъ—пустота, искусность, театръ-Грамофонъ или петля?

Если бъ это было такъ—Чеховъ былъ бы страшенъ. Страшенъ и великъ. Міръ приблизился бы тогда не къ концу своему, а концу безъ конца, къ оцѣпенѣнію, къ моменту, внезапно перешедшему въ вѣчность, Это была бы полная побѣда чорта-косности надъ міромъ—и надъ Богомъ. Но чортъ не столько силенъ, сколько хитеръ, выдумчивъ,—а потому и не такъ ужъ страшенъ. И оцѣпенить міръ ему никакъ не удается.

Ему даже не удается справиться окончательно съ самимъ Чеховымъ, хотя у него и нѣтъ самаго дѣйствительнаго противъ чорта оружія—Логоса. Но ужъ слишкомъ много дано Чехову отъ Бога, мѣрой не утрясенной, полной, отсыпано, и Чеховъ не можетъ заснуть безъ сновъ въ мягкой дьявольской постелькѣ, а мучится кошмарами и, нехотя, не зная, все-таки слагаетъ Божьи молитвы. И какъ намъ не любить его? Вѣдь намъ нужны молитвы. Но дайте намъ любить въ немъ вѣчное, Божье,—и кричать, бояться, ненавидѣть смерть въ ея безобразіи, когда она, безобразная, къ намъ и къ самому Чехову приближается. Ибо тамъ, гдѣ въ Чеховѣ смерть, косность и отчаяніе—тамъ нѣтъ и творчества, истиннаго. Несчастіе въ томъ, что сѣрое и бѣлое, мельчайшіе атомы пыли и алмазовъ, такъ въ немъ смѣшаны, жизнь и смерть такъ страшно, мелко и плотно сплетены. И все-таки нѣтъ силы вѣрить, что Чеховъ сказалъ свое послѣднее слово. Вѣра эта—безъ всякихъ основаній, вѣра просто отъ любви. Часто мы вѣримъ въ Бога отъ любви. Сначала любимъ Его, а потому—и уже потомъ—вѣримъ.

Любовь выше суда, выше разсудка—и она всегда права.

Пусть Художественный театръ, уйдя отъ Чехова, приближается къ своему идеалу, собираетъ фотографически послѣднія крохи отмирающихъ бытовыхъ мелочей. Я хочу поговорить теперь о томъ театрѣ, который могъ бы родиться, могъ бы и долженъ бы существовать, который внутренно нуженъ,—о театрѣ не одного прошлаго и настоящаго, но и грядущаго, о театрѣ предчувствій, а не однихъ воспоминаній.

Если только дѣйствительно такой театръ долженъ и можетъ существовать...

II

Триптихъ

Хочу признаться, что для меня, профана въ обособленномъ театральномъ „искусствѣ“, сбитаго съ толку современнымъ состояніемъ театра, всѣми этими „Плясками жизни“, Дюмами, Сарами Бернаръ и Станиславскими,—существовалъ одно время вопросъ: нуженъ ли вообще какой-нибудь театръ? Можетъ ли какой-нибудь дѣйствительно *быть*? Искусство ли это?

Я думаю, не одному мнѣ приходили въ голову такія мысли. Но на Александринской сценѣ были сдѣланы попытки воспроизвести греческую трагедію. И нѣкоторые моменты во время этихъ представленій убѣдили насъ, сомнѣвающихся, что въ идеѣ театра — есть вѣчное, что это—искусство, и, быть можетъ, одно изъ самыхъ высокихъ; а если теперь, въ данную минуту исторіи, оно какъ бы перестало существовать, кажется намъ ниже насъ,—то вѣдь и жизнь нашу мы переросли въ созерцаніи, и она кажется намъ ниже насъ, какой-то неудобной, неестественной, не настоящей. Наше созерцаніе, наши мысли—впереди нея и не воплощены. Между тѣмъ нельзя же сказать, что и жизнь не заключаетъ въ себѣ ничего вѣчнаго, вѣчно-прекраснаго,—вѣчно-измѣннаго подъ свѣтомъ растущаго сознанія.

Нашимъ мыслямъ объ искусствѣ, о театрѣ, равно какъ и нашимъ мыслямъ о жизни,—нужны соотвѣтственные реальные образы и воплощеніе ихъ. Я думаю, каждая мысль, если она вѣрна, можетъ перейти въ образъ или дѣйствіе; и непремѣнно перейдетъ, рано или поздно; должна перейти, какъ бы ни казалась она намъ въ данную ми-

нуту невоплотима. Мысль судитъ только сама себя. И по существу вѣрныхъ, но практически невоплотимыхъ мыслей—нѣтъ. Такія мысли не рождались, да и не могли бы никогда родиться.

Почти каждое поколѣніе считало свой моментъ роковымъ, какъ бы переломомъ; теперешнее—менѣе другихъ говоритъ объ этомъ, но никогда, кажется, удушье прожитого такъ не чувствовалось и въ искусствѣ, и во всемъ общественномъ и частномъ строѣ жизни. Мы только что съѣли вкусный обѣдъ, мы сыты,—но не знаемъ, что дѣлать дальше и, точно приклеенные къ стульямъ, сидимъ и давимся собственными объѣдками. Живемъ совершенно тѣмъ же и совершенно такъ же, чѣмъ и какъ жили папаши и дѣдушки, которые только на моторахъ не катались и не болѣли инфлуэнціей. Но за то они жили какъ-то аппетитнѣе. Не спрашивали себя съ нудной тоской уже въ двадцать лѣтъ: „А потомъ что? Кончу университетъ, а потомъ? Ну поступлю на службу, ну буду директоромъ департамента, или, пусть, земскимъ дѣятелемъ, или благороднымъ докторомъ и счастливымъ семьяниномъ, а потомъ, потомъ? И для

чего докторомъ или директоромъ? Въ карты буду играть, растолстѣю или похудѣю, и умру. Ничего этого мнѣ не нужно, и при одной мысли объ этомъ меня теперь уже тошнитъ". Дѣдушекъ и папашъ не тошнило, они радовались, одни—департаменту, другіе—„полезной" дѣятельности, третьи—высокимъ идеямъ. Радовались и дѣйствительно жили всѣмъ этимъ, и это было нормально, потому что все было подъ ростъ ихъ сознанію, было современнымъ. Но когда внукамъ предлагаютъ совершенно тотъ же, такой же, департаментъ, опять ту же самую „пользу" и точь въ точь тѣ же, безъ капли измѣненія, „высокія идеи и цѣли"—очевидно, они будутъ стонать, стрѣляться или задремлютъ отъ тупой тоски. Самое неестественное, невозможное — жить *недавнимъ* прошлымъ, не вѣчнымъ, а тлѣннымъ, существующимъ только потому, что оно еще не имѣло времени истлѣть окончательно. Десятивѣковой мраморъ можетъ быть прекрасенъ, нуженъ; но четырехдневный кусокъ говядины—не питаетъ, а убиваетъ, или, въ худшемъ случаѣ, претитъ и вредитъ.

Такъ вредитъ живымъ, молодымъ, современнымъ душамъ, наша перетлѣвающая

жизнь, вездѣ одинаковая: въ семьѣ, на улицѣ, въ „храмахъ науки“ и въ „храмахъ искусства“. Какъ будто существуетъ, и ею питаются (вѣдь надо же ѣсть!), а она только вредна и противна. „Настоящаго момента“ нѣтъ; нѣтъ „сегодня“—и мы живемъ „вчера“.

Нѣтъ настоящаго момента... но вѣдь, въ сущности, „настоящаго момента“ никогда нѣтъ, въ природѣ нѣтъ. *Настоящее*—точка, гдѣ соприкасаются и мгновеннымъ узломъ сплетаются *прошлое* и *будущее*. У насъ именно этого узла нѣтъ, прошлому не съ чѣмъ сплестись, оно—одно; у насъ нѣтъ настоящаго потому, что нѣтъ,—не видно намъ,—будущаго. Когда увидимъ его, поймаемъ предчувствіемъ, прозрѣніемъ или желаніемъ,—тогда и пойдутъ связываться узлы, и родится у насъ ощущеніе *нашего* настоящаго. А будетъ узелъ настоящаго—будетъ, вмѣстѣ съ нимъ, и прошлое, и грядущее. Вѣдь изъ нихъ сплетается узелъ. Имѣя настоящее,—мы имѣемъ все, весь нашъ путь; умѣемъ не забывать незабвенное и можемъ надѣяться на несказанное. И позади, и рядомъ, и впереди—Вѣчное, одно, все то же вѣчно, и оно всегда цѣло въ созерцаніи.

Искусство вряд'ъ ли можно назвать „дѣйствіемъ“, оно ближе къ созерцанію. Оно—пѣнка жизни, и разливается по всей жизни, прошлой, настоящей и будущей. Въ искусствѣ мы не только связываемъ *концы* нитей, едва минувшее съ едва наступающимъ,—но мы какъ бы сразу смотримъ на весь путь, хотимъ имѣть его весь, въ неразрывности. Искусство должно давать намъ вѣчное на всемъ протяженіи нити, вѣчное въ прошломъ—для познанія его въ будущемъ, вѣчное въ будущемъ для утвержденія его въ прошломъ, и, наконецъ, вѣчный, вѣрный узелъ настоящаго. Я не о „тенденціи“ говорю (странно даже упоминать объ этомъ), истинное искусство никогда не бываетъ „тенденціозно“ — я говорю о самой сущности искусства. Стремленіе его (никогда вполнѣ, но всегда болѣе или менѣе достигаемое) — слить *творящаго* и *воспринимающаго* въ единомъ созерцаніи. ощущеніи, можетъ быть — въ единой любви. Поэтому настоящее искусство непремѣнно, неизбѣжно будетъ правдой, т. е. добромъ; это, вѣдь, синонимы; пусть дѣтскій еще умъ человѣка старается разорвать на три части

правду-добро-красоту---единое все-таки остается единымъ.

Къ какому бы роду искусства мы ни обратились,—мы равно требуемъ, чтобы оно было именно искусствомъ, чтобы въ немъ наиболѣе ярко проявилась сущность искусства; стремленіе соединить многихъ въ одномъ созерцаніи вѣчнаго. Театральное искусство ставитъ между творящимъ и воспринимающимъ—еще тѣхъ, кто воплощаютъ слова въ образы; тѣмъ лучше; тѣмъ выше и ярче можетъ быть радуга; тѣмъ больше причастниковъ къ единому праздничеству. Только бы всѣ они дѣйствительно соединились, только бы искусство было дѣйствительно искусствомъ, то-есть говорило бы о вѣчномъ вездѣ,—въ прошломъ и будущемъ, и говорило бы съ сознаніемъ настоящаго. Театръ теперь—потому и не искусство, что современные „творцы“ умѣютъ лишь говорить намъ что-то о вчерашнемъ днѣ, не отдѣляя забвенное отъ нетлѣннаго, а воплощающіе эти образы—въ лучшемъ случаѣ покоряются автору; въ худшемъ же, и болѣе частомъ, не обращаютъ на автора никакого вниманія. Зрители смотрятъ, и что получается отъ этого „искусства“ въ ихъ

душахъ—трудно вообразить. Вѣроятно, до души оно и вовсе не доходитъ. Имъ иногда „нравится“, иногда „не нравится“. Вотъ слово, опредѣленіе, которому нѣтъ мѣста тамъ, гдѣ начинается искусство. Искусство или *есть* или *нѣтъ*; или что-то,—или ужъ совсѣмъ ничего. А мы даже привыкли прибавлять, когда намъ „нравится“,—именно это печальное слово „*ничего*“. „Право, ничего! Совсѣмъ ничего!“ Т. е. „очень нравится!“ Ну, значитъ ничего и нѣтъ.

Возможный театръ, дѣйствительно нужный, дѣйствительно „храмъ искусства“, представляется мнѣ такимъ отличнымъ отъ всѣхъ нынѣ существующихъ, что людямъ равнодушнымъ, консервативнымъ, лѣнивымъ и не желающимъ ни о чемъ думать,—онъ можетъ показаться утопіей. То же, я полагаю, скажутъ и многіе „воплотители“ нашихъ современныхъ авторовъ, наши „артисты“, вросшіе въ свои незамысловатыя традиціи и довольствующіеся остатками давно съѣденнаго обѣда. Каждый изъ нихъ настолько мало думаетъ о соединеніи трехъ участвующихъ элементовъ во-едино (созиданія, воплощенія и воспріятія), настолько забылъ объ искусствѣ,—что раздѣленъ даже съ

тѣми, кто стоятъ рядомъ, занятъ не пьесой, а *своей ролью*. Объ актерѣ, думающемъ только о своей роли и ея исполненіи, говорилось достаточно. Для многихъ уже явны печальные результаты этого. Театръ Станиславскаго тутъ сталъ впереди другихъ, его артисты поняли весь ужасъ паденія искусства до „роли“ и побѣдили „роль“. У нихъ есть стремленіе къ единству, вниманіе къ пьесѣ, какъ къ цѣлому; у нихъ есть и желаніе единства съ авторомъ; они, можетъ быть, слишкомъ покоряются ему, обезличиваются; истинное соединеніе, единеніе—не обезличиваетъ никого; но это уже не ихъ только вина. Во всякомъ случаѣ, заслугу художественнаго театра въ указанномъ отношеніи мы признаемъ. Она имѣетъ свою цѣну, но, конечно, и такимъ артистамъ мысль о „единственно-возможномъ“ театрѣ одинаково покажется утопической.

Благодаря ненормальности нашей жизни, намъ самое естественное кажется неестественнымъ, необходимое — невозможнымъ, простое — неисполнимымъ. Невозможно, неисполнимо, чтобы зрители, актеры и авторъ были слиты во-едино: но,—почему же, однако, этого не можетъ *быть*, разъ

оно уже *было*? Мы знаемъ, что греческія трагедіи не „нравились“ зрителямъ: зрители *участвовали* въ нихъ; хоръ былъ—они, они — хоръ. Авторъ — былъ исполнителемъ. Всѣ грани стирались. Всѣ чувствовали себя въ одномъ храмѣ, лицомъ къ лицу съ вѣчностью. Правда, эти моменты единства были подготовлены нѣкоторымъ единствомъ жизни, единствомъ устремленій, единствомъ въ ощущеніи „святого“. У насъ теперь ничего этого нѣтъ, главное—нѣтъ ничего, ни единаго ни разнаго, — святого. Но все равно, абсолютно это возможно, а если мы поймемъ, что это необходимо,—то оно станетъ и близко возможнымъ. Естественно ли, въ самомъ дѣлѣ что одни зрители—люди, а актеры—актеры, писатели—писатели? Авторы пишутъ, актеры играютъ, зрители смотрятъ? Каждый актеръ, можетъ быть, имѣетъ свою *личную* жизнь, независимо отъ своего занятія; но для искусства, какъ для дѣла общественнаго, необходима общественная жизнь. Актеръ не можетъ быть настоящимъ актеромъ, если онъ внѣ сцены хотя отчасти не мыслитель, не творецъ, и не человѣкъ. Уровень сознанія у всѣхъ, принимающихъ участіе въ одномъ

и томъ же праздникѣ или „служеніи“—долженъ быть приблизительно одинъ,—это первое условіе объединенія въ моментѣ созерцанія. Я говорю „приблизительно“—потому что все-таки искусство не чистое созерцаніе, въ немъ есть двигательный элементъ, оно вскрываетъ будущее, выявляетъ готовое, но еще не ясное, сознаніе, поднимаетъ на слѣдующую ступень. Въ этомъ смыслѣ искусство, пожалуй, и „ведетъ толпу“. Но именно ведетъ, помогаетъ, поддерживаетъ, идетъ рядомъ, рука объ руку. Моменты сліянія со-празднованія этимъ не исключаются.

Если бы мы, однако, взяли за образецъ древне-греческій театръ, стали рабски подражать ему, остановились бы на трагедіи и воспроизводили бы ее исторически вѣрно—такая попытка оказалась бы жалкой и смѣшной. Мы отреклись бы не только отъ настоящаго и будущаго, но и отъ самихъ себя въ этой области искусства. Отреклись бы отъ всего долгаго пути, который прошли (онъ для грековъ былъ грядущимъ), отъ всякаго чувства со знаніемъ, пріобрѣтеннаго на этомъ пути. И все-таки ничего бы не вышло, потому что отречься отъ сознанія, забыть понятое — нельзя. Надо, чтобы

прошлое для насъ было прошлымъ, будущее—будущимъ, узелъ настоящаго—настоящимъ, и всѣ они были живыми, нужными въ своихъ вѣчныхъ проявленіяхъ.

Театральное искусство, какъ и другія, трехстворчато; но въ театрѣ эта трехстворчатость можетъ быть особенно ярко подчеркнута, и особенно теперь, при данномъ уровнѣ нашего сознанія, при нашемъ утонченномъ пониманіи искусства.

Имѣютъ право бытія, воплощенія на сценѣ истиннаго театра, три слѣдующіе рода пьесъ:

Пьесы прошлаго,—но воспринимаемыя и воплощаемыя не съ рабскою покорностью исторіи, а съ той свободой, которую даетъ намъ современное пониманіе вѣчнаго въ нихъ, нетлѣннаго, то есть нужнаго и теперь, какъ всегда,—главнаго въ нихъ. Историзмъ остается въ нихъ, какъ реальная форма, намъ дорогая, и заставляющая не забывать, что это—проявленіе вѣчнаго *въ прошломъ*. Вѣдь даже „Ревизоръ“, „Горе отъ ума“—уже историческія, въ реальностяхъ, пьесы. И нетлѣнное въ нихъ выступаетъ для насъ яснѣе, нежели для современниковъ.

Пьесы прошлаго, воспроизводимыя хотя

бы и не узко-исторически, все-таки будутъ самыя реальныя: воспоминаніе всегда реальнѣе, нежели самая близкая мечта, представленіе о томъ, чего еще не было. Естественно не реальными окажутся пьесы второго рода, имѣющія право на сценическое воплощеніе,—пьесы будущаго. Они—какъ гаданія, какъ чаянія,—должны показывать намъ то, чего еще не было, но что должно быть; формы, въ которыя облечется вѣчное въ грядущемъ, жизнь, которою мы станемъ жить, если захотимъ и полюбимъ ее. Писатель будущаго, оставаясь художникомъ, уже не писатель только, но и пророкъ. Элементъ пророческій есть почти въ каждомъ писателѣ, у нѣкоторыхъ онъ преобладаетъ, выливается въ соотвѣтственную, реальную, въ узкомъ смыслѣ слова,—и плѣнительную форму. Но, можетъ быть, крупнаго и чистаго писателя-пророка, писателя драматическаго, у насъ еще не было. Нѣкоторыя вещи Метерлинка—намеки на эту воздушную форму. Но чувствуется, что онъ самъ не вѣритъ въ грядущую реальность своихъ образовъ, совсѣмъ не хочетъ ея, да и не думаетъ, вообще, о будущемъ. Это—

откровенныя, внѣвременныя, сказки о вѣчно вѣчномъ.

Третій родъ пьесъ—это пьесы настоящаго. Тѣ, гдѣ сплетено прошлое съ будущимъ, воспоминанія съ чаяніями. Самые концы сплетены: близкое прошлое, то, гдѣ для насъ еще не отдѣлено ясно тлѣнное отъ нетлѣннаго—съ ближайшимъ грядущимъ, быть можетъ, тоже не всегда и не полностью желаннымъ. Дѣло художника—пытаться показать намъ то, что онъ видѣлъ и провидитъ, что нужно отрицать и что утверждать. Но, такъ какъ надежды наши мы почти всегда любимъ, онѣ всегда прекрасны, и, благодаря закону устремленія впередъ, дороже намъ, нежели близкія воспоминанія,—я думаю, что въ „пьесахъ настоящаго“ изъ близкаго прошлаго будутъ взяты стороны отрицательныя, а элементъ „долженствующаго быть“ — окажется положительнымъ. Тутъ реальное, вчерашнее, обыденное—сплетется съ какъ бы нереальнымъ, то-есть еще не видѣннымъ. И это опять—задача искусства: дать людямъ блаженство вѣры въ невидѣнное, какъ бы въ видѣнное.

Многія пьесы Ибсена—воистину пьесы,

„настоящаго“. Не вплетаетъ ли онъ надежды въ воспоминанія и нереальное въ реальное?

Спускаясь на землю послѣ мечтаній о „долженствующемъ быть“,—и даже не на землю, а на сѣрую, булыжную петербургскую мостовую,—я впадаю въ нѣкоторое уныніе. Александринка, Станиславскій, Яворская думающая про себя „я—style moderne!“, всякіе переводные анекдоты, Савина, Варламовъ, сто представленій „Плясокъ жизни“ (или сколько?), Калигулы и Дюма, актрисы и актеры, занятые „ролями“ денно нощно, зѣвающіе зрители съ ихъ: „нравится! ничего!“, самъ Максимъ Горькій, какъ пророкъ мыслящаго человѣка въ опоркахъ (это, говоритъ онъ, „гордо“)—Боже мой! какая, въ самомъ дѣлѣ, безпросвѣтность! Пожалуй, можно перестать понимать понятое, потерять сознаніе и стыдъ, умолкнуть, утихнуть, начать полуидіотически утѣшаться грязными цвѣтными тряпками, которыя намъ преподносятся въ „храмахъ искусства“. Опасность велика. Но, присмотрѣвшись внимательно, мы все-таки увидимъ и теперь кое-гдѣ блѣдные просвѣты въ естественное и нормальное. Вотъ, хотя бы та же по-

пытка или, вѣрнѣе, попытки, упорныя, ставить греческія трагедіи, на сценѣ Александринскаго театра [1]).

---

[1]) Кстати, о современной потерѣ стыда въ связи съ постановкой греческихъ трагедій. Еще не такъ давно наши журналисты, какъ и вообще люди, стыдились своего невѣжества, недомыслія, своихъ неспособностей; даже внутренно прощая себя—все-таки, хоть изъ правилъ общежитія, скрывали свои некрасивыя болячки. Теперь (можетъ быть, и не безъ отдаленнаго вліянія Горькаго--не знаю)—не то. Люди стали „разнастываться“—по выраженію одного щедринскаго героя—на улицахъ, хвастать, что не носятъ бѣлья, ничего не понимаютъ ни въ литературѣ, ни въ искусствѣ, ни въ мысли, и арбузныя корки предпочитаютъ апельсинамъ. Чуть не спортъ устраиваютъ, кто кого окажется нечеловѣчнѣе. Такъ, извѣстный театралъ г. Юрій Бѣляевъ объявилъ въ самомъ публичномъ мѣстѣ, что „прежде всего ему греческія трагедія не нужны“. Ставъ на эту опасную дорогу,—утвержденія, что ничто истинно-человѣческое ему не нужно,—онъ силится доказать, что и никому оно не нужно, ибо всѣ люди подобны ему и собственно совсѣмъ не люди, давно,—а „такъ, нарочно“. И проповѣди своей онъ не оставляетъ, а идетъ далѣе, говоритъ, что „греки эти на сценѣ“ ему (и всѣмъ) даже вредны, и взываетъ къ единомышленникамъ: нельзя ли, наконецъ, ихъ убрать? Съ нимъ спортируетъ г. Николай Энгольгардтъ: онъ утверждаетъ, что есть же Дюма,—Ка-

Трагедіи были поставлены несовершенно,—вѣдь и современная сцена, и артисты,—все приспособлено гораздо больше для „Плясокъ жизни“ или даже прямо для кэкъ-уока... Но мысль постановки была вѣрная,—подчеркнуть вѣчное въ прошломъ,—и потому уже вторая трагедія была воплощена правдивѣе и прекраснѣе. Если бы актеры понимали вполнѣ, что они дѣлаютъ и для чего,—поняли бы это и зрители, и было бы достигнуто, хотя отчасти, то желанное единеніе всѣхъ въ одномъ, общее ощущеніе праздника, которое и есть смыслъ театральнаго представленія. Но винить актеровъ очень—нельзя. Что могутъ они „понимать“ и „любить“ въ ихъ теперешнемъ положеніи, при теперешней ихъ жизни, задерганные

лигулы, напримѣръ,—не говоря уже о дамахъ съ камеліями,—вотъ у кого поучиться можно, вотъ что весело,—а тутъ эти трагедіи какія-то! Г. Н. Энгельгардтъ съ особеннымъ шикомъ признается, что обожаетъ арбузныя корки, а на искусство ему наплевать. Есть Семирадскій, есть дамы съ разными камеліями... чего же надо! „И всѣ, молъ, какъ мы“. Ну, вотъ въ этомъ то новые „откровенники“ никого и не убѣдятъ. Вѣрится, что живы еще и люди, а не одни хулиганы.

всеобщей безтолочью и безсмысліемъ? Имъ, прежде всего, *некогда* ни жить, ни думать, ни читать, ни общаться жизненно съ другими людьми. Вечеромъ идетъ „Эдипъ“—а утромъ надо репетировать какого-нибудь Боборыкина, который и пойдетъ-то всего два раза, но роли надо учить—безъ всякихъ мыслей повторять чужія слова безъ мыслей; развѣ-что есть тамъ кому-нибудь „роль“—вотъ и утѣшеніе. Повторять, повторять—а потомъ умереть, все такъ же безмысленно, и совершенно такъ же безсмысленно, какъ умерли тѣ восемнадцать человѣкъ, на которыхъ внезапно свалилась силоамская башня. Когда не-актеры и актеры поймутъ, что актеры тоже люди, способные не только чувствовать, но и мыслить, и творить, и судить—люди прежде всего (и даже потому актеры, что люди),—тогда и начнется, можетъ быть, возрожденіе искусства на сценѣ.

Я могъ обрисовать театръ истинный (театръ-утопію, какъ скажутъ многіе) лишь въ самыхъ общихъ чертахъ. И онъ отнюдь не утопія: онъ создастся непремѣнно, именно на указанныхъ началахъ,—если, конечно, суждено искусству и театру жить дальше. Я писалъ не программу его (по программѣ

ничего создавать нельзя), а старался лишь выяснить назрѣвающія въ данное время мысли объ искусствѣ вообще и о театрѣ въ частности; мысли, созерцанія, сознанія, подъ вліяніемъ которыхъ и будутъ созидать художники, творить творцы, воспринимать воспринимающіе. Естественно *будутъ* писаться и ставиться пьесы, имѣющія право *бытія*. Я только хотѣлъ указать, какія именно пьесы будутъ писаться, и какія, изъ прошлыхъ, будутъ воплощаемы.

Толстой сказалъ гдѣ-то, что „только мысль двигаетъ впередъ"; мысль является раньше, она—необходимое условіе всякой перемѣны, вездѣ, во всѣхъ областяхъ жизни. Потому я и увѣренъ, что мысль объ искусствѣ, какъ стремленіе освѣщать вѣчное въ прошломъ и будущемъ свѣтомъ нашего настоящаго (если только эта мысль вѣрна),—неизбѣжно толкнетъ насъ впередъ, по пути къ ея воплощенію.

Самыя простыя мысли: о неестественности отдѣльныхъ „ролей" на сценѣ, о несоединимости искусствъ съ разорванностью исполнителей одного и того же произведенія искусства, о невозможности внѣшней іерархіи—или анархіи — тамъ, гдѣ должна

быть внутренняя сцѣпка (путь къ моментамъ сліянія всѣхъ воедино)---эти примитивныя мысли, какъ мы видимъ, уже создали Художественный театръ Станиславскаго; всѣ его *хорошія* отличія отъ другихъ театровъ. Это, конечно, еще не движеніе впередъ, это лишь одно изъ мелкихъ условій для движенія, и весьма вѣроятно (какъ я и упоминалъ), что Художественный театръ пойдетъ не къ искусству, а *отъ* искусства, или замретъ на мѣстѣ. Но мысль все-таки и тутъ свое создала, въ свое воплотилась.

Мнѣ могутъ сказать еще: кто же будетъ судить, рѣшать, какая пьеса имѣетъ „право бытія“, какая нѣтъ? Кто судьи и цѣнители?

Теперь, можетъ быть, никто, или немногіе просыпающіеся, начинающіе мыслить и любить; потомъ, конечно, всѣ; потенціально же—всегда всѣ, ибо искусство принадлежитъ всѣмъ, кто его глубоко и безкорыстно жаждетъ. Пусть будутъ ошибки, провалы, паденія. Лишь бы держаться необходимаго, единственнаго, направленія, да сила была итти, да компасъ вѣренъ. Сила же наша—Любовь, а компасъ—Мысль.

Согласнымъ критикамъ

Статьи и замѣтки въ различныхъ журналахъ по поводу моего „Свѣтлаго Озера“ произвели на меня отрадное впечатлѣніе. Единодушіе, стройная до мелочей согласованность, всегда изумляютъ и восхищаютъ, гдѣ и какъ бы они ни проявлялись. Критики мои сошлись всѣ во всемъ, начиная съ того, что ни одинъ не заинтересовался „Свѣтлымъ Озеромъ“, не писалъ о немъ, а всѣ—обо мнѣ, судили *меня*, то, какъ описано *мною* путешествіе къ раскольникамъ, и какія *у меня* тамъ есть ужасныя слова и мысли. Тѣ же самыя слова и мысли привлекли вниманіе и навлекли на меня осужденіе всѣхъ—одинаково. Всѣ, не сговариваясь, бросились на десять-пятнадцать строкъ моей статьи, всякими правдами-неправдами принялись уничтожать ихъ—и меня за нихъ. Это—тѣ строки, гдѣ я говорю, что любовь не есть жалость, а жалость—не любовь, что онѣ глубоко противоположны; и что народ-

ные писатели до сихъ поръ мало любили, много жалѣли; мало заботились о духѣ народа, много о брюхѣ его; думали о томъ, что надо накормить *сначала*. Народные писатели въ родѣ Рѣшетникова, Златовратскаго, Короленко и др. Я отъ этихъ моихъ словъ не отрекаюсь, и продолжаю думать, что большая ошибка и безнадежная потеря времени—„жалѣть“ народъ и стараться *прежде всего* и *только* накормить его досыта хлѣбомъ безъ мякины. „Вотъ, когда будутъ сыты,—тогда наступитъ время подумать о духѣ“. Мнѣ просто кажется разсчетъ этотъ невѣрнымъ, задача отнюдь не недостойной, но неисполнимой. Моментъ сытости, при такомъ способѣ кормленія, не наступитъ никогда. Однако, не въ томъ дѣло. Пусть критики мои не согласны со мною, а согласны со всѣми „интелигентами“, ходившими „въ народъ“, чтобы его „жалѣть и кормить“; но почему эти критики такъ обидѣлись за Короленку и Златовратскаго, почему такъ яростно, всякими средствами, своими и чужими, стараются защитить ихъ? Могутъ ли они быть унижены, они, всѣми почитаемые и признанные? Унижены моимъ скромнымъ мнѣніемъ, и даже такимъ, ко-

торое по существу вовсе для нихъ не унизительно, ибо мнѣ хотѣлось лишь указать на ошибку ихъ мысли, какъ причину ихъ дѣйственныхъ, дѣйствительныхъ неудачъ. Защитники же подняли плачъ и стали кидать въ меня не только своими, но и чужими стульями. Кто споритъ, что Короленко прекрасный писатель? Да у него есть вещи куда сильнѣе и лучше Чеховскихъ! Однако зачѣмъ же ломать казенные стулья?

Общій доводъ за Короленку, за жалость, за все остальное, — общій и главный—у всѣхъ критиковъ тотъ, что мы ѣздили въ „лѣса“ и на „горы“ въ тарантасахъ, иногда съ урядникомъ на козлахъ, пили чай съ „милѣйшимъ“ исправникомъ въ С., разговаривали съ батюшками-миссіонерами и т. д. Мнѣ понятно, почему все это доводъ противъ меня; но вѣдь гг. критикамъ должно бы быть понятно, почему именно мы путешествовали такъ, а не иначе, предпочли ѣздить въ тарантасахъ, а не излишне и безплодно утомлять себя пѣшимъ хожденіемъ съ котомкой за плечами... [1]).

---

[1]) Это было въ тѣ времена, когда иначе путешествующихъ „литераторовъ“ просто и немедленно „засаживали“. Одиссея г. Лундберга, очень

Упреки критиковъ, хотя и достойны „эстетическаго“ восхищенія (любуюсь единодушіемъ!) — врядъ ли могутъ служить доказательствомъ ихъ искренности; а за слово „искренность“ (за слово!) они держатся съ неменьшей яростностью, нежели кн. Мещерскій за розгу. Чужіе или свои стулья—все равно, лишь бы защитить Короленку! Такая неразборчивость мнѣ кажется опрометчивой.

Впрочемъ, стоитъ ли критиковать критиковъ? Мнѣ хотѣлось бы сказать лишь два слова объ одномъ изъ нихъ, г. Волжскомъ, въ „Журналѣ для всѣхъ“, который, хотя такъ же, какъ и остальные (если не больше), заинтересовался мною, а не „Свѣтлымъ Озеромъ“, возмущенъ тѣми же самыми словами о Короленкѣ и жалости,—однако, чужихъ стульевъ съ невиннымъ видомъ не ломаетъ, а потому и заслуживаетъ отдѣльныхъ словъ.

Г. Волжскій даже старается быть „нѣ-

интересная, не могла, къ сожалѣнію, быть напечатана. Тотъ же исправникъ гор. С. моментально „засадилъ“ извѣстнаго „вольнодумнаго“ писателя Л., который вздумалъ явиться въ С... на велосипедѣ.

женъ“ въ своей статьѣ „Исканія“. Вѣдь онъ пишетъ въ „Журналѣ для всѣхъ“, который, не выпуская стараго знамени изъ рукъ, понемногу косится уже на „новое“, въ сторону тоже „исканій“, и не пугается слова „Богъ“,—только сопровождаетъ его извиняющими поясненіями, смягчаетъ по своему. Но и г. Волжскій, конечно, такъ же плачевно консервативенъ, какъ и всѣ наши „либеральные“ критики. Поразительное дѣло! Потому ли, что Россія вообще очень своеобразна, или по какой другой причинѣ, но нѣтъ сомнѣнія, что нашимъ такъ называемымъ „либераламъ“ въ высшей степени и главнымъ образомъ чуждъ духъ свободы. Они тщательно сохраняютъ, охраняютъ, консервируютъ себя, свои мысли и убѣжденія многіе годы, не допуская ни малѣйшей въ нихъ перемѣны, не желая считаться ни съ чѣмъ. Мысли эти, вѣрнѣе, форма ихъ, для нихъ свята, какъ буква закона. И къ нарушителямъ охраняемой ими *формы* они относятся съ безпощадной и суровой нетерпимостью. Какъ древніе евреи, они не желаютъ знать, что „закономъ не спасается никакая тварь“, что „мы живемъ не закономъ, а благодатью“, т. е. „Духомъ

Господнимъ, который и „есть свобода“. Не все ли равно, какимъ словомъ назовемъ мы законъ? Законъ либераловъ называется „свободой“, и отъ этого онъ нисколько не меньше *закономъ*. Одна изъ заповѣдей его гласитъ: „эстетику изгоняй вонъ. Въ крайнемъ случаѣ, да будетъ она безобидна, ничтожна, безсознательна и непремѣнно подчинена этикѣ“. Другая заповѣдь, подобная ей: „люби (=жалѣй) всѣхъ тебѣ подобныхъ, особенно физически голодныхъ, больше самого себя. Однако надѣйся лишь на свои силы и вѣрь только въ человѣчество“. Не пара скрижалей, а цѣлыя ихъ горы исписаны такими заповѣдями и послѣдняя: „измѣняющаго хотя бы единую букву изъ сего—удаляйся, не вникая въ смыслъ того, что онъ говоритъ; а если упорствуетъ—да будетъ осужденъ и извергнутъ вонъ“.

И послѣдняя заповѣдь, какъ и всѣ другія правила (куда строже они правилъ святыхъ отцовъ! И кое какія, напримѣръ, насчетъ эстетики, очень сходствуютъ) охраняются, сохраняются свято, буквенно, со страхомъ, безъ размышленій. На основаніи этихъ правилъ судитъ меня и г. Волжскій въ своей статьѣ и, конечно, осуждаетъ. Я говорю

„любить, а не жалѣть“ --а правила говорятъ „жалѣть“. Я осмѣливаюсь думать, что высшая цѣль, которая передъ нами поставлена—любить другого, какъ самого себя, т. е. и самого себя, какъ другого; правила гласятъ: „люби-жалѣй другого больше себя, себя же считай за ничто. И при томъ будь искрененъ“. Слѣдовало бы прибавить: а такъ какъ это невозможно никогда и ни при какихъ условіяхъ, и при томъ ненужно и вредно, то по крайней мѣрѣ говори, что такъ исповѣдуешь“. Искренность,—слово, которое играетъ большую роль у охранителей либеральныхъ скрижалей,—однако, очень мало поддается неподвижному консервированію, а потому въ устахъ суровыхъ обвинителей оно очень для нихъ опасно. Во всякомъ случаѣ — безвредно для обвиняемыхъ. Искренность нѣчто очень подвижное, измѣнное, растущее вмѣстѣ съ сознаніемъ людей, всегда наравнѣ съ нимъ. Поэтому люди, охраняющіе букву своего стараго закона и соотвѣтственную *его* времени „искренность“—не могутъ понять искренность желающихъ жить „по духу свободы“, хотя и произносятъ то же слово. Разница огромная. Искренность, по мнѣнію первыхъ, это нѣчто

слѣпое, безразумное, стихійное, непремѣнно внѣличное (сводъ либеральныхъ законовъ былъ составленъ *до* времени всякаго сознанія личности, своего „я“). Искренность наша, современная—это наибольшее сближеніе нашихъ словъ и дѣйствій съ нашими мыслями, съ нашимъ сознаніемъ,—посредствомъ сознательной воли. (Вопросъ о волѣ—уже другой вопросъ, я опредѣляю только „искренность“). Такимъ образомъ г. Волжскій, упрекая въ недостаткѣ „искренности“—подразумѣваетъ нѣчто, никому уже изъ нечтущихъ его скрижали недоступное, да и совершенно ненужное. Зачѣмъ желать, чтобы стихіи владѣли тобою? Человѣкъ стремится имѣть власть надъ ними.

Особенно же строго взыскиваетъ г. Волжскій за нарушеніе древней заповѣди объ эстетикѣ. Народъ, жалость, раскольники—и вдругъ эстетика! Предусмотрѣнное преступленіе. Осудить и извергнуть. Но это, дѣйствительно, такое уже „предусмотрѣнное“ преступленіе, и такъ много разъ доказывалась непригодность этой статьи къ современной жизни и мысли, что скучно повторять азбуку. Да и у блюстителей закона уши завѣшаны. Они оградили свою скинію

со скрижалями такими стѣнами, что никакой звукъ извнѣ туда не доходитъ, ни одно свѣжее дыханіе вѣтра: и—они сами, блюстители, не могутъ выйти изъ своихъ стѣнъ. Посмотрите, какъ мечется въ нихъ г. Волжскій: все одно и то же, и повторяемое безконечно, на многихъ страницахъ, почти въ тѣхъ же словахъ: да эстетика, да неискренность, да личное, да этика, да эстетика... Какая жалость. Зачѣмъ? Для кого? Неужели мой Василій Щаповъ съ „Озера“ или о. Іаковъ менѣе достойны вниманія, нежели то, какъ ихъ описалъ авторъ, съ эстетикой или этикой, и куда автора съ точки зрѣнія г. Волжскаго, дѣвать, сохранить или извергнуть? Тѣмъ болѣе жалко смотрѣть на это и слушать однообразно-монотонныя рѣчи г. Волжскаго, что,—вѣдь мы же видимъ!—онъ не мертвый, онъ только боится преступить черту закона, измѣнить букву, боится новыхъ формъ вѣчной истины и старается не вѣрить имъ. „Въ старомъ кодексѣ истина есть, это я знаю; свобода намъ непривычна; размышлять свободно—опасно отъ непривычки; не вѣрнѣе ли держаться закона“? Но, вѣдь, не бросившись въ воду—не поплывешь. О, я не отрицаю

истины въ старыхъ скрижаляхъ. Она тамъ была и есть. Но она, свободная, должна быть освобождена. Она должна рости съ нами, живая, и консервировать ее, припечатывать ее семью печатями, хотя бы на этихъ печатяхъ и было вырѣзано „libertas“—нельзя. Храните истинную истину въ вашемъ „святомъ святыхъ“, г. Волжскіе, но вѣрьте въ нее больше, т. е. вѣрьте, что она истинна для всѣхъ,—и для насъ, какъ для васъ; любите людей, хотя бы и не такъ еще, какъ самихъ себя, но такъ, чтобы слушать ихъ, не подозрѣвая въ измѣнѣ буквѣ закона. Не бойтесь менѣе охранять вашу правду—она въ этомъ не нуждается. Бойтесь оставаться тѣмъ, что вы есть: ветхими законниками, фарисеями-праведниками, нетерпимыми и жалкими; потому что буква закона—всегда буква; а свобода — всегда „благодать“.

Лѣтнія размышленія

Дѣйствительно, правъ г. Боцяновскій въ „Руси“: лѣтомъ какъ то нечего читать и не о чемъ писать. Ничего не „случается“ въ литературѣ, нѣтъ „событій“ въ журналистикѣ, даже маленькихъ; отъ большихъ мы давно отвыкли, ихъ нѣтъ и зимой. За литературное „событіе“ многіе приняли весенній сборникъ т-ва „Знаніе“, или, если не весь сборникъ—то, по крайней мѣрѣ, первый разсказъ, Леонида Андреева, „Жизнь Василія Ѳивейскаго“. Разсказъ хорошій, не спорю; Леонидъ Андреевъ, какъ это давно признано, самый талантливый изъ всей группы новѣйшихъ московскихъ беллетристовъ; я даже издавна осмѣливаюсь утверждать, что онъ гораздо талантливѣе самаго „Максима“, не говоря о всѣхъ другихъ его послѣдователяхъ; однако врядъ ли можно смотрѣть на появленіе послѣдняго разсказа

этого одареннаго писателя, какъ на „литературное событіе“. Именно „событія“-то и не было. Ничего не совершилось. Все осталось на своихъ мѣстахъ. И Леонидъ Андреевъ остался за чертой магическаго круга, въ которомъ живутъ всѣ, талантливые и не талантливые, писатели „послѣ Максима Горькаго“. Горькій все-таки въ центрѣ этого круга, а они тѣснятся вблизи. Я боюсь, что никакой художественный „талантъ“ не можетъ дать силы переступить эту черту. Нужно что-то иное. Вѣроятно, нужна и „мысль“, къ которой такъ неловко и безсильно начинаетъ простирать руки самъ Максимъ Горькій. Впрочемъ, безмысленность и безмысленность его „Человѣка“ (въ томъ же сборникѣ „Знанія“)достаточно доказываетъ всю случайность и завѣдомое безплодіе этихъ простираній. Съ Горькаго и талантъ уже начинаетъ слѣзать, вытираться на немъ, какъ сусальная позолота на деревянномъ идольчикѣ; Леонидъ Андреевъ не вытрется такъ скоро, можетъ быть, никогда не вытрется. Тѣмъ хуже. Какъ сверкало бы это золото подъ лучами солнца! Какъ жаль—насъ: мы лишены видѣть его подъ солнечными лучами, не увидимъ никогда, если Л. Андреевъ не выйдетъ

изъ своего погреба. Выйдетъ или нѣтъ—предречь это, конечно, не можетъ никто.

Леонидъ Андреевъ написалъ разсказъ на модную тему, написалъ хорошо, потому что ему дано хорошо писать; и больше ничего. Тему онъ взялъ именно какъ модную, какъ *чужую*, вотъ что всего печальнѣе. Тамъ, гдѣ онъ говоритъ свое, прежнее, общее со своими товарищами по мысли—его „новая“ тема отъ него уходитъ. „Богъ“ уходитъ. И остается опять „человѣкъ“, вѣчный идолъ, почернѣвшій отъ долгихъ воскуреній, но не менѣе милый и божественно-великій для вѣрныхъ. Данный „Человѣкъ“,—разказъ Максима Горькаго,—не удался; но, вѣдь, Максимъ Горькій всю жизнь только и писалъ „человѣка“,—только его и проповѣдывалъ, какъ достойный апостолъ. И вѣра его преемниковъ въ это единое божество проникла въ нихъ до самыхъ костей. Когда Леонидъ Андреевъ говоритъ о чужомъ Богѣ,—о Богѣ,—онъ смотритъ на Него изъ своего храма, зоветъ Его служить истинному божеству — человѣку. Богъ долженъ придти, Онъ долженъ помогать, Онъ долженъ служить, быть полезенъ человѣку (да, да, „полезенъ!“). Онъ долженъ воскре-

шать умершихъ, долженъ поддерживать вѣру, доказывать человѣку Себя, долженъ, долженъ! А если нѣтъ... Л. Андреевъ говоритъ: нѣтъ. Богъ не пришелъ. Не доказалъ. Не послужилъ такъ, какъ того хотѣлъ и разсудилъ во благо—человѣкъ. Зачѣмъ же Онъ человѣку, который уже однимъ тѣмъ безконечно божественнѣе, что онъ несомнѣнно и навѣрно—есть?

Итакъ, разсказъ Андреева, разсказъ на „тему о Богѣ“ — опять все тотъ же гимнъ человѣку, многоликому и единому гордому божеству всѣхъ Горькихъ. Все тотъ же старый догматическій матеріализмъ, до чичиковщины—только немного приправленный свѣженькимъ соусомъ внѣшне-понятаго Ницше, внѣшне-понятаго значенія личности—„я“. Попытка соединить вѣру въ человѣчество (множественность) съ культомъ личности (единства) соединить, не выходя изъ круга чисто матеріалистическаго міросозерцанія, т. е. безъ всякаго третьяго элемента, безъ цементировки—есть, конечно, абсурдъ; и такія попытки должны приводить,—какъ мы и наблюдаемъ это,—къ плачевнымъ результатамъ. Вотъ первый: всѣ новѣйшіе писатели „эры“ Максима

Горькаго—считаютъ себя поборниками свободы, но не трудно доказать что, при данномъ ихъ міровоззрѣніи, именно понятіе-то свободы наименѣе для нихъ и доступно. Съ матеріалистической точки зрѣнія абсолютная свобода личности, „я“, человѣка,—исключаетъ свободу человѣчества, и наоборотъ,—такъ же, какъ единство исключаетъ множественность и наоборотъ. Обѣ вѣры,—вѣра въ человѣчество и вѣра въ человѣка—уничтожаютъ другъ друга. Такая метафизика (если только это можно назвать метафизикой) и есть причина всѣхъ дѣйственныхъ, реальныхъ противорѣчій у писателей указаннаго направленія: они, проповѣдники свободы,—нетерпимы ко всему, что говорятъ не они сами; они, желающіе, чтобы ихъ слушали—не умѣютъ слушать; „гордые и смѣлые“—боятся всякаго движенія по пути развитія *мысли* и держатся старыхъ формъ, старыхъ формулъ, не замѣчая, что въ ихъ собственныхъ душахъ уже есть коренное ему противорѣчіе. „Свободники“—они, увы, не могутъ быть свободными; какъ это ни странно звучитъ—но я долженъ сказать, что всѣ такъ называемые „передовые борцы“ постольку кон-

серваторы и охранители своихъ неподвижныхъ законовъ, поскольку матеріалисты. Понятіе *свободы* (какъ для всѣхъ это уже ясно) несовмѣстимо съ чисто-матеріальнымъ взглядомъ на міръ. Старое, относительное, внѣличное понятіе свободы (золотой вѣкъ, общее довольство, ровная сытость, аллюминіевые домики)—еще кое-какъ уживалось съ догматическимъ матеріализмомъ. Но врядъ ли у кого-нибудь сохранилось оно такимъ же донынѣ. А матеріализмъ—толстая цѣпь, приковывающая современныхъ либераловъ именно къ этимъ угасшимъ, умершимъ въ нихъ желаніямъ, дѣлающая изъ нихъ рабовъ всего, всѣхъ и самихъ себя.

О, конечно, они искренно и горячо *хотятъ* любить свободу, тянутся къ ней, истинно страдаютъ; каждый, кто безъ самодовольства, съ чувствомъ неудовлетворенности, мертвыми устами повторяетъ слова закона — уже чуетъ смутно свою страшную цѣпь, — только не знаетъ, что это такое. И Леонидъ Андреевъ, я думаю, чувствуетъ боль язвъ отъ этихъ звеньевъ, и не судить такихъ нужно... Законъ неправъ, но зато каждый въ отдѣльности, хотя и живущій еще подъ закономъ, но

живой,—можетъ быть и правъ. Г. Волжскій, напримѣръ (не въ обиду будь сказано автору „Свѣтлаго Озера“), во многомъ правъ, упрекая автора въ излишней психологичности, въ излишней внимательности къ своему *я*, даже, можетъ быть, въ самолюбованіи и рисовкѣ. Психологію личности не слѣдуетъ смѣшивать съ метафизикой личности; психологія заводитъ насъ въ никому не нужныя дебри и лишаетъ самыя общественныя темы всякаго общественнаго интереса. Поэтому очень важно, *какъ* написана та или другая статья. Правъ г. Волжскій (примѣнительно къ данному случаю) и насчетъ эстетики: она не должна господствовать надъ этикой, онѣ равноправны. Грѣхъ одинаковый, которая бы ни преобладала. Впрочемъ, дадимъ свободу каждому высказывать свои мысли, какъ онъ хочетъ. Лишь бы это были воистину „свои“ мысли. Если бы новые писатели наши, очерченные магическимъ кругомъ „матеріализма“, могли дѣйственно принять хоть это, смогли бы говорить мирно съ тѣми, и слушать тѣхъ, кто стоитъ внѣ круга, это былъ бы уже нѣкоторый шагъ къ освобожденію. Проповѣдующіе жалость, гуманность и достоин-

ство — не должны слишкомъ явно противорѣчить своимъ „убѣжденіямъ“, сердясь, осуждая, презирая, нисходя до „ссоръ“. Ссорится князь Мещерскій съ г. Нотовичемъ. Надо же хоть изъ этого вырости. Уважая себя—недурно и уважать другихъ, достойныхъ уваженія. А чтобы узнать, достойны или нѣтъ они уваженія—необходимо слушать, что они говорятъ.

Къ Леониду Андрееву и ко всей новѣйшей „изящной литературѣ“ я еще вернусь: эта тѣсная и многочисленная группа писателей „послѣ Горькаго“—занимательна очень и со стороны стилистической; любопытно наблюдать и тутъ ихъ взаимную близость и согласіе, ровность ихъ рядовъ, ихъ почти военную дисциплину. Но объ этомъ до слѣдующаго раза.

Нѣсколько словъ pro domo sua: мнѣ истинно жаль, что г. Аббадонна („Русь“ № 168) не прочелъ моей статьи *до конца*. Если ужъ онъ желалъ упомянуть о ней въ своихъ „откликахъ“—не слѣдовало, можетъ быть, оставлять чтеніе на серединѣ. Это избавило бы г. Аббадонну отъ непріятности и быть несправедливымъ, и возражать мнѣ—отъ себя—моими же собственными словами.

„Заполнить сцену преимущественно „оглядками на вѣчное прошлое“, какъ выражается г. Антонъ Крайній, было бы большой несправедливостью и къ настоящему, и будущему“... Такъ говоритъ г. Аббадонна, повторяетъ нѣсколько разъ, какъ бы стараясь опровергнуть мои заблужденія; но я съ нимъ согласенъ! онъ правъ вполнѣ! истина его—моя: я это доказалъ во второй главѣ (той же статьи) „Триптихъ“, гдѣ какъ разъ говорится, что нельзя заполнить сцену оглядками на вѣчное въ прошломъ, что нужны пьесы и *настоящаго*, и *будущаго*, и даже подробно развивается эта мысль. Я очень радъ, что мы такъ близко сошлись съ г. Аббадонной въ нашихъ взглядахъ на театръ, но, повторяю, нельзя не пожалѣть, что это согласіе стало явнымъ лишь благодаря недоразумѣнію, можетъ быть, усталости критика отъ журнальныхъ статей, его привычкѣ не дочитывать до конца тѣхъ, о которыхъ онъ пишетъ.

-

Бытъ и событія

I

Говорятъ о томъ, все чаще и чаще, что исчезаетъ жизнь,—бытъ, любовь къ жизни и умѣнье жить. Смотрятъ въ прошлое и въ настоящее, и находятъ, что отцы наши умѣли жить, цѣнили и видѣли міръ, а мы уже не цѣнимъ, и не видимъ, и не любимъ, и не творимъ, мы — безбытны. И, чѣмъ дальше, тѣмъ идетъ все хуже.

Смерть Чехова, этого тонкаго, любовнаго художника мелочей, особенно возбудила вниманіе къ „быту“ и къ современному, какъ будто его отрицающему, какъ будто идущему внѣ его, теченію жизни. Самые разнородные и разномысленные люди, каждый по своему, поднимаютъ этотъ вопросъ и по своему рѣшаютъ его. Одни говорятъ: идейность убиваетъ творческое и

дѣйственное отношеніе къ жизни, отрываетъ человѣка отъ корней, дѣлаетъ его безпомощнымъ и отвлеченнымъ. Другіе, между ними и Розановъ, нашъ „плотовидецъ“, пророкъ „земли и земного“,—винятъ историческіе религіозные уклоны, вліяніе новыхъ принциповъ, будто бы отвергающихъ и уничтожающихъ землю, жизнь и плоть, какъ нѣчто низшее. Сказано, что „къ концу міра охладѣетъ любовь“, кричитъ Розановъ, — и вотъ она уже охладѣваетъ! Исчезаетъ жизнь, вся ея милая прелесть, весь ея стройный, вкусный, веселый укладъ, вся ея непосредственная, безличная радость! Опомнимся, вернемся къ сочной библейской правдѣ, заживемъ по старому чтобы сходить въ могилу, „насытясь днями“ и имѣя твердое безсмертіе въ многочисленномъ потомствѣ. Библейскій бытъ—вотъ къ чему намъ надо стремиться!

О „бытѣ“ горюютъ и такъ называемые „декаденты“. Но они говорятъ, что вся бѣда не оттого, что „любовь охладѣла“, а оттого, что, напротивъ, она черезчуръ выросла, умножилась въ душѣ, сама по себѣ, а жизнь въ это время отдалилась, обезцвѣтилась, и любовь къ ней неприложима, не

приходится по мѣркѣ. „Декаденты“, жалуясь и тоскуя, не заходятъ, однако, такъ далеко въ исторію, какъ Розановъ, ме мечтаютъ о библейскомъ житьѣ, а съ унынiемъ любуются недавнимъ прошлымъ, помѣщичьимъ житьемъ, расцвѣтомъ вишневыхъ садовъ,—ну, въ крайнемъ случаѣ, художественностью, выписанностью домостройнаго порядка жизни. Они не отдаютъ себѣ отчета, сколько въ этомъ любованьи историческаго эстетизма. Но имъ тоже кажется, что у насъ нѣтъ своего „быта“, и что это горестно, что эта безбытность — слабость.

Тутъ происходитъ дѣйствительно нѣчто горестное,—горестное недоразумѣнiе. Какъ-то повелось, что смѣшиваютъ два слова: *бытъ* и *жизнь*. То скажутъ, что нѣтъ быта, то что нѣтъ жизни — и точно оба слова значатъ одно и то же. А между тѣмъ это не только не одно и то же, но это два понятiя другъ друга исключающiя. Бытъ начинается съ точки, на которой прерывается жизнь, и, въ свою очередь, только что вновь начинается жизнь—исчезаетъ бытъ. Бытъ именно перерывъ, отдыхъ жизни, какъ будто летящая птица складываетъ крылья

и садится на дерево. Она жива, она опять полетитъ, опять будутъ мелькать мимо новыя облака и горы, приближаться и проходить, какъ событія, а пока она отдыхаетъ—около нея все тотъ же узоръ листьевъ, мирный и неподвижный, и одинаково тверда та же вѣтвь подъ ея лапками. Жизнь — событія, а бытъ — лишь вѣчное повтореніе, укрѣпленіе, сохраненіе этихъ событій въ отлитой, неподвижной формѣ. Бытъ — кристаллизація жизни. Поэтому именно жизнь, то-есть движеніе впередъ, наростаніе новыхъ и новыхъ событій, — только она одна—творчество; и это творчество исключаетъ бытъ, движеніе круговое, повторительное, почти инстинктивное охраненіе завоеваннаго, безъ разсужденій, безъ желаній. Воистину отдыхъ.

Я не хочу унизить „бытъ“, отдыхъ нуженъ, ему его мѣсто; но горевать о томъ что у насъ не вѣчный отдыхъ, о томъ, что сейчасъ у многихъ и у многихъ изъ насъ нѣтъ „быта“ (а, слѣдовательно, есть „жизнь“) — мнѣ кажется просто безразсуднымъ. Слава Богу, что есть жизнь! Что есть вольно-мчащійся поѣздъ, управляемый опредѣленнымъ и сознательнымъ какимъ-

нибудь желаніемъ, что мелькаютъ и остаются позади свѣтлѣющія деревья и зори, все новыя, попутныя событія. А если въ пути и не знаемъ мы, въ какой часъ завтра встанемъ и чѣмъ пообѣдаемъ, и какого чина человѣка встрѣтимъ,—мы вѣдь на это не жалуемся. Тѣ, кто утомятся — оставятъ поѣздъ, оснуются на станціи и будутъ отдыхать, и тутъ уже имъ будетъ время съ любовью раставить мелочи по мѣстамъ, установить порядокъ жизни, обычаи, правила, весь мирный кругъ быта. А когда отдохнутъ—поѣдутъ дальше, навстрѣчу событіямъ, и самъ собою разрушится привычный строй ихъ житья.

Люди быта и люди жизни не должны бы никогда враждовать между собою, ни упрекать одни другихъ. Вѣдь правы и тѣ, и другіе, вѣдь они не могутъ завидовать другъ другу,—каждый имѣетъ то, что ему въ данный моментъ нужно, — отдыхъ или движеніе. Но на дѣлѣ выходитъ не такъ; и это естественно, потому что и жизнь живутъ, и бытъ устраиваютъ люди скопомъ, въ большихъ соединеніяхъ; и непремѣнно между бытовыми попадутся болѣе жизненные, между жизненными—болѣе бытовые,

и вотъ эти-то неумѣстные, имѣющіе не то, что имъ нужно, но задержанные общей массой окружающихъ,—недовольны, несчастны, мучаются. Они унижаютъ среду, въ которую попали, проклинаютъ ее, слабые—презираютъ. Проповѣдуютъ всеобщее возвращеніе или къ быту, или, если они живые, но въ быту,—къ жизни. Всеобщее для всѣхъ и одновременно! Это еще та личная нетерпимость къ свободѣ, непроникновеніе въ прекрасные, совершенные, міровые законы, которыя рождаются изъ недостатка сознанія и самознанія.

Чеховъ былъ въ быту — и ненавидѣлъ бытъ, томился имъ, ненавидѣлъ бытъ — любя и зная его; такъ мы иногда собственную руку ненавидимъ, — и вѣдь все-таки она своя, ближе чужихъ, ее не оторвешь; чтобы оторвать, для спасенія сердца, надо имѣть рѣдкую силу. Чеховъ этой силы не имѣлъ, онъ такъ и протомился любовной ненавистью до самой смерти. Она, его ненависть, была такая безсознательная и такая любовная, что многими, вотъ хотя бы „декадентами“, безбытными и безжизненными (есть и эта середина, таковъ безсознательный эстетизмъ) была принята

за чистую любовь къ быту. Не умѣя жить и не умѣя устроить быта, томясь въ пустомъ пространствѣ чистаго и при томъ не осмысленнаго созерцанія, декаденты—одни возлюбили Чехова за его, якобы, чистую любовь къ быту, къ этому повседневному круговому житью со всѣми мелочами, другіе умиляются разсказами этого писателя, вообразивъ, что бытъ и жизнь одно и то же, что мелочи, повторяющіяся и вѣчныя, у Чехова — „прозрачны“, а стоитъ только бытовыя явленія сдѣлать прозрачными—они превратятся въ событія. Декаденты, по примѣру всѣхъ другихъ „партій“, самыхъ противоположныхъ, тащутъ Чехова къ себѣ: онъ нашъ! А Чеховъ, какъ стоялъ на одномъ мѣстѣ, страдающій, слабый, глубокій, значительный, такъ и стоитъ. Ничей, свой и Божій. Онъ показалъ намъ трагедію человѣка жизни — въ бытѣ; и это, можетъ быть, остережетъ многихъ и укажетъ имъ ихъ путь—если ужъ нужно искать дѣйственной пользы въ художественныхъ произведеніяхъ Чехова.

Отъ непониманія глубинъ пропасти между жизнью и бытомъ, многіе, грустящіе о бытѣ, соединяютъ любовно Чехова съ До-

стоевскимъ. Это ужъ совсѣмъ непростительно. У Чехова еще была ненавистническая любовь къ быту и бытъ. Достоевскій—сама жизнь, мелочи его—грандіозны, все безпорядочно и неправильно, ни одного возвращенія, ни одной круговой черты быта: одни событія! Это истинный и постоянный переоцѣнщикъ всего, а въ быту именно цѣны-то и стоятъ неподвижно, тѣ же сегодня, какъ вчера, и объ этомъ-то и заботятся бытовые люди. Сегодня — вчерашнія, а о „завтра“ бытъ не думаетъ, пока „завтра“ не сдѣлается, по порядку,—„сегодня“; тогда его нужно хранить по примѣру „вчера“, не отступая ни на линію. И люди, живущіе въ быту, никогда не видятъ себя извнѣ, даже не замѣчаютъ своего „быта“, отнюдь не наслаждаются имъ, а просто увѣрены, что житье ихъ — правильное житье. Эстетики умиляются теперь, глядя назадъ, передъ „способами солить и мочить вишню“, а Фирсъ изъ „Вишневаго сада“, который „способъ зналъ“, въ то время никакого экстаза особеннаго не испытывалъ. Также и домостройный боярин, также и—сойдемъ глубже,—библейскій израильтянинъ, устроявшій свой домъ,

своихъ женъ и овецъ по вѣковымъ законамъ и правиламъ. Умиленіе эстетическое, усиленное разстояніемъ, надо положительно выдѣлить изъ вопроса о бытѣ и жизни.

Оговариваюсь также, что, утверждая равноправность быта съ жизнью, какъ необходимые періоды отдыха, перерыва движенія, въ разное время нужные для многихъ, и постоянно существующіе на ряду съ постояннымъ движеніемъ другихъ, — я отнюдь не утверждаю неизмѣнности формъ быта. Какъ будто этапъ для отдыха—только одно-единственное мѣсто, и, уѣхавъ далеко впередъ, надо для передышки и сна къ нему же возвращаться! Но замѣтьте,— и это опять естественно, — самые горячіе проповѣдники быта почти никогда не рисуютъ *будущаго* быта, а всегда оглядываются и хотятъ что-то устроить по примѣру прошлыхъ остановокъ, прежнихъ круговыхъ обычаевъ. Тотъ вздыхаетъ о соленыхъ вишняхъ, другой о Домостроѣ, Розановъ простирается назадъ до Библіи и Вавилона... Вотъ такъ! Вотъ, чтобы въ родѣ этого! Мечты же о бытѣ, усилія создать картину будущаго *быта* возможнаго, прекраснаго, продолжительнаго, и желатель-

наго — всегда жалки, картины не плѣнительны, не увлекаютъ, мертвы и ненужны. Бытъ не создается людьми, онъ вообще не создается, а выходитъ самъ; вѣдь мы не выдумываемъ нашихъ сновъ, а видимъ ихъ. Какъ знать заранѣе условія мѣстности, гдѣ остановишься? Какъ знать впередъ, гдѣ устанешь и гдѣ именно захочешь отдохнуть, и съ какой душой, наконецъ, оставишь поѣздъ жизни, послѣ какихъ путевыхъ „событій“? А изъ этого и сложится нашъ бытъ, наши сны.

Отдохнемъ — поѣдемъ снова, и отречемся отъ привычекъ, отъ обычаевъ, отъ установленныхъ цѣнъ, отъ установленныхъ отношеній, отъ всякаго твердаго благополучія и разсчета, мелочи сложимъ въ чемоданъ, а которыя не войдутъ—оставимъ... и поѣдемъ такъ вплоть до слѣдующаго этапа, когда мы, или дѣти наши, или внуки, захотятъ отдохнуть. И будутъ правы, и пусть отдохнутъ малое время и говорятъ, какъ обитатели Обломовки, укладываясь спать вечеромъ: „вотъ день-то и прошелъ! И слава Богу! Дай Богъ и завтра такъ!“ Пусть отдохнутъ. Жизнь возьметъ свое.

Но гдѣ же, спросятъ, послѣдній и окон-

чательный этапъ? Куда мчатся тѣсные узкіе поѣзда жизни по пути событій? Да, бытъ внѣ творчества, бытъ дѣлается самъ, но жизнь, ея движеніе, вѣдь *мы* направляемъ? Неужели мы просто ѣдемъ въ безконечность, зная навѣрно, что отъ самаго послѣдняго вообразимаго этапа — опять потянется желѣзный путь, а тамъ опять, и такъ всегда? Я думаю, что если дѣйствительно мы *желаемъ* жить, двигаться (безъ желанія мы не могли бы жить и двигаться), то этотъ путь *не* безконеченъ, ибо само желаніе доказываетъ существованіе исполненія, цѣли; желаніе безцѣльное, сознательно безцѣльное, есть противорѣчіе въ самомъ себѣ. Такимъ образомъ приходится думать, что путь жизни—*не* безконечность, и послѣдняя его точка, дѣйствительно послѣдняя, *не* остановка... Истинный конецъ вотъ этого желѣзнаго пути, съ окружающими его событіями, проходъ черезъ всѣ эти событія — несомнѣнно и есть цѣль влекущихъ насъ впередъ желаній. И не обрывъ, не остановка, потому что тогда опять была бы безцѣльность. Когда мы увидимъ послѣдній блескъ желѣза — мы увидимъ, въ

какой именно путь переходитъ этотъ старый, конечный, который мы *желали* весь изойти. Говорить объ этомъ болѣе опредѣленно не нужно. Нужно довѣряться своему, все равно непобѣдимому, желанію жить. Жить—впередъ.

II

И, однако, очень важно сознавать, что желаешь именно окончательнаго окончанія, истиннаго конца этого пути, завершенія, достиженія той точки, гдѣ онъ, желѣзный, сходитъ, переходитъ въ какой-то другой; и желаешь исполненія *всѣхъ* событій на этомъ пути. Иначе легко остановиться на одномъ изъ отдохновенныхъ этаповъ быта и замереть, думая, что онъ — конецъ. А тѣ, невидѣнныя, событія и непройденный путь вѣдь будутъ же все-таки, а потому и желаніе ихъ, пусть полумертвое, будетъ несознанно томить.

Вотъ далекій, туманный, прекрасный этапъ общаго счастья, легкой и мирной братской жизни на устояхъ общаго труда и равенства. Предположимъ, что мы жили, переживали событія, создавали направленіе, мчались впередъ, отдыхали на

мелкихъ этапахъ несовершеннаго быта — и опять мчались среди событій — все ради него. Но дѣло въ томъ, что, живя, двигаясь, мы ясно чувствуемъ, что именно движеніе — правда, именно въ этомъ наше желаніе; мы понимаемъ, что отдыхъ, бытъ, остановка на полпути—*не* исполненіе желанія. Мы внутренно знаемъ, живя, что самый прекрасный этапъ все-таки этапъ. И потому мы не можемъ жить, двигаться къ этапу, къ быту какъ къ цѣли. Развѣ будутъ силы? Какое опять внутреннее противорѣчіе!

Нѣтъ, важно знать, что хочешь его потому, что онъ, далекій, лежитъ на нашемъ пути, его не обойдешь, онъ нуженъ, къ нему подведутъ и событія; когда мы будемъ тамъ—мы будемъ ближе къ нашему совершенію всего, исполненію всего,—вотъ за это прекрасный этапъ „общаго равенства“ нельзя не любить, нельзя не желать, не стремиться къ нему, не направлять въ его сторону движенія жизни. Но силы наши сами угасаютъ, только что мы скажемъ себѣ, что онъ цѣль, а дальше мы ужъ не двинемся, хотя путь будетъ блестѣть на солнцѣ. Мы даже и не дойдемъ, остановимся раньше, на ближнемъ этапѣ—

вѣдь и тутъ можно кое-какъ устроиться. Удивительна природа человѣческая! Если показать человѣку черту, за которую его навѣрно не пустятъ, онъ не дойдетъ и до самой черты, ему дѣлается все равно, шагомъ дальше или шагомъ ближе. Если ужъ отдыхать, и все одинаково благополучно жить да поживать, безъ событій, а въ свое и общее прекрасное удовольствіе, — то можно и не стараться особенно; можно и на предпослѣднемъ этапѣ недурно отдохнуть. Желанія падаютъ до минимума и силы умираютъ. Происходитъ какое-то развращеніе человѣка, превращеніе его въ скромное и сонное животное.

Такимъ образомъ плохую услугу оказываютъ поступательному движенію жизни тѣ, кто ставитъ передъ человѣчествомъ идеалы неокончательные, видимые, эмпирическіе, и при томъ идеалы постояннаго благоденствія, улучшеннаго быта. Жизнь при такихъ идеалахъ замираетъ и коснѣетъ, потому что сила желанія безсознательно падаетъ.

Падаетъ она и при полной неопредѣленности идеала, которую обыкновенно сопровождаетъ увѣренность въ его недостижимости. Мы не умѣемъ желать того, чего мы

совершенно и никакъ не можемъ себѣ представить или идти туда, куда мы знаемъ, что *навѣрное* не дойдемъ. Если бы мы твердо не знали, не угадывали, никакъ не предчувствовали, что ждетъ насъ за окончаніемъ пути—обрывъ или нѣтъ, и что притомъ мы этого окончанія все равно не достигнемъ—непонятно, какая сила могла бы заставить человѣка идти впередъ. „Лучше“ и „хуже“, „дальше“ и „ближе“, все это существуетъ лишь тогда, когда существуетъ совершенство, и лишь постольку „лучше“ и „хуже“ для насъ и важны. Идеалъ слишкомъ опредѣленный, какъ идеалъ слишкомъ неопредѣленный, черезчуръ достижимый, какъ и вполнѣ недостижимый,—равно тормозятъ жизнь, волю, устремленія, событія и достиженія.

III

Оставивъ на время теоріи и общія разсужденія, которыя, какъ бы ни были правильны и вѣрны, никогда почти не встрѣчаются воплощенными въ чистомъ видѣ,—посмотримъ, такъ ли ужъ дѣйствительно мы стали безбытны, что стоитъ объ этомъ говорить. Приближаясь къ реальной еже-

дневности, глядя близко на исторію, на факты, приближаясь настолько, чтобы въ толпѣ, въ „человѣчествѣ“, различать лица,— мы замѣчаемъ, что чаще всего бытъ и жизнь переплетаются наимельчайшимъ образомъ; большинство людей и въ бытѣ, и въ жизни, а такъ какъ это несовмѣстимо — то каждый поперемѣнно то въ жизни, то въ бытѣ. Нѣкоторые больше въ бытѣ, другіе больше въ жизни. Человѣкъ, уклоняющійся въ жизнь—естественно разрушаетъ бытъ, и кажется, что онъ безбытенъ (для смѣшивающихъ понятія, онъ и безжизненъ, т. е. не имѣетъ отношенія къ окружающему міру). Совершенно безбытнымъ, однако, остаться нельзя, уже потому, что каждый непремѣнно такъ или иначе связанъ съ людьми бытовыми, а они непремѣнно нетерпимы, непремѣнно желаютъ не только своего подчиненія быту, но и всеобщаго.

Такъ каждый живетъ въ опредѣленномъ, своемъ, государствѣ, въ опредѣленномъ городѣ, въ своей квартирѣ, въ своей семьѣ, опредѣленной работой зарабатываетъ свой хлѣбъ. А все это болѣе, чѣмъ наполовину— устроеніе бытовое, укладъ, твердо самъ

сложившійся, хотя и подготовленный жизнью и ея событіями. Изъ колеса быта иногда почти невозможно вырваться. Можно только все время бороться — для жизни, какъ боролся Достоевскій. Впрочемъ, бытъ около него точно самъ не росъ, до такой степени онъ былъ ему чуждъ.

И вотъ, если даже мы условимся понимать бытъ очень узко и опредѣленно, то-есть какъ установившійся круговоротъ всегда одинаково, условно, воспринимаемыхъ явленій, дѣйствій, приноровленныхъ къ этому условному, безъ всякихъ разсужденій, воспріятію, какъ усилія, направленныя къ сохраненію вѣчнаго statu quo, законы и правила, до мелочей охраняющіе одно состояніе, одни обычаи, порядки, слова способы и мѣры, одинаковые для всѣхъ,— если только *это* мы назовемъ бытомъ, то все же нельзя сказать, чтобы онъ, этотъ бытъ, исчезалъ. Его почти столько же, сколько всегда. Если утеряны способы солить вишни—ихъ замѣнилъ способъ ѣздить на автомобилѣ, если нѣтъ боярскаго и помѣщичьяго уклада — есть новый, буржуазно-чиновничій и босяцкій; если купцы уже не живутъ по Островскому — они живутъ по

Боборыкину, и право одни стоятъ другихъ. Если разводъ не такъ упрощенъ, какъ въ библейскія времена—онъ уже очень облегченъ, если вавилоняне имѣли по три жены—мы можемъ имѣть по тридцать три любовницы. Камень для формъ быта другой, но формы его все-же каменныя. Созерцатели-эстеты будущихъ вѣковъ станутъ съ неменьшимъ умиленіемъ глядѣть на нашъ бытъ, нежели теперешніе на бытъ бояръ, вавилонянъ и т. д. А церковный нашъ бытъ? Онъ не только крѣпокъ, онъ даже староформенъ, патріархаленъ, по сравненію съ бытомъ другихъ слоевъ общества. Эстеты найдутъ здѣсь еще много умиленнаго наслажденія. Проповѣдники быта, конечно, тоже. Послѣдніе фельетоны Розанова,—описаніе поѣздки въ Саровъ,—очень характерны. Талантливый, порою геніальный, хитрецъ-писатель съ безпощадной ясностью показываетъ намъ именно *бытовой* складъ монастырско-церковной жизни. Онъ силится доказать, что это „не то“, потому что бытъ „не тотъ“, вотъ если бъ былъ вавилонскій...

А мы не вѣримъ. Всякій бытъ — бытъ. Недаромъ и Розановъ, хотя тутъ бытъ не

вавилонскій, и даже уничтожительный для вавилонскаго,—все таки умиляется.

Есть ежедневность внѣбытная (въ томъ узкомъ понятіи, какъ мы опредѣлили бытъ)—и глубоко реальная, есть реальное соприкосновеніе человѣка съ міромъ, есть и формы и воплощенія, — но формы эти всегда подвижныя, всегда растущія, движающіяся рядомъ съ жизнью, никогда окончательныя. У каждаго воистину живущаго, есть, во-первыхъ, свой, болѣе или менѣе опредѣленный, взглядъ на весь міръ вообще, дающій направленіе жизни; свое отношеніе къ Богу (говорю это въ самомъ широкомъ смыслѣ). Отсюда рождаются, этимъ опредѣляются отношенія между людьми, а человѣческія отношенія создаютъ наконецъ, и реальную, ежедневную *жизненную* атмосферу жизни, ея цвѣтъ, ея... не архитектуру,—но музыку. Такъ какъ два первыя звена — отношеніе людей къ Богу (къ міру) и отношенія между собой — воистину жизненны, не условно и привычно каменны, а подвижны, какъ день, то и музыка жизни, реальная,—безбытна, т. е. ни одно созвучіе не повторяется, не возвра-

щается; вѣдь они не совершенны, а только растутъ къ совершенному.

Не каждый ли разъ должно вставать новое утро? Не каждый ли день любви — единственный? Не каждое ли событіе—первое? Только въ движеніи жизни сохранена единственность, свобода личнаго, которая есть залогъ истиннаго равенства.

Бытъ не можетъ не затирать личности, всякій. Его законы, его формы — немногочисленны и не разнообразны, они пригнаны „на средній ростъ“, а потому никому особенно не впору. Хотя бы любовь: для нея устроена твердая форма—бракъ. А разновидностей любви столько, сколько паръ, и даже столько, сколько часовъ и дней въ жизни этихъ паръ. На все это одна форма, и одно даже слово. Такъ и другія, всякія, людскія отношенія, по существу способныя развиваться и рости,—въ бытѣ замираютъ, обезличиваются, задавленныя двумя-тремя условными формами.

Жизнь,—личность, движеніе впередъ,—кореннымъ образомъ не вмѣщается въ бытъ; и она должна вѣчно разрушать и разметывать его въ стороны, едва съ нимъ соприкоснется.

IV

Очень часто воплощенія, формы жизни совпадаютъ съ формами быта. Но это совпаденіе—внѣшнее, обманчивое; смѣшиваетъ ихъ лишь поверхностный взоръ. И человѣкъ жизни обѣдаетъ, спитъ, работаетъ, женится; съ другой стороны, и въ быту случаются, какъ кажется, событія. Но событія, тотчасъ же воспринимаются „по-бытейски“ и таютъ, какъ ледъ въ теплой комнатѣ; съ другой стороны, человѣкъ жизни ежедневныя человѣческія дѣйствія — ѣду любовь, работу, — превращаетъ (или стремится превратить) въ единственныя событія. Въ жизни не только человѣкъ — личность, но и всѣ проявленія міра, всѣ явленія какъ бы личны, ибо единственны. Но при томъ связаны наитѣснѣйшей связью. Люди связаны одной волей, однимъ направленіемъ, однимъ устремленіемъ жизни; естественно, что и все окружающее ихъ,— ихъ дѣйствія, при полной личности и единственности, такъ же стройно связаны между собою.

Мнѣ вспоминается одинъ примѣръ изъ прошлаго: Аѳанасій Ивановичъ и Пульхе-

рія Ивановна. Полная безсознательность, какъ бы дѣтская, ранняя; полная для насъ неуловимость движенія,—и все таки это не бытъ, а если и не жизнь—то *потенція жизни*, ибо тутъ неприкосновенно сохранена личность. Нарочно беру такой спорный примѣръ, такую, казалось бы, явную бытовую картину. А приглядимся—и увидимъ, что быта нѣтъ. Гдѣ семейная волна, самозабвеніе родителей ради устроенія условнаго счастія дѣтей, гдѣ общность житейскости съ сосѣдями и со средой, гдѣ невольное къ ней подлаживанье, ради угоды закону „какъ всѣ“? Ничего этого нѣтъ. Есть Аѳанасій Ивановичъ и Пульхерія Ивановна, ихъ безсознательно мудрый, полу-языческій взглядъ на міръ, схожій, но отдѣльный у каждаго; изъ схожести, изъ сближенности—выросла ихъ любовь, ихъ стройныя, чуждыя быта, ихъ собственныя отношенія. Они оба почти одинаково чувствовали міръ-Бога-смерть—и это вылилось въ сходности ихъ смерти. У нихъ было все *свое*, особенное, не подчиненное законамъ быта, и ни одинъ изъ этихъ дѣтей не потерялъ себя, не заснулъ, ни къ чему никогда *не привыкъ*. Они до такой степени не привыкли другъ къ другу, такъ

свѣжо, до смерти, любили, что даже супружеское „ты“ у нихъ не вышло. „Вы, Аѳанасій Ивановичъ“. „Вы, Пульхерія Ивановна“...

Вотъ бытовой, исключительно бытовой, звѣрь—привычка! Она—„замѣна счастью“, это правда, подмѣна счастья; но дана ли она намъ „свыше“... это еще вопросъ. Врядъ ли была бы тогда у каждаго *живущаго* такая инстинктивная къ ней ненависть, отвращеніе, смѣшанное со страхомъ. Потомъ, когда она зацѣпитъ незамѣтно и заѣстъ—уже все равно; привыкаешь и къ привычкѣ: и только въ секунды просвѣтленія сознаешь, чего она тебя лишила.

Возвращаясь къ началу, къ Чехову и Достоевскому, видимъ, какъ Достоевскій былъ „безпривыченъ“. Дерево не можетъ привыкнуть къ огню: оно сгораетъ. А Чеховъ не горѣлъ и не сгоралъ. Онъ могъ бы томиться еще безконечно, и все тѣмъ же томленіемъ; все тѣмъ же голосомъ говоря намъ о томъ же. Его „первое“, т. е. его собственный взглядъ на міръ,—его отношеніе къ Богу,—не двигалось впередъ, а постепенно затиралось, обезличивалось; потому и отношеніе его къ людямъ,

при всей тонкости, становилось общимъ и неподвижнымъ. А вѣдь не надо забывать, что и въ моемъ первомъ, т. е. вотъ именно въ отношеніи къ міру-Богу, не можетъ быть неподвижности. Оно все уясняется, все опредѣляется, все растетъ и ширится; сближаетъ растущей близостью съ близкими; толкаетъ волю впередъ, ко всѣмъ событіямъ, на всѣ событія, ибо лишь пройдя всѣ, — мы достигнемъ исполненія всего, окончательнаго и желаннаго окончанія пути, великаго Конца.

Бытъ же всегда равенъ себѣ, всегда сонъ, всегда лишь этапъ. Если въ иные періоды исторіи онъ отступалъ передъ жизнью, какъ бы стирался и гасъ, если кому-нибудь кажется, что онъ гаснетъ и теперь — слава Богу! Усиливается, ускоряется полетъ жизни, ближе ея исполненіе. Новыя формы быта насъ радуютъ, лишь какъ знакъ новаго, слѣдующаго этапа.

Но тѣ, кто не усталъ, пусть не останавливаются и на немъ. Пока мы живы — будемъ жить, будемъ жизнью разрушать бытъ около насъ. Мы идемъ навстрѣчу событіямъ. И событія будутъ!

Всѣ противъ всѣхъ

I

Какъ всякое явленіе въ литературѣ слишкомъ новое и независимое, „Вопросы жизни“, молодой журналъ, издающійся съ прошлаго года въ Петербургѣ, у насъ тщательно и недружелюбно замалчиваютъ.

Тутъ сказывается умственный консерватизмъ нашихъ радикаловъ.

Нѣтъ сомнѣнія, что „Вопросы Жизни“— органъ прогрессивный, „красный“, болѣе яркаго краснаго цвѣта, чѣмъ наши румянные или только нарумяненные, постепенно линяющіе, блѣдно-розовые либеральные старички, которые тщетно стараются сохранить неизмѣннымъ цвѣтъ лица своего и цвѣтъ своихъ мыслей съ блаженной памяти шестидесятыхъ годовъ. Боязливымъ и недовѣрчивымъ взоромъ косятся они на своего юнаго собрата:—не ко двору ты намъ, Богъ съ тобой. Метафизика, мистика, религія—

все это реакціей попахиваетъ. Нѣтъ, ужъ лучше мнѣ по старинкѣ...

И проходятъ мимо, нѣсколько павшею на ноги, но все еще молодцоватою поступью, какъ настоящіе генералы, а за генералами слѣдуетъ армія, удивительно пріученная военной дисциплинѣ.

А жаль, потому что новый журналъ—очень серьезное, не только литературное, но и общественное явленіе.

Если бы нужно было опредѣлить его двумя словами, то можно бы сдѣлать это формулой: переходъ отъ позитивной къ религіозной общественности.

Задача—въ высшей степени трудная. Тутъ прежде всего трудность теоретическая—сопротивленіе всей русской и европейской общественности, которая вся насквозь въ своемъ сознательномъ или безсознательномъ уклонѣ—антирелигіозна; сопротивленіе всего историческаго христіанства, которое все насквозь антисоціально, противообщественно, а если и общественно, то въ самомъ жалкомъ реакціонномъ смыслѣ.

Еще неодолимѣе трудность практическая, особенно у насъ, въ Россіи, гдѣ связь религіи съ реакціей—не отвлеченная, а самая

реальная, кровная, иногда кровавая. Говорить о ней все равно, что говорить о веревкѣ въ домѣ повѣшаннаго.

Чтобы разрубить этотъ проклятый Гордіевъ узелъ, нужны не только сильныя, но и чистыя руки; чтобы преодолѣть этотъ низменный реализмъ, нуженъ высокій идеализмъ въ самомъ благородномъ смыслѣ этого слова; наши „идеалисты“ были настоящими идеалистами, именно въ этомъ смыслѣ. Вѣроятно, злѣйшіе враги ихъ, отъ которыхъ они претерпѣли столько несправедливыхъ гоненій вплоть до обычнаго укора въ политическомъ отступничествѣ,—согласятся, по крайней мѣрѣ, въ тайнѣ совѣсти своей, что у нашихъ идеалистовъ руки были въ достаточной степени чисты для этого чистаго дѣла. И каковъ бы ни былъ успѣхъ или неуспѣхъ, уже самый починъ имѣетъ великое значеніе, которое рано или поздно будетъ оцѣнено по достоинству. Такія усилія не могутъ пропасть даромъ.

Другое достоинство „Вопросовъ Жизни“—культурность. Въ журналистикѣ нашей издавна повелось такъ, что вѣчныя культурныя цѣнности—наука, философія, искусство, художественная литература—прино-

сятся въ жертву не только вѣчнымъ, но и временнымъ злободневнымъ, политическимъ цѣлямъ, „тактикѣ и практикѣ“, по выраженію Бакунина. Слишкомъ строго судить за это нельзя, потому что въ Россіи отъ политики дѣйствительно зависитъ все, и тутъ бѣда не столько въ томъ, что культурой жертвуютъ политикѣ, сколько въ томъ, что это дѣлаютъ съ черезчуръ легкимъ сердцемъ, безъ достаточнаго сознанія, какъ велика и отвѣтственна жертва. Этого грѣха на „Вопросахъ Жизни“ нѣтъ; для нихъ культура не только средство, но и цѣль, не только орудіе политики, но и самостоятельная, вѣчная цѣнность. Отъ того, что есть, журналъ стремится къ тому, что должно быть, къ тому, чтобы не культура служила политикѣ, а, наоборотъ, культурѣ—политика.

Въ виду этихъ двухъ достоинствъ, общественнаго и культурнаго, можно сказать съ увѣренностью: „Вопросы Жизни“—лучшій изъ русскихъ журналовъ.

II

Таковъ активъ, теперь подведемъ и пассивъ.

По всей вѣроятности, сами руководители „Вопросовъ Жизни“ сознаютъ, что религіозная общественность для нихъ только благое пожеланіе, pium desiderium, а не совершившійся фактъ. Между религіозной и общественной стороной журнала существуетъ неразрѣшенное, можетъ-быть, неразрѣшимое противорѣчіе.

То, что внутреннія обозрѣнія г. Штильмана, которыя, главнымъ образомъ, и придаютъ радикальное направленіе журналу, не имѣютъ никакого отношенія къ его религіозному существу — это бы еще съ полгоря. Тутъ противорѣчіе слишкомъ явное, внѣшнее; опаснѣе противорѣчія внутреннія въ самомъ этомъ религіозномъ существѣ и, наконецъ, всего опаснѣе тѣ внѣшнія, преждевременныя и обманчивыя соглашенія, которыми прикрываются болѣе или менѣе удачно эти противорѣчія.

Одно изъ нихъ—„христіанская политика“ С. Н. Булгакова. Я не сомнѣваюсь и въ томъ, что онъ искренній политикъ; но я не вижу, чѣмъ христіанство измѣнило его политику, и чѣмъ политика измѣнила его христіанство. Какими были они врозь, такими и продолжаютъ быть вмѣстѣ. До своего хри-

стіанскаго обращенія, Булгаковъ былъ политическимъ радикаломъ, и точно такимъ же радикаломъ остался и послѣ. Произошло соединеніе не внутреннее, органическое, а внѣшнее, механическое, даже не соединеніе, а соединствованіе, въ которомъ оба начала взаимно непроницаемы. Сколько ни взбалтывай и ни смѣшивай масла съ водою, стоитъ имъ устояться, чтобы вода опустилась, а масло всплыло наверхъ: они рядомъ, но не одно.

Во всей политической дѣятельности Булгакова чувствуется нѣсколько неуклюжая, неповоротливая, но большая умственная и нравственная сила. Онъ умѣетъ хотѣть того, чего хочетъ: это въ наши дни рѣдкое свойство. Но въ душевномъ складѣ его есть черта опасная: отсутствіе всякой внутренней трагедіи, чрезмѣрное умственное благополучіе. Вся его трагедія внѣшняя—несоотвѣтствіе идеала съ дѣйствительностью. Когда Булгаковъ говоритъ, то кажется, вокругъ него плохо, а въ немъ самомъ какъ нельзя лучше. Ему спокойно за Вл. Соловьевымъ, какъ за каменной горою. Пиѳагорейское—ipse dixit, самъ сказалъ—ограждаетъ ученика отъ всякихъ умственныхъ треволненій и

бурь. Гете замѣтилъ, что человѣку, чтобы вступить во владѣніе духовнымъ наслѣдствомъ, недостаточно получить его отъ предковъ, надо и самому пріобрѣсти снова. Иногда кажется, что Булгаковъ получилъ отъ Вл. Соловьева наслѣдство, но самъ не пріобрѣлъ его, не выстрадалъ. Я говорю: кажется,—потому что, на самомъ дѣлѣ, подъ этимъ внѣшнимъ благополучіемъ, можетъ-быть и совершается внутренняя трагедія, только мы ее не видимъ, онъ самъ ее не видитъ, скрываетъ отъ себя и отъ другихъ, открещивается отъ нея. И напрасно дѣлаетъ. Если сѣмя не умретъ, то не оживетъ. Мы знаемъ, чѣмъ Булгаковъ живъ, но отъ чего онъ умеръ—не знаемъ. Или онъ жилъ, не умирая?

Булгаковъ и Бердяевъ—это уже не вода и масло, а вода и огонь. Только совершеннымъ невниманіемъ къ литературной личности обоихъ писателей можно объяснить то, что наша критика соединила ихъ въ неразлучную парочку какихъ-то Сіамскихъ близнецовъ идеализма. Если Булгаковъ опасно здоровъ, то Бердяевъ опасно боленъ; если у Булгакова—отсутствіе трагедіи, чрезмѣрное благополучіе, то у Бер-

дяева такая трагедія, что за него страшно—выйдетъ ли онъ живъ изъ нея. Это та же самая трагедія, какъ у всѣхъ главныхъ героевъ Достоевскаго отъ Ставрогина до Ивана Карамазова: безконечное раздвоеніе ума и сердца, воли между бездною верхнею и нижнею, между „идеаломъ Мадонны и идеаломъ Содомскимъ“, какъ выражается Дмитрій Карамазовъ. Для того, чтобы достигнуть религіознаго соединенія, надо пройти до конца эту трагедію метафизической двойственности; но горе тому, кто слишкомъ долго на ней останавливается, кому она слишкомъ нравится. Бердяевъ отъ нея страдаетъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ любитъ ее,—чѣмъ больше страдаетъ, тѣмъ больше любить. Ищетъ выхода, но если бы нашелъ его, то, можетъ-быть, не захотѣлъ бы, предпочелъ трагическую безвыходность. Онъ видитъ весь ужасъ того, что съ нимъ происходитъ, но ужасъ для него сладостенъ, можетъ-быть, сладостнѣе спасенія. Какъ у эстетовъ—искусство для искусства, такъ у Бердяева—трагедія для трагедіи.

Булгаковъ остановился на Вл. Соловьевѣ и не хочетъ или не можетъ итти дальше. Бердяевъ какъ будто вѣчно куда-то идетъ,

а на самомъ дѣлѣ только ходитъ, движется однообразнымъ круговымъ движеніемъ на собственной оси, колеблется, какъ маятникъ, справа налѣво, слѣва направо, отъ Ормузда къ Ариману, отъ Аримана къ Ормузду—и такъ безъ конца, пока ось не перетрется, или пружина маятника не лопнетъ, тогда онъ остановится на той самой точкѣ, съ которой началось это никуда не приводящее, неподвижное движеніе.

О Бердяевѣ можно сказать то же, что Кириловъ говоритъ о Ставрогинѣ: „когда онъ вѣритъ, то не вѣритъ, что вѣритъ, а когда не вѣритъ, то не вѣритъ, что не вѣритъ“.

По нѣкоторымъ признакамъ, я надѣюсь, что Бердяевъ, наконецъ, преодолѣетъ свою трагедію,—сорвется со своей оси и устремится уже окончательно вправо или влѣво, къ Ормузду или Ариману. Я даже надѣюсь, что онъ пойдетъ именно туда, куда слѣдуетъ, вправо, а не влѣво. И тогда только покажетъ, на что способенъ, и какая религіозная сила была связана въ этомъ трагическомъ безсиліи двойственности. Тогда, можетъ-быть, и для Булгакова онъ будетъ нужнѣе, чѣмъ кто-либо, а пока—нѣтъ че-

ловѣка болѣе ненужнаго, болѣе вреднаго для Булгакова, чѣмъ Бердяевъ, и для Бердяева, чѣмъ Булгаковъ. Кажется, лучшее, что они могли бы сдѣлать сейчасъ—это вступить въ открытый умственный поединокъ на жизнь и смерть: можетъ быть, слишкомъ благополучный монизмъ Булгакова раскололся бы, столкнувшись со слишкомъ неблагополучнымъ дуализмомъ Бердяева и отъ удара этихъ двухъ скрещенныхъ шпагъ зажглась бы искра того подлиннаго, религіознаго огня, который такъ нуженъ обоимъ. А ѣсть съ одного блюда, спать на одномъ ложѣ, подобно Сіамскимъ близнецамъ, внутренно будучи на ножахъ,—надо удивляться, какъ это имъ обоимъ, наконецъ, не опротивѣло.

Такой же дурной миръ, который хуже доброй брани, какъ между Булгаковымъ и Бердяевымъ,—между Бердяевымъ и Волжскимъ, между Шестовымъ и Вяч. Ивановымъ, между всѣми идеалистами и всѣми христіанами, между христіанами и декадентами, между декадентами и общественниками. Многіе даже не видятъ другъ друга въ лицо, но, если бы увидѣли, то возненавидѣли бы. Каждый за себя, и всѣ противъ всѣхъ.

III

А, можетъ-быть, и хуже того: не всѣ противъ всѣхъ, а никому ни до кого дѣла нѣтъ, и „Вопросы жизни“—не будущее поле сраженія, а самая спокойная, удобная квартира, великолѣпныя меблированныя комнаты „для солидныхъ жильцовъ“ или изящная гостиница въ „новомъ стилѣ“. Жильцы сидятъ у себя, всякій въ своемъ отдѣльномъ углу. У себя они свободны дѣлать, что угодно, лишь бы не безпокоили черезъ стѣны сосѣдей. Внутреннихъ дверей между комнатами нѣтъ,—всѣ двери въ корридоръ. При входѣ жильцы рѣдко встрѣчаются. И черезъ стѣны, дѣйствительно, не безпокоятъ другъ друга. Можетъ-быть, многіе и не интересуются, кто живетъ рядомъ,—лишь бы своя комната была прибрана. Большой залъ приспособленъ подъ „общественниковъ“. Ихъ живетъ нѣсколько вмѣстѣ и не ссорятся. А дальше все номера, роскошные „отдѣльные кабинеты“ скептиковъ и уютныя спаленки, келійки мистиковъ. Какъ и почему въ этой же квартирѣ очутилось „отдѣленіе изящной литературы“, и самой новѣйшей, въ подавляющемъ боль-

шинствѣ, декадентской (Сологубъ, Ремизовъ, Блокъ),—совершенная загадка. Ни одинъ декадентъ, я думаю, и мимо двери Бердяевской комнаты не проходилъ, о залѣ „общественниковъ“ и говорить нечего. Декадентъ одинаково не подозрѣваетъ существованія индивидуалистовъ и общественниковъ и даже другого сосѣдняго декадента. Ему бы на зеленый лугъ съ беклиновскими кипарисами, нимфами и кентаврами,—а онъ—въ меблированныхъ комнатахъ. Впрочемъ, ему все равно. Здѣсь такъ здѣсь. Ему никто не мѣшаетъ.

Единственный въ „Вопросахъ Жизни“, кто добросовѣстно соединяетъ несоединимое, правда, не столько людей и понятія, сколько слова, это—г. Чулковъ; при чемъ, безъ всякаго злого умысла, а какъ-то невинно и нечаянно онъ самыя юныя и чистыя изъ нихъ лишаетъ дѣвственности. Было, напримѣръ, юное слово: анархизмъ и другое еще болѣе юное: мистицизмъ; г. Чулковъ соединилъ ихъ—и получился „м и с т и ч е с к і й а н а р х и з м ъ“. Что это такое? Казалось бы, сочетаніе такихъ противоположныхъ крайностей должно произвести нѣчто въ высшей степени опасное, взрывчатое, въ

родѣ бомбы, начиненной динамитомъ. Ничуть ни бывало. Получился не динамитъ, а очень пикантное, новое, литературное кушанье, пряный соусъ, отъ котораго можетъ слегка разстроиться желудокъ, но ужъ, конечно, никакого взрыва не произойдетъ. Дѣло въ томъ, что г. Чулковъ стряпаетъ свои соединенія не въ лабораторіи взрывчатыхъ веществъ, а въ самой безопасной, усовершенствованной гигіенической кухнѣ. Здѣсь, въ одной кострюлькѣ, съ наивной старательностью, варитъ онъ мистицизмъ съ декадентствомъ, софіанство Вл. Соловьева съ оргіазмомъ Вяч. Иванова и посыпаетъ ихъ сахаромъ соціализма, думая, что это анархическая соль. Но бѣда не велика, сойдетъ и сахаръ за соль, вѣдь все хозяйство въ „новомъ стилѣ“, такъ что всѣ ко всему готовы, и никто ничему не удивляется. Вотъ, развѣ, только въ общемъ корридорѣ, который плохо провѣтривается, потому что всѣ двери въ номера всегда плотно заперты,—иногда слишкомъ пахнетъ Чулковскою кухнею...

Я смѣюсь, но мнѣ грустно. Я люблю „Вопросы Жизни“, уже потому люблю, что въ нихъ есть и моего меду капля. Они выросли на могилѣ „Новаго Пути“. Но, любя

„Вопросы Жизни“, я не знаю, чего бы жслать имъ больше, счастливаго долгоденствія или скораго трагическаго конца, можетъ-быть, даже самоубійственнаго. Кажется, я предпочелъ бы для нихъ послѣднее, именно потому, что я ихъ люблю. Ну что за радость, въ самомъ дѣлѣ,—въ этомъ смѣшеніи языковъ, внутренней войнѣ всѣхъ противъ всѣхъ подъ внѣшнимъ благополучіемъ меблированныхъ комнатъ? Есть прекрасный журналъ, или вѣрнѣе, есть рядъ прекрасныхъ альманаховъ-сборниковъ подъ общимъ заглавіемъ, но нѣтъ дѣйствительно-о б щ а г о, общественнаго и религіознаго дѣла. Ужъ пусть бы лучше всѣ участники этого мнимаго дѣла разошлись окончательно; тогда, можетъ-быть, нѣкоторые изъ нихъ впослѣдствіи и вернулись бы другъ къ другу и сошлись бы тоже окончательно.

По всей вѣроятности, для такого новаго соединенія „Вопросы Жизни“ непригодны, и нуженъ совсѣмъ новый журналъ, новое дѣло. Оно, впрочемъ, и естественно: нельзя же вѣчно задавать „вопросы“; въ іюнѣ—„вопросы“, въ іюлѣ—„вопросы“, въ августѣ—„вопросы“; надо же когда-нибудь и отвѣтить.

Будемъ надѣяться, что отвѣтомъ на „Вопросы Жизни“ будетъ вѣстникъ жизни, дѣло еще не родившееся, но уже зачатое, которому и слѣдуетъ отъ всего сердца, не какъ близкому только, а какъ своему собственному родному дѣлу, сказать: Богъ въ помощь!

Декадентство и общественность

I

Повсюду пошла такая чепуха, такъ все завертѣлось и перепуталось, что никто ничего не понимаетъ. Слова—совершенно утратили свой первый смыслъ. Произнесешь какое-нибудь и надо спросить: а что вы подъ этимъ разумѣете? Я—то-то и то-то. Условимся сначала.

Какъ-то мнѣ довелось присутствовать при спорѣ трехъ людей объ аскетизмѣ. Одинъ его отрицалъ, другой допускалъ, третій горячо утверждалъ. Спорили „долго, до слезъ напряженья“, какъ пишетъ Надсонъ, а въ концѣ концовъ оказалось, что всѣ слезы были пролиты даромъ: каждый изъ спорщиковъ подъ словомъ „аскетизмъ“ понималъ совсѣмъ не то, что его сосѣдъ. Если бы спорящихъ было не трое, а три

десятка—весьма возможно, что и тутъ каждый кричалъ бы лишь о своемъ „аскетизмѣ“.

Конечно, начать добираться до корня вещей и переопредѣлять значеніе всякаго слова — невозможно; рискуешь никогда не кончить. Но все-таки не мѣшаетъ условиться, какое именно понятіе будешь называть тѣмъ или другимъ словомъ.

Что-же такое „общественность“?

Не вдаваясь въ сложности и частности, въ оттѣнки и переходы, „общественностью“ я прежде всего назову соединенность человѣческихъ интересовъ, т.-е. превращенія ихъ во что-то единое,—и соединенныя человѣческія усилія по направленію къ этому единому.

Толпа людей вытаскиваетъ по серединѣ дороги возъ изъ грязи. Правые могутъ, пожалуй, поссориться съ лѣвыми, будутъ кричать, что нужно тащить не такъ, —отсюда, а не оттуда; одни, пожалуй, будутъ мѣшать другимъ; но все-таки возъ у нихъ одинъ, всѣмъ имъ нужно вытащить, и они ссорятся или дружатъ,—все таки вмѣстѣ и всѣ какъ-то къ одному этому общему возу относятся. Въ „общественность“ вѣдь вхо-

дитъ и „общественная борьба“, не одно „общественное согласіе“.

Но надо сказать правду: общественность такая, въ одномъ этомъ понятіи,—еще не общественная жизнь; то-есть именно жизнь-то, вся, и не можетъ включиться въ такую общественность. Между людьми столько же общаго, сколько разнаго. Нашей, ревнивой, узкой „общественности“ нечего дѣлать съ различіями человѣческими. И чуть начинается „общественность“—начинается уклонъ къ превращенію людей въ стадо, въ толпу, живущую только однимъ этимъ общимъ возомъ, общими, относительно воза, согласіями или несогласіями.

„ . . . . Личности стирались, родовой типизмъ сглаживалъ все рѣзко индивидуальное, безпокойное, эксцентрическое. Люди, какъ товаръ, становились чѣмъ-то гуртовымъ, дюжиннымъ, дешевле, плоше врозь, но многочисленнѣе и сильнѣе въ массѣ. Индивидуальности терялись, какъ брызги водопада, въ общемъ потопѣ, не имѣя даже слабаго утѣшенія „блеснуть и отличиться, проходя полосой радуги“. Отсюда противное намъ, но естественное равнодушіе къ жизни ближняго и судьбѣ лицъ:

дѣло въ типѣ, дѣло въ родѣ, дѣло въ дѣлѣ—а не въ лицѣ. Сегодня засыпало въ угольной копи сто человѣкъ, завтра будутъ засыпаны пятьдесятъ, сегодня на одной желѣзной дорогѣ убито десять человѣкъ, завтра убьютъ пять... и всѣ смотрятъ на это, какъ на частное зло. Общество предлагаетъ страховаться... что же оно можетъ больше сдѣлать?... Въ перевозимомъ товарѣ, оттого, что убили чьего-нибудь отца или сына, недостатка не можетъ быть: въ живыхъ снарядахъ для углекопей тоже. Нужна лошадь, нуженъ работникъ, а ужъ именно саврасая ли лошадь или работникъ Анемподистъ—совершенно все равно. Въ этомъ в с е р а в н о вся тайна замѣны лицъ массами, поглощеніе личныхъ самобытностей родомъ". (Г е р ц е н ъ).

Вотъ этой-то замѣной лицъ массами и оканчивается „общественность", гдѣ люди, соединяясь, чувствуютъ себя главнымъ образомъ и даже только—толпою, компактной массой, гдѣ уже ничего не разберешь и никого не различишь. Невольно и безсознательно люди сами подрѣзаютъ и подчищаютъ свои особенности, свои различія, не хотятъ и знать о нихъ, отрекаются отъ

нихъ, во имя общности. А, между тѣмъ, это именно отреченіе и ведетъ общность, въ концѣ концовъ, къ погибели.

Въ „общности“ не вся правда жизни, а лишь половина правды. Другая половина, обратная—но тоже лишь половина,—у тѣхъ людей, которыхъ мы теперь называемъ „индивидуалистами“.

II

Ихъ все больше и больше въ послѣднее время. Сознаніе личности обостряется, вопреки всему, растетъ и—какъ будто раздѣляетъ людей, отвлекаетъ ихъ отъ общей работы, отъ самаго сознанія ихъ общности. Но это лишь кажущееся раздѣленіе. Лишь временное.

Индивидуалистъ (говорю о настоящемъ, не о „декадентахъ“, о нихъ рѣчь впереди) понялъ или, можетъ быть, почуялъ, что человѣчество — не компактная однородная масса,—но мозаичная картина, гдѣ каждый кусочекъ долженъ быть не похожъ на другой, разнится и по формѣ, и по цвѣту, и по размѣру, а между тѣмъ каждый все-таки необходимъ для общаго, прилегаетъ плотно и цѣльно на своемъ мѣстѣ.

Но вѣдь нужно знать свое мѣсто, увидѣть свою форму и цвѣтъ,—только тогда можно сложиться въ одну картину, а не свалиться въ общую кучу. Индивидуалисты и отрываются отъ „человѣчества“, съ муками выкарабкиваются изъ кучи. Индивидуалистъ не можетъ не отдѣлиться, хотябы на мгновеніе—онъ долженъ почувствовать свою отдѣльность, имѣть ее въ себѣ всю,—и только для того, чтобы дѣйствительно найти свое отдѣльное, ему одному соотвѣтственное мѣсто въ истинной общности.

Дѣйствительное сознаніе „личности“ не уничтожаетъ сознаніе „человѣчества“. Чѣмъ глубже познается различность, тѣмъ ярче ощущается единство, общность.

Этотъ моментъ отхожденія отъ общаго въ личное, въ себя, жизнь въ отдѣльности, въ своей только отличности—и есть полуправда, обратная половинѣ правды теперешнихъ „общественниковъ“. Какъ разъ этотъ моментъ перелома жизненной правды на двое очень ярокъ теперь; это наше „настоящее“.

И происходитъ великое, мучительное смѣшеніе, трагическая чепуха. Индивидуалисты

еще не видятъ другъ друга, обособившись, и ненавидятъ стадную общественность, отъ которой оторвались, жаждутъ иной—и не находятъ; общественники уже совсѣмъ лютой ненавистью ненавидятъ индивидуалистовъ, не понимая ихъ вовсе, смѣшивая съ декадентами, которые сами совершенно ни съ кѣмъ не смѣшаны и даже не могутъ смѣшаться. И вотъ — нелѣпость нагромождается на нелѣпость. Брань на брань. Боль на боль. Кровь на кровь. Крикъ одиночества покрывается ревомъ стада. Ничего не разберешь. Ничего не различишь. Соединяются, сходятся внѣшнимъ образомъ люди, которые дальше другъ отъ друга по существу, нежели я въ эту минуту отъ какого нибудь негра въ Южной Америкѣ. Не умѣютъ увидать друга друга тѣ, кто должны бы и могутъ быть вмѣстѣ.

Дѣло, въ корнѣ личное—центростремительное—уродливо пытается нарядиться въ общественныя одежды, жалко выскакиваетъ на площадь. Напротивъ, дѣла по самому смыслу своему общія, общественныя—центробѣжныя — являются какой-то гримасой на общность, точно куча бревенъ навалена, которая наивно думаетъ, что она—лѣсъ.

Былъ-бы живъ Герценъ—какъ онъ кричалъ бы, съ какой утроенной силой, что „все къ худу“. Къ худу стадная общественность. Къ худу индивидуалисты съ ихъ оторванностью, декаденты съ ихъ невинной косностью, одинаковая тупость безсмысленнаго сна и безсмысленной крови, голодъ и сытость, благополучіе и страданіе, все, все къ худу. Вѣра въ доброе вопреки всему—жалкая иллюзія; надо „знать и видѣть“, и Герценъ видѣлъ бы и зналъ, что это удушливое и невѣроятное смѣшеніе—ко всеобщему послѣднему худу, и даже это послѣднее худо уже и начинается.

Впрочемъ,—не случайность-же, что онъ этого не видитъ. Не случайность, что онъ жилъ въ свое, а не въ наше время. А живи онъ теперь,—не видѣлъ ли бы теперешній Герценъ дальше тогдашняго? И не сказалъ ли бы онъ,—тотъ-же, только чуть-чуть не тотъ, — потому что теперешній: „да, худо, худо, но именно это худо не къ худу, а ко благу. Эта болѣзнь не къ смерти. Больно—но это крылья ростутъ. Теперь вижу“.

III

Приглядимся, однако, поближе къ нашей всеобщей чепухѣ, разсмотримъ хоть одинъ

краешекъ ея, возьмемъ одну изъ безчисленныхъ областей ея, а изъ этой области, еще и еще съузивъ, одинъ какой-нибудь конкретный примѣръ.

Взглянемъ хоть на декадентовъ: какое мѣсто занимаютъ они посреди разгорающейся борьбы между „человѣчествомъ“ и „человѣкомъ“, между этими двумя враждующими до времени половинами одной правды,— и занимаютъ ли декаденты дѣйствительно какое-нибудь мѣсто?

Я буду говорить о литературѣ, и даже очень узко, и о декадентахъ литературныхъ, но это еще вовсе не значитъ, что декадентъ— явленіе, главнымъ образомъ, литературное, или вообще причастное непремѣнно къ области искусства. Декадентъ, какъ и „общественникъ“ или „индивидуалистъ“, можетъ быть гдѣ-угодно, кѣмъ-угодно: швейцаромъ, чиновникомъ особыхъ порученій, монахомъ, земскимъ врачемъ, министромъ, фабричнымъ рабочимъ, королемъ, лавочникомъ, поэтомъ. Причастные къ тому или другому искусству болѣе доступны для наблюденія, болѣе выражается у этихъ послѣднихъ особый характерный, декадентскій строй души.

Декаденты — въ своемъ родѣ скопцы,

„отъ чрева матерняго рожденные такъ“. Рожденный скопцомъ—не виноватъ; не виноватъ и декадентъ, рожденный безъ одного изъ самыхъ коренныхъ свойствъ человѣческой души: чувства, неоспоримаго, какъ знаніе, что я не одинъ въ мірѣ, но окруженъ мнѣ подобными. Это вѣдь такъ же примитивно и обще-естественно, какъ имѣть носъ, два глаза, двѣ руки, имѣть зрѣніе, слухъ—пять обычныхъ чувствъ. Декадентъ рожденъ безъ этого чувства,—точно рожденный безъ слуха. И сколько бы вы ему ни объясняли звуки—онъ о нихъ никогда ничего не пойметъ, и даже не повѣритъ, какъ слѣдуетъ, что они есть, потому что для вѣры все-таки нужно, чтобы на нее какъ-то отвѣчало внутреннее существо,—было чѣмъ отвѣтить, хотя бы въ самой темной глубинѣ существа. Индивидуалистъ, съ какою бы болью не отрывался отъ компактной массы человѣчества, какъ бы ни проклиналъ „стадную“ общественность — онъ ее понимаетъ, видитъ; и проклинаетъ-то во имя другой, новой, во имя (пусть безсознательно) соединенія двухъ половинъ одной правды. То есть во имя „общей жизни“, безъ которой ему дышать трудно. Такъ же,

какъ и у „стаднаго“ общественника, нѣтъ-нѣтъ, да и заворочается въ душѣ задавленное, но всегда готовое къ бунту чувство личности. Индивидуалистъ обостряетъ свое сознаніе личности на никогда ему не измѣняющей почвѣ чувства общности, связанности съ другими личностями. У декадента нѣтъ этой почвы, нѣтъ никакого чувства общности, связанности,—ни малѣйшаго. Онъ просто не подозрѣваетъ, что есть другіе, кромѣ него. Не имѣя нужной почвы, фона — онъ не имѣетъ, въ собственномъ смыслѣ слова, и сознанія личности. Нечего ему и обострять. У него есть лишь ощущеніе личности, неподвижное, округленное, самодовлѣйное и слѣпое. Зрячимъ ему быть и не нужно, вѣдь личность эта всегда останется равной себѣ и одинаковой; вѣдь она не можетъ стать въ соотношеніе ни съ какой другой, потому что другой—нѣтъ.

Есть-ли это дѣйствительно „личность“ и какая цѣна такой личности, реальное ли это бытіе личности — другой вопросъ, да кажется, даже и не вопросъ: слишкомъ легко на него отвѣтить. Но мы этого не касаемся. Мы лишь изслѣдуемъ.

Настоящій, цѣльный декадентъ, „отъ чрева матерняго“ —во истину „дитя природы“. Если онъ такъ или иначе воплощаетъ въ какую-нибудь форму свои переживанія духовныя, душевныя, выявляетъ ихъ—онъ дѣлаетъ это какъ человѣкъ, который идетъ одинъ одинешенекъ по лугу и поетъ пѣсню. Идетъ и поетъ. Если случайно за лѣсомъ проѣзжали — пѣсню слышали. Но пѣвецъ не узнаетъ объ этомъ никогда. Онъ пѣлъ одинъ.

Ищу мою отраду
Въ себѣ, себя любя,
И эту серенаду
Слагаю для себя.

Или, очень близкія этимъ строки, того же автора, черезъ много лѣтъ:

Я самъ найду мою отраду,
Здѣсь все мое, здѣсь только я.
Затеплю тихую лампаду...
Люблю ее. Она моя.

Кто заглянетъ въ окно—увидитъ лампаду, потому что она теплится. Но кому заглянуть? Никого нѣтъ.

„Я вольный вѣтеръ, вѣтеръ, вѣтеръ“... переливается Бальмонтъ въ лучшихъ сво-

ихъ, наиболѣе цѣльныхъ, стихотвореніяхъ. Нѣжный Блокъ изъ новѣйшихъ все поетъ себѣ самому про къ нему одному приходящую, имъ однимъ видѣнную „Царицу“, „Дѣву“... Видитъ себя и ее, для себя и для нея слагаетъ гимны. Самъ всегда поймешь, что поешь,—поймешь, что хочешь сказать, когда говоришь; пойметъ и Царица, потому что, вѣдь и она—Блокъ-же; достаточно брошенныхъ намековъ, недоказанныхъ образовъ, полу-воплощенныхъ движеній души, знаковъ, почти не словъ; и поэтому декадентская поэзія—не то, что не поэзія, но, при всей ея глубокой, иногда святой искренности — полупоэзія, полуискусство. Она — полупроявленное нѣчто, она — наполовину рожденный ребенокъ, недоносокъ—въ громадномъ большинствѣ случаевъ.

Есть декаденты-поэты хорошіе и дурные; есть голоса громкіе и слабые. Громкій голосъ скорѣе долетитъ до случайно проѣзжающаго за лѣсомъ. Можетъ быть проѣзжающій и скажетъ: „какой славный голосъ. Какая хорошая пѣсня“. Но это—случайность, которой могло и не быть. Пѣвецъ пѣлъ для себя, и проѣзжающаго такъ не видѣлъ, какъ будто его и не было.

„Городъ, лѣса, закаты, фабричныя трубы, желѣзная дорога, облака, люди,—все это одно. Я—это другое. То,—людей, облака и трубы,—я наблюдаю, и оно вокругъ меня равномѣрно расположено,—а это, себя, я ощущаю. Такимъ образомъ реально существую лишь я одинъ“.

Ясно, что при этомъ врожденномъ недостаткѣ души не можетъ быть ни борьбы, ни паденій, ни возстаній, никакого движенія, кромѣ какъ по кругу. И никакихъ достиженій. Какая же борьба, когда нѣтъ противника. Какая общественность, если нѣтъ никого, и никого тебѣ не нужно. И зачѣмъ особенно стараться выразить полнѣе свою душу? Она есть, и все въ ней уже выражено. Иди и пой,—лугъ зеленъ, ты одинъ,—иди и пой, если поется.

Поется—а потому такъ много декадентовъ въ поэзіи, въ литературѣ и во всякомъ искусствѣ. Много подлинныхъ, много и поддѣльныхъ подражателей формы, недосказанностей и намековъ. Но подражателей, фальсификаторовъ вездѣ много. Всякая искренность можетъ быть взята со внѣ, какъ мода.

Я говорю о правотѣ настоящихъ, такъ

рожденныхъ, декадентовъ, но, конечно, жаль мнѣ и страшно, что они теперь, поддерживаемые и окруженные тьмой подражателей и фальсификаторовъ, такъ всецѣло завладѣли поэзіей и литературой, что уже вся она какъ бы выпадаетъ изъ общественности. Почти вся поэзія и литература, поскольку она декадентская,--внѣ движенія исторіи, человѣчества, внѣ борьбы между „мы“ и „я“; ни она, эта литература, не имѣетъ отношенія къ движенію жизни и мысли, ни жизнь къ ней. Я говорю про литературу—искусство, про ея уклонъ.

Какъ же это случилось? При всеобщей чепухѣ, смѣшеніи, соединеніи несоединимаго, разъединеніи соединеннаго, при повсемѣстной извращенности понятій—ничему не надо удивляться. Говори что хочешь—все равно всѣ слова опрокинуты вверхъ дномъ и катятся,—которое поймаешь, то и твое.

Личное борется какъ общее, общее какъ личное, каждый говоритъ не то, что хочетъ, и, наконецъ, не знаетъ, чего онъ хочетъ.

Одинъ только декадентъ имѣетъ все, что хочетъ,—„поетъ на лугу“. Никто его не слышитъ, но выходитъ такъ, что какъ будто онъ поетъ не одинъ и не на лугу,

какъ будто декадентство — литература... а вѣдь литература—общественна...

...Въ заключеніе, оглядываясь еще разъ на всю трагическую и кровавую нелѣпость послѣдняго времени, на раскалывающуюся пополамъ правду—на борьбу „общественниковъ“ (стадныхъ) съ индивидуалистами, на безплодность борьбы тѣхъ и другихъ,—въ отдѣльности,—со всѣми внѣшними условіями жизни, подлежащими уничтоженію,—оглядываясь на все это „худо“, о которомъ каркалъ Герценъ,—мнѣ хочется сказать, почему оно намъ не кажется такимъ „худымъ“.

„Стадный“ принципъ общественности, ненавидящій (скрыто или явно) личность—приводитъ къ „мѣщанской кристаллизаціи“, по выраженію Герцена. Остановившійся индивидуализмъ можетъ привести къ искусственному, болѣе страшному, чѣмъ врожденное, декадентству. Но наше упованіе въ томъ, что индивидуалистъ не останавливается въ себѣ самомъ; расширяясь—онъ борется со старымъ соединеніемъ людей—во имя новаго, такого, гдѣ онъ, при нераздѣльности съ ними,—чувствовалъ бы и свою несліянность. А пока — онъ хочетъ найти свою душу, чтобы было что отдать.

Герценъ думалъ, что лишь близкія цѣли объединяютъ людей. Да, объединяютъ, соединяютъ, а по достиженіи ихъ завтра—послѣ завтра что?—или новое разъединеніе, или мѣщанское, кристаллизованное благополучіе. Бунтовщики-индивидуалисты, кажется, поняли, или хоть почуяли, что не „далекія цѣпи—уловка“ (такъ думалъ Герценъ)—но именно близкія, и настоящимъ образомъ люди могутъ быть объединены даже не далекой цѣлью, а лишь послѣдней цѣлью. Это первое и главное, необходимѣйшее ея условіе, чтобы она была послѣдней. И не только при ней не выбрасываются за бортъ, не исчезаютъ, „ближайшія цѣли, соединеніе въ нихъ, но, напротивъ, тогда-то сами собой онѣ, какъ попутныя, постоянно будутъ достигаться, смѣняясь одна другой естественно и просто. Онѣ сложатся сами, какъ сами сложились, въ сказкѣ Андерсена, упрямыя льдинки въ слово „Вѣчность“, когда Кэй понялъ что-то высшее и далекое. А раньше онъ, еще непонимающій, напрасно старался складывать ихъ своими замерзшими руками: ничего не выходило, все распадалось.

Если дѣйствительно есть уже люди, на-

чинающіе прозрѣвать эту простую правду, которой не видѣлъ Герценъ, правду объединенія цѣлью далекой, послѣдней, если уже есть сознаніе этой правды въ душахъ людей, живущихъ сейчасъ на землѣ,—не значитъ ли это, что правда уже на землѣ, уже коснулась земли? И можетъ сойти на землю, можетъ быть на ней?

Герценъ видѣлъ черный темный коридоръ. Мы, въ глубинѣ его, видимъ бѣлую точку. Что это такое? Выходъ? Какъ онъ далекъ! Не все ли равно? Лишь бы знать, что онъ есть. Не мы—выйдутъ другіе.

Герценъ сказалъ: „ищите близкихъ цѣлей". И грустно думалъ при концѣ жизни: „все-таки ничего не выйдетъ". Мы вспоминаемъ другія слова: ищите послѣдняго царства, и остальное все приложится вамъ.

Мы будемъ искать и будемъ думать, даже при концѣ жизни, что—„выйдетъ".

Безъ міра

Мнѣ думалось сначала написать о двухъ московскихъ сборникахъ, вышедшихъ почти одновременно: „Свободная Совѣсть“ (вып. II) и „Вопросы религіи“. Но я, кажется, напишу только о второмъ. И во второмъ-то многое мнѣ непонятно; самый же смыслъ существованія перваго, „Свободной Совѣсти“,—его живое лицо,—окончательно отъ меня ускользаетъ. Пришлось бы утверждать, что ни смысла, ни живого лица у этого сборника нѣтъ; а я этого не хочу. Я знаю многихъ участниковъ его, какъ людей талантливыхъ и значительныхъ; если данныя ихъ статьи и не изъ лучшихъ — то это еще ничего не значитъ. Я смысла соединенія ихъ, въ одной тяжелой книжкѣ подъ одной сѣрой обложкой Свободной Совѣсти, не понимаю,—и лучше не буду никого судить, оставляя это на совѣсти участниковъ.

Можетъ быть С. Соловьевъ и А. Бѣлый знаютъ, гдѣ и чѣмъ ихъ произведенія связаны съ длинной дамской повѣстью о храбромъ генералѣ, любящемъ розы, и его героической дочери, защищавшей крѣпость во время усмиренія Кавказа и поддержавшей честь полка; я этой связи не вижу, и лгать не хочу, что вижу. Не вижу въ „сборникѣ“, въ его фактѣ—никакого „дѣла“, ничего „общаго“. Оттого и не могу ничего писать.

„Вопросы Религіи“... это, прежде всего, дѣйствительно сборникъ, собраніе людей, связанныхъ между собой одной нитью. Если не однимъ пониманіемъ (это мы сейчасъ увидимъ, однимъ ли пониманіемъ они связаны),—то, во всякомъ случаѣ, однимъ... словомъ. Слово это — христіанство. Въ краткомъ предисловіи сборника сказано, что „отдѣльныя статьи внутренно будутъ объединяться общностью христіанскаго міровоззрѣнія“. И добавлено: „но, при этомъ, авторамъ предоставляется полная свобода для выраженія индивидуальныхъ мнѣній и даже разногласій по вопросамъ второстепенной важности“. Общность „христіанскаго“—(то-есть одного и очень опредѣленнаго),—міро-

воззрѣнія (то-есть міропониманія, все-пониманія), — вотъ чѣмъ связаны участники сборника, какъ они думаютъ.

Дѣйствительно, при такой крѣпкой связи, такой все-охватывающей общности, не страшны частныя, личныя разногласія. Но что называютъ участники сборника „вопросами второстепенной важности?“ Вопросы о насиліи, объ аскетизмѣ, объ устроеніи общественной жизни, ея идеалѣ и завтрашней практикѣ по пути устремленія къ идеалу,— что это, важные или неважные вопросы? Должны ли они рѣшаться, или хоть ставиться, не разногласно у людей одного и того же міропониманія? Или они столь второстепенны, а кругъ „христіанскаго міропониманія“ такъ узокъ, что вопросы эти, естественно, рѣшаются индивидуально, каждый по-своему, за чертой?

Нѣтъ, конечно, нѣтъ. Авторы сборника „Вопросы религіи“—люди глубокіе, талантливые и—это главное! — искренніе. Они искренно убѣждены, что вопросы эти не второстепенны. Они искренно вѣрятъ, что объединены, для рѣшенія вопросовъ, христіанствомъ, и что христіанство есть извѣстное пониманіе міра. Они это говорятъ—

и я вѣрю, что они такъ вѣрятъ. Вѣрю въ вѣру—но не въ фактъ. Потому, что еслибъ объединяло ихъ не слово „христіанство“, а одно и то же міропониманіе, одинъ и тотъ же взоръ на жизнь и на міръ, одно и то же его ощущеніе и воспріятіе,—не было бы въ сборникѣ такихъ одинокихъ, одиноко-мучающихся людей, ставящихъ самые важные, самые глубокіе человѣческіе вопросы, и одиноко, различно, по-христіански—но по-своему, только по-своему, ихъ разрѣшающіе.

Книга начинаетсяс татьей В. Свенцицкаго: „Христіанское отношеніе къ власти и насилію“, а кончается Булгаковымъ: „Церковь и соціальный вопросъ“. Весь сборникъ посвященъ отношенію христіанства къ общественности; слишкомъ ясно, что для авторовъ это не второстепенное нѣчто, а самое главное, самое важное; тутъ-то и жаждутъ они единодѣйствія, вѣря въ свое единомысліе. Булгаковъ послѣднее время пишетъ почти исключительно о созиданіи устоевъ для „христіанской общественности“. Онъ вѣритъ въ нее мягко, трепетно, оптимистически, нѣжно, любовно; ему кажется, что вотъ-вотъ, еще немного,—и она уже тутъ, уже все есть. Онъ почти правъ, потому что

въ своей, очень христіанской, мягкости ему немного и нужно. Церковь христіанская, въ частности православная, истинная во всемъ, и вѣчная,—въ данный моментъ исторіи еще чего-то не поняла, еще держится, внѣшними своими проявленіями, за самодержавіе,—но она поймет, вотъ сейчасъ поймет, и все будетъ хорошо. И добрые, прогрессивные священники будутъ служить въ храмахъ,—окруженныхъ „внѣшнимъ дворомъ“, — міромъ, „христіанской“ мирной жизнью, государствомъ,—конечно, самымъ тоже „христіанскимъ“, на соціальныхъ началахъ. Это будущее христіанское устройство Булгаковъ представляетъ себѣ непремѣнно съ „внѣшнимъ дворомъ“, много разъ настаиваетъ на „внѣшнемъ дворѣ“. Выраженіе онъ взялъ „отъ писаній“: онъ любитъ тексты, особенно изъ апостоловъ, но на этотъ разъ онъ взялъ Апокалипсисъ. И неудачно. Ибо тамъ говорится: „... а внѣшній дворъ храма исключи и не измѣряй его; ибо онъ данъ язычникамъ: они будутъ попирать святой городъ сорокъ два мѣсяца“.

Въ самомъ дѣлѣ, какая же христіанская общественная жизнь съ „внѣшними дворами“ и внутренними притворами? Но что

дѣлать, Булгаковъ истинно-христіански мягокъ. И въ сборникѣ онъ доводитъ, послѣдовательно, мягкую ширину свою до полнаго разъединенія, даже до противоположенія Церкви и Жизни, устраняя въ жизни всякое дѣйствіе, дѣланіе, всякій реальный шагъ. Дѣйствіе его заключается лишь въ „религіозномъ пропитываніи“ того положенія, въ которомъ христіанское сознаніе тебя застало. Если ты фабрикантъ, если ты чиновникъ, если ты офицеръ, прими это безъ протеста, не ломай;—„оставайся въ томъ званіи, въ какомъ призванъ“, приводитъ Булгаковъ цитату изъ посланія и добавляетъ: только пропитывай дѣло свое христіанскимъ духомъ. Дальше въ терпимости, кажется нельзя, итти. Самъ авторъ оговаривается: „Въ такомъ отношеніи иные усмотрятъ „оппортунизмъ и приспособляемость“... Онъ хочетъ отклонить отъ себя это обвиненіе, не измѣняя, однако, высказанному. О, конечно, это не „оппортунизмъ“, не „лѣнивое, холодное, боязливое“ отношеніе къ дѣлу. Это только искренній, свой, взглядъ на міръ, и сообразно своему темпераменту принятое слово „христіанство“. Это нисколько не мѣшаетъ Булгакову искренно (лично и

уединенно), вѣрить во Христа. Въ этомъ смыслѣ Булгаковъ, несомнѣнно, былъ и остается христіаниномъ.

А вотъ другой, такъ же искренно, можетъ быть болѣе пламенно вѣрующій во Христа—Свенцицкій. Какъ же онъ, идя изъ своего міропониманія, освѣщаетъ, эти не второстепенные, а самые первостепенные вопросы? Если у Булгакова—христіанская мягкость, нѣжность и терпимость—у Свенцицкаго христіанская суровость, безпощадность, рѣзкость, часто похожая на жестокость. Тихихъ мечтаній Булгакова онъ, вѣроятно, и не слышитъ. За словами его такъ и чудится строгій коричневый ликъ со сжатыми бровями, съ тяжкимъ золотымъ нимбомъ, мерцающимъ въ лампадныхъ лучахъ. „Кто, не отрѣшится отъ этого, и отъ того, и еще отъ этого... тотъ недостоинъ Его“,—вотъ что говоритъ все время Свенцицкій. И говоритъ такъ, что мягкіе, нѣжные христіане, вродѣ Булгакова, непремѣнно должны пугаться и трепетать,—когда онъ говоритъ. Пока говоритъ. Онъ для нихъ не убѣдителенъ, но—внушителенъ. А по своему онъ правъ не больше, а ровно столько же,

такъ же, какъ и они. Онъ въ той же мѣрѣ, такой же дѣйствительный „христіанинъ“.

Въ статьѣ своей Свенцицкій, доказавъ какъ-то психо-философически, малоубѣдительно, но сложно, что насиліе и убійство—двѣ вещи совершенно разныя, что можно, признавая насиліе (надъ плотью, это замѣтьте!), не признавать убійства, кончаетъ совсѣмъ не по-Булгаковски, и даже наоборотъ: „Да, христіане могутъ и должны прибѣгать къ насилію въ отношеніи невѣрующихъ (понимая это слово въ нашемъ смыслѣ *). Насиліе христіанъ должно быть направлено не на насильственный приводъ ко Христу, а на ограниченіе той похоти, которая растлѣваетъ человѣчество. А потому христіане могутъ и должны бороться съ экономическимъ гнетомъ насильственными (курс. подлинника) пріемами, забастовками и т. д.“... „во имя Христово, во имя изгнанія изъ тѣла человѣческаго развращающихъ его силъ“... „и когда Церковь отдѣлится отъ государ-

---

*) Т.-е. не то, что не крещенные, а только не такіе „христіане“, какъ Свенцицкій, не такіе же точно.

ства, она должна будетъ начать съ невѣрующими борьбу противъ существующаго капиталистическаго строя".

Таково заключеніе статьи. Раньше (стр. 17) Свенцицкій, подчеркивая, выразилъ очень вѣрную мысль: „Никакое христіанское государство немыслимо". Онъ думаетъ, что, если бы весь міръ сдѣлался „христіанскимъ", то не было бы вовсе государства, а была бы одна Церковь. Пока же—Церковь должна бороться съ „внѣшними" насильственными мѣрами. Да, ужъ тутъ не до того, чтобы всякій фабрикантъ, какъ и рабочій, оставались мирно тѣмъ, что они есть, исподволь пропитывая свою жизнь христіанскимъ духомъ! Не до ожиданія близкаго пришествія добрыхъ, сознательныхъ священниковъ! Напротивъ, Свенцицкій называетъ „церковное либеральничанье"—„полуистиной" и сурово его осуждаетъ.

Хорошо, такъ что же все-таки дѣлать и какъ мыслить христіанину? По Булгакову или по Свенцицкому? Они оба претендуютъ на христіанское міровоззрѣнье. Мало того, они оба почему-то считаютъ, что они въ одной и той-же христіанской Церкви, и даже именно православной. Какое же міро-

пониманье у Церкви? Булгакова или Свенцицкаго? Съ кѣмъ же она? Или гдѣ она? Впрочемъ, къ Церкви мы вернемся, а пока взглянемъ добросовѣстно внутрь сборника, нѣтъ ли все-таки у Булгакова единомышленника; нѣтъ ли хоть двухъ, если не трехъ, съ одинаковымъ „міро-пониманьемъ“.

Вотъ методистъ Эрнъ. Это очень умный человѣкъ; не писатель; несомнѣнно тоже вѣрующій. Онъ скромно озаглавилъ свою статью „о приходѣ“—но пишетъ явно о христіанской общинѣ, какъ обособленной единицѣ, подробно развиваетъ ея экономическое положеніе, требуя все время „общенія имуществъ“, — земли, орудій производствъ и т. д. Онъ опирается всей тяжестью, со многими ссылками и текстами, на первые вѣка христіанства, на первыя общины апостольскія. Со 132 страницы перевернемъ листы до 314. Булгаковъ пишетъ: „Мы отрицаемъ въ самой идеѣ церковно-хозяйственныя общины, которыхъ мы не знаемъ и въ первые вѣка христіанства, и такъ учитъ объ этомъ и ап. Павелъ, требовавшій, чтобы каждый оставался въ томъ званіи, въ которомъ призванъ (1 Кор, VII. 2), рабовъ оставлявшій попрежнему рабами, а господъ

господами“... и т. д. Выписывать далѣе не стоитъ, далѣе идетъ уже столько же противъ Эрна, какъ и противъ Свенцицкаго съ его насильственной борьбой.

Но у Эрна есть въ сборникѣ и еще противникъ. Еще одинъ вѣрующій христіанинъ, еще одинъ, изъ „объединенныхъ тѣмъ же міровоззрѣньемъ“. Это Волжскій. О, не методистъ-Эрнъ, не мягкій христіанинъ Булгаковъ, и не Саванаролла-Свенцицкій—это пламенный и слабый мистикъ, мятущійся и безпомощный, любящій и отвергающій, жаждущій и сомнѣвающійся, спасенный и погибающій. Литературу, слова, какъ плоть ея,—онъ чувствуетъ больше всѣхъ другихъ, и съ трогательной горечью рвется къ ней. Если сказать, что онъ не вѣритъ во Христа, что онъ не „христіанинъ“ въ этомъ смыслѣ,—то кто-жъ вѣритъ? Въ то время, какъ Свенцицкій зоветъ вѣрующихъ къ насилію надъ невѣрующими, Булгаковъ, какъ тактику, прописываетъ „пропитываніе“, и какъ идеалъ рисуетъ себѣ храмы и „внѣшніе дворы“, Эрнъ обсуждаетъ устройство общинъ, отрицаемыхъ въ принципѣ Булгаковымъ, и неизмѣнно подкрѣпляетъ свои доводы ссылками на первые вѣка: „И такъ было въ

Церкви Апостольской, но такъ должно быть и въ Возрожденной Церкви“ (стр. 124). „Такъ и было въ Церкви Апостольской“ (стр. 134),—пока все это происходитъ,—Волжскій съ надеждой отчаянія протягиваетъ руки къ Соловьевскому и даже, можетъ быть, за-Соловьевскому идеалу „религіознаго цѣлаго свободной теократіи“, и тутъ же, не замѣтивъ, опрокидываетъ Эрна со всѣми его опорами... „Христіанское дѣйствованіе,—говоритъ Волжскій,—не можетъ быть возвращеніемъ къ опыту первыхъ христіанъ; религіозный опытъ—въ исторіи, а исторія не возвращается. Религіозно-христіанское дѣланіе, „христіанская политика“ не можетъ быть повтореніемъ дѣла первыхъ христіанъ еще и потому, что оно уже сдѣлано, новое должно претворить его въ себя вмѣстѣ съ претвореніемъ вѣковой культуры, и осложнено живымъ предвкушеніемъ, только еще чаемаго, обѣтованнаго...“ Кончаетъ Волжскій „трагизмомъ противорѣчій“, и говоритъ, что трагизмъ, „внутренно принятый“,—„глубочайшій трагизмъ христіанства въ жизни — трагизмъ аскетизма по преимуществу“. „Только здѣсь, только въ аскетическомъ трагиз-

мѣ возможенъ подъемъ" надъ правдой жизни къ совершенству правды Христовой.

Это куда темнѣе, чѣмъ приходы Эрна, забастовки Свенцицкаго, благодушная свя-тая нѣжность Булгакова, но вѣдь это тоже „христіанское міровоззрѣніе", и оно опять совершенно иное, даже исключающее всѣ другія изъ данныхъ, совершенно такъ же, какъ и оно исключается любымъ; хоть Эрновскимъ, хоть Булгаковскимъ. Страннѣе же всего, что и Волжскій тоже считаетъ свое аскетическое христіанское міровоззрѣніе единственнымъ „истинно-христіанскимъ", ибо присущимъ сердцу единой истинной христіанской Церкви, и опять той-же,—православной.

Господи, да что-же тутъ происходитъ? Неужели одиночество этихъ людей такое послѣднее, такое страшное, что они даже не видятъ въ лицо того, кто стоитъ рядомъ, никто никого не слышитъ? Или слышатъ лишь звукъ одного произносимаго всѣми слова—„христіанство", иногда еще „Церковь?" И вотъ они, для религіознаго соглашенія, довольствуются общимъ словомъ: а то согласіе, которое ими безсознательно ощущается и которое и свело ихъ вмѣстѣ—совершенно простое, чисто-че-

ловѣческое, совершенно внѣ-религіозное согласіе: единодушный протестъ русскихъ интеллигентовъ противъ устарѣвшихъ, непереносимыхъ болѣе, формъ русской государственной общественности. Тутъ они и согласны, а далѣе,—при вопросѣ в о и м я ч е г о протестъ,—начинается и у нихъ, какъ во всякихъ обыкновенныхъ кружкахъ и соединеніяхъ,—разногласія личностей: одинъ склоненъ больше къ перманентной революціи, другой къ постепеннымъ реформамъ, третій... еще къ чему-нибудь, и такъ до безконечности.

Держась ихъ точки зрѣнія, принявъ ихъ взглядъ на Церковь, какъ на носительницу истины и единаго истиннаго міропониманія,—нельзя, невозможно признать, что всѣ христіане сборника „Вопросы Религіи“ къ ней принадлежатъ. Принадлежитъ только который-нибудь одинъ. Они не могли бы сами съ этимъ не согласиться, если-бъ захотѣли выслушать другъ друга. Не измѣнивъ своей точки зрѣнія, они не имѣютъ никакого ни внѣшняго, ни внутренняго права, и ни малѣйшихъ основаній считать себя сынами какой бы то ни было одной матери.

Но это основаніе имѣю я.

И я, дѣйствительно, смотрю на нихъ, какъ на соединенныхъ и религіозно, соединенныхъ „христіански“,—въ той единственной точкѣ, въ которой только и возможно „христіанское“ соединеніе: въ вѣрѣ каждаго въ Личность Христа. Понимая христіанизмъ *такимъ* образомъ, можно допустить, что они—сыны одной и той же, не православной непремѣнно, а всякой „Церкви“, исповѣдующей вѣру во Христа. Если, конечно, соединеніе людей въ одной этой точкѣ, въ личной вѣрѣ въ Единую Личность Христа, соединеніе, еще *не обусловливающее* общаго отношенія къ міру, еще не дающее никакого на міръ и человѣчество опредѣленнаго взора—можетъ быть названо *Церковью*.

Да, всякому изъ христіанъ, о которыхъ мы говоримъ, дорогъ Христосъ—дорога́ и міровая человѣческая исторія. Они хотятъ соединить Христа съ исторіей міра, оправдать исторію передъ Христомъ. Но это съ ихъ христіанствомъ *невозможно*. Они хотятъ „возродить“ христіанство, „возставить“ христіанскую церковь. Ужъ если надо „возрождать“ и „возставлять“, — значитъ, признаютъ и они, что „христіанство“ уми-

раетъ, падаетъ. Въ исторіи, значитъ, пошло что-то не то, не туда, и давно уже. Такъ давно началось это „паденіе“ христіанской церкви, и такъ это общеизвѣстно, что въ любомъ учебникѣ можно прочитать спокойную фразу: „когда же вскорѣ благодатные дары въ церкви прекратились“... Прекратились! До соборовъ, чуть ли не во времена апостоловъ—прекратились! Что же, все человѣчество такъ „развратилось“, что смело истину, шутя побѣдило ее, и вѣра въ сердцахъ оскудѣла, и праведниковъ не стало? Нѣтъ, отнюдь нѣтъ. И вѣра не оскудѣла, и праведники были и есть. Только „Церковь“ и оскудѣла, т.-е. собраніе, соборность вѣрующихъ—а вѣрующіе живы и цѣлы. Если не предаваться досужимъ мечтамъ о чудесномъ „возрожденіи“ церкви,—то человѣку, упорно вѣрующему въ „христіанство“, остается проклясть весь историческій путь человѣчества чуть не со второго вѣка и затѣмъ, отойдя, погибать вмѣстѣ съ какой-нибудь „церковью“ изъ погибающихъ: католической, православной—безразлично.

А между тѣмъ (неужели такъ трудно это увидѣть) вѣдь намъ дано, не умаляя истины Христа, не отнимая ни единой черты

отъ вѣры въ Его Божественную Личность, и даже именно изъ этой вѣры исходя—не только оправдать исторію, но признать, что иною она и не могла быть. Почему не хотимъ мы взглянуть правдѣ въ глаза? Почему не хотимъ мы сказать себѣ разъ навсегда: не „не удалось“ христіанство, но христіанства общаго, общественнаго, всечеловѣческаго, церковнаго въ высшемъ смыслѣ,—не было, не могло и не можетъ быть, потому что христіанство не церковно? Я не знаю, я не могу постичь,—что отниметъ у христіанина, то-есть у человѣка съ личной, искренней вѣрой во Христа,—у Булгакова, у Свенцицкаго, у Волжскаго,—признаніе, что „христіанство“ и есть именно полная, личная вѣра въ одну Божественную Личность? Если мы скажемъ, что Христосъ открылъ намъ только эту необходимѣйшую „правду о личности“, „правду о человѣкѣ“, которая не есть еще соединеніе отдѣльныхъ людей, познающихъ лишь себя и Единаго, въ одно новое тѣло, если мы скажемъ, что Христосъ—только Путь къ такому соединенію всѣхъ—умалитъ ли это Христа? Христіанство не церковно, но оно—путь къ церкви, путь самоуглубленія въ одинокой

еще, личной, вѣрѣ,—и этому пути человѣческая исторія не измѣнила. Она вѣрно послужила Христу, вѣрно и неприкосновенно пронеся Его истину сквозь двадцать вѣковъ, углубляя ее, воплощая ее въ каждой отдѣльной вѣрующей душѣ. Церкви Христовой, только Христовой, начинающейся Христомъ и заключающейся Имъ Однимъ—быть не можетъ, потому что Христосъ только тамъ, гдѣ Отецъ и Духъ, гдѣ полнота; истинная Церковь и есть полнота. Почему, если мы на мертво воспринимаемый догматъ о Троицѣ взглянемъ живо, реально, если скажемъ, что церковь, соединеніе отдѣльно-вѣрующихъ, подлежитъ воплощенію лишь въ пришествіи Духа, котораго пошлетъ Сынъ, и который „будущее возвѣститъ намъ“; почему, если мы возьмемъ Христа лишь какъ истину, жизнь и путь къ церкви—мы умалимъ Христа?

И пусть не возражаютъ мнѣ, что въ христіанской церкви—не мертвый догматъ о Троицѣ, а сама Троица. Достаточно капли трезвости, капли искренности, чтобы признать, что во всѣхъ христіанскихъ церквахъ всегда былъ и понынѣ живъ только одинъ Христосъ, объ Отцѣ же и Духѣ лишь упо-

минается. Весь трепетъ, вся молитва, все сердце каждаго вѣрующаго были отданы только Христу. И это благо. Если же не такъ, если права „церковь“ существующая, утверждая себя истинной Церковью всечеловѣчества, ибо уже во времена апостольскія сошелъ на нее Духъ, излилась благодать,—то не въ этомъ ли утвержденіи послѣдняя гибель христіанства и Христа, побѣда надъ ними исторіи? Потому что если въ тѣ времена уже исполнилось обѣтованіе „о будущемъ“, уже излилась вся благодать,—то вѣдь она и изсякла. „Прекратились въ церкви благодатные дары“. Чего же и откуда ожидаемъ мы еще, если все уже было—и перешло? Тогда конецъ, тогда воистину „тщетна и вѣра ваша“ въ живого Христа, нынѣшніе христіане! Но не тщетна вѣра, ибо не церковно ученіе „церкви“ о Духѣ. Былъ путь, было воздыханье, чаянье и надежда въ каждой отдѣльной вѣрующей душѣ,—а исполненья не было еще. Былъ только залогъ его: одинокая крѣпкая вѣра,—живая—въ Одного Христа.

Но съ однимъ Христомъ, взявъ Его за единственную н е п о д в и ж н у ю точку,—мы еще не имѣемъ ни міра (космоса), ни

человѣчества. Мы принуждены смотрѣть на нихъ, относиться къ нимъ внѣ круга нашей вѣры, внѣрелигіозно. На личной вѣрѣ во Христа еще нельзя построить никакого міровоззрѣнья, тѣмъ болѣе общаго. Обманывать себя можно, но ничего изъ этого не выходитъ, какъ мы только что видѣли. Стараться „возрождать“ христіанскую, въ частности православную, „церковь“—можетъ быть и можно, но для этого уже слѣдуетъ сойти въ ея послѣднія глубины, въ ея истинное сердце—въ подвижничество, въ схимничество,—съ откровенностью отвернувшись отъ міра, презрѣть времена и путь, намъ во времени данный и во времени пройденный. Возвратиться къ уединенному совмѣстному житью углубляющихъ свою личную вѣру праведниковъ. Снова, самимъ, начинать оконченное, дѣлать сдѣланное, — и сдѣланное такъ велико, такъ прекрасно! Неужели не послужило оно намъ, неужели оказалось намъ не нужнымъ, точно и вовсе его не было? Отрицая и эту исторію— „какъ бы не оказаться намъ богопротивниками?“

Я не могу вѣрить, однако, чтобы порывъ людей, вѣрующихъ во Христа, къ созданію

„религіозной общественности“, такъ и разлился безплодно въ безплодныхъ попыткахъ найти общественность „христіанскую“. Самая жажда „Церкви“,—общности, соединенности людей не безъ Христа, а со Христомъ,—эта жажда есть уже показатель путей и временъ.

Только надо, идя, смотрѣть не назадъ,—а впередъ.

Проза поэта

Почти всѣ стихотворцы пишутъ и прозой, почти всѣ прозаики пишутъ, или когда-нибудь писали, и стихами. Однако, невольно, говоря о писателѣ, мы называемъ его или „поэтомъ“, забывая о прозѣ,—или романистомъ, повѣствователемъ, не помня о его стихахъ.

У хорошаго поэта не можетъ быть совершенно плохой прозы, какъ у хорошаго прозаика-стилиста очень плохихъ стиховъ; но у того и у другого эта не главная, в т о р а я для него форма,—въ громадномъ большинствѣ случаевъ ничего не прибавляетъ къ облику художника. А бываетъ, что и вредитъ: въ несвойственной одеждѣ рѣзче выступаютъ недостатки, индивидуальныя слабости даннаго дарованія, и мы, замѣтивъ ихъ въ прозѣ поэта,—невольно ищемъ тѣхъ же невѣрныхъ нотъ его и въ стихахъ. Очаро-

ваніе и довѣріе уменьшаются. И часто совершенно напрасно.

Проза В. Брюсова, его книга разсказовъ „Земная Ось“, можетъ, пожалуй, толкнуть на этотъ соблазнъ. Но лишь того, кто не понимаетъ, какъ велико не внѣшнее, а внутреннее различіе между стихами и прозой, какая лежитъ между ними пропасть. Современные беллетристы „новаго типа“, приближая, съ великими усиліями, прозу къ стихамъ, даютъ намъ что-то смѣшное, лишенное обоихъ очарованій,—очарованія прозы и, отличнаго отъ него, очарованія стиховъ. Всѣ исканія формъ новыхъ, конечно, праведны, но, во всякомъ случаѣ, новая форма не найдена, и врядъ ли будетъ найдена путемъ полумеханическаго сближенія прозы и стиховъ.

Брюсовъ мало грѣшитъ этимъ.

Истинные поэты, какъ ни странно, рѣдко злоупотребляютъ даромъ стиха, втискивая его насильно въ прозу. Они болѣе другихъ чувствуютъ эту пропасть между формой стихотворной и прозаической. Брюсовъ пишетъ прозой, „какъ прозой“, по крайней мѣрѣ, хочетъ такъ писать. Грѣхъ его въ другомъ: онъ все время помнитъ, что вотъ,

онъ, поэтъ,—пишетъ прозой. А такъ какъ онъ-то самъ, Брюсовъ,—цѣликомъ—поэтъ (только потому и настоящій поэтъ),—то его самого для прозы и не остается. Онъ пишетъ прозу, естественно, не „какъ Брюсовъ“, —а какъ кто угодно, какой угодно художникъ. И, благодаря тому, что литература всѣхъ странъ и всѣхъ временъ ему открыта, и силой художественнаго чутья въ его власти и волѣ,—онъ пишетъ свою прозу какъ любой изъ угодныхъ ему художниковъ. Но писать какъ Эдгаръ По—значитъ не быть ни Эдгаромъ По, ни самимъ собою. Самого же Брюсова очень мало въ его прозѣ, такъ мало—что даже недостатки и слабости этой прозы къ самому Брюсову почти и не относятся, оставляютъ образъ его, поэта, цѣльнымъ, неприкосновеннымъ.

Есть, конечно, обманчивыя отраженія... Но не надо забывать: нерѣдко то, что въ стихахъ—дѣйствительная правда, въ прозѣ—дѣйствительная ложь. Въ стихахъ — сила, вѣрность и магія, — въ прозѣ — риторика. Кровь и блескъ стиховъ Брюсова—дѣйствуютъ, подчиняютъ, потрясаютъ; ужасы и страхи его разсказовъ равнодушно утомляютъ. Темные провалы садизма, гдѣ „хаосъ

шевелится“,—превращаются у Брюсова, въ его прозѣ, въ половые „ужасики“, которыхъ чѣмъ больше нагромождать — тѣмъ они больше уплощаются. Если бы „Сестеръ“ было не три, а тридцать три и соотвѣтственно увеличилось бы количество крови, страсти и труповъ—то разсказъ былъ бы еще слабѣе. Но и трехъ сестеръ и четырехъ труповъ такъ много, и такъ мало дѣйствія все это производитъ на читателя, что онъ, раздосадованный, не знаетъ, чего пожелать: то ли, чтобъ ужъ кровью, по крайней мѣрѣ все было залито, то ли, чтобъ совсѣмъ не было праздныхъ труповъ.

Многіе разсказы Брюсова мнѣ искренно нравятся. Они „удались“. Таковы: „Республика Южнаго Креста“, „Въ подземной тюрьмѣ“... Отчасти „Въ Зеркалѣ“, хотя послѣдній хуже: опять какъ-то не вѣришь этимъ происшествіямъ. Разсказы нравятся, потому что написаны умно, въ выдержанномъ, болѣе или менѣе, стилѣ; это — „разсказы положеній“, какъ говоритъ самъ Брюсовъ, и положенія придуманы, иногда, любопытно. Разсказы нравятся... Но развѣ стихи Брюсова „нравятся“? Они плѣняютъ.

И вотъ этой-то плѣнительности, непре-

мѣнной плѣнительности истиннаго искусства—нѣтъ въ искусной прозѣ Брюсова.

Прибавить къ сказанному,—и къ предисловію самого Брюсова, гдѣ онъ подмѣтилъ кое-что въ себѣ очень вѣрно,—мнѣ остается немного. Въ поэзіи Брюсова есть вселенскость. Мы, русскіе, еще туда-сюда, когда мы очень, когда мы главнымъ образомъ—русскіе; мы хороши, когда въ насъ есть вселенскость, и мы на нее способны. Но мы никуда не годны, когда дѣлаемся космополитами. Русскій космополитъ—это человѣкъ, признающій, видящій, любящій равно всѣ страны, всѣ народы, всѣ,—кромѣ одного своего. Брюсовъ-прозаикъ—именно такой русскій космополитъ. Онъ видитъ „литературу“, жизнь, ея формы, ея красоту во всѣхъ народахъ, кромѣ своего, во всѣхъ временахъ, кромѣ своего. При его проникновеніи въ „стиль“, при его власти надъ словомъ,—онъ, конечно, могъ бы писать свою прозу въ стилѣ Чехова и даже Пушкина, но онъ не можетъ этого захотѣть. Его, какъ прозаика, влечетъ Пшибышевскій или Эдгаръ По. Самъ-же Брюсовъ, вселенскій, претворившій въ свое, взявшій въ свое какія-то части и

Пушкина, и Гоголя, и Бодлэра,—самъ Брюсовъ—только въ стихахъ, только тамъ.

Тамъ и безтенденціозность его, безмысленность, въ прозѣ становящаяся тенденціей,—лишь углубленная тайна жизни. Брюсовъ не таинственъ въ своихъ разсказахъ, въ какія бы таинственныя „положенія“ онъ ни ставилъ своихъ героевъ, сколько бы ни лилъ онъ ихъ крови, сколько бы ни жегъ ихъ страстью и огнемъ. Аттрибуты мага, но магіи нѣтъ.

Брюсовъ не таинственъ въ своей прозѣ. Но вѣдь въ прозѣ—нѣтъ Брюсова...

Моими „похвалами“, моими „да„ — конечно, не исчерпывается поэзія Брюсова. Да и не интересны похвалы. Интересенъ „ликъ“ художника, человѣкъ-поэтъ: онъ узелъ,—стягивающій свое „да“ со своимъ „нѣтъ“. Ликъ Брюсова—одинъ изъ самыхъ обманчивыхъ...•для несложныхъ душъ многихъ его читателей и почитателей. Какъ часто холодъ его кажется огнемъ! Не всѣ знаютъ, что и холодъ жжется. Огонь же Брюсова спрятанъ слишкомъ глубоко,—я

сомнѣваюсь, я не вѣрю, что его видѣли многіе...

Впрочемъ, эта тема—не тема моей настоящей замѣтки. Я поговорю о Брюсовѣ-стихотворцѣ при случаѣ, особо. Здѣсь же мнѣ хотѣлось сказать нѣсколько словъ лишь о прозѣ поэта...

Тварное

Маленькая, тоненькая книжка, темная—цвѣта земли. Языкъ простой и круглый, современный—но безъ надрывныхъ изломовъ, а дѣйствительно живописный, иногда очень яркій. Такъ видѣлъ бы природу современный Тургеневъ, вѣрнѣе, такъ бы онъ описывалъ ее,—Тургеневъ безъ романтизма, безъ нѣжности и... безъ тенденціи,—если сказать грубо; безъ осмысливанія,—если выражаться шире и вмѣстѣ съ тѣмъ точнѣе.

Тенденція, или осмысливаніе—уже предполагаютъ связь съ психологіей, а психологія, хорошо ли, плохо ли, —связь съ Личностью. Я не говорю, Боже меня сохрани, что всякое касанье къ понятію Личности должно у художника отражаться „тенденціей“; тенденція въ искусствѣ—одно изъ самыхъ неудачныхъ отраженій личности; возможно

глубокое пониманіе ея—при отсутствіи „тенденціи“, но врядъ ли возможно—при отсутствіи осмысливанія.

Другой вопросъ—насколько художнику необходимо касанье къ понятію „личности“. Объ этомъ мы сейчасъ спорить не станемъ. Это—вопросъ нерѣшенный, роль личности въ искусствѣ многими даже отрицается, какъ отрицающая искусство. Другіе думаютъ обратно... Повторяю, кто тутъ правъ—судить не буду. Я хочу только сказать, что въ книжкѣ разсказовъ Бориса Зайцева, сочной, и неподвижно-картинной,—нѣтъ, или почти нѣтъ, ощущенія личности, нѣтъ человѣка. Есть послѣдовательно: хаосъ, стихіи, земля, тварь и толпа... А человѣка еще нѣтъ. Носится надъ землею духъ созидающій... Но какой? Божій ли? Еще безликій. Уже есть безмысленное, не сознающее себя страданіе, уже есть безмысленная радость, и даже гдѣ-то, въ какомъ-то невидномъ свѣтѣ соприкасаются они, сталкиваются... А лика еще нѣтъ—и лица нѣтъ. Есть дыханіе, но дыханіе всего космоса, точно вся земная грудь подымается. Тотъ же космосъ вздыхаетъ у автора и въ его толпѣ, безликой, безъ единаго человѣка. Тварь, тварь, сово-

купно стенающая, уже стенающая объ избавленіи,—а избавленія нѣтъ. Легкіе, рѣдкіе лучи свѣта—не объ избавленіи говорятъ, а о смутной, тоже безликой, тихой примиренности.

„Что они тамъ дѣлаютъ такое, въ этой зелени? Что видятъ? Не они ли въ той зелени, и то зеленое не въ нихъ ли?“ — „Сердце нѣмѣетъ и лежитъ распростертое“ ... „Изъ зеркальныхъ далей, по рѣкѣ, нисходитъ благословеніе горя“.

Это—конецъ разсказа „Тихія зори“. На всѣхъ его страницахъ лежитъ отблескъ примиренности, единственный обѣтъ автора, зимній, негрѣющій сердца человѣческаго, лучъ—благословеніе горя.

А вотъ—нѣтъ и благословенія горя, да и горя почти нѣтъ:

„Зерно насыпаютъ, оно текучее, гладкое. А земляные люди рады зерну, хоть и чужому“. „Черный, обворожительный комъ-земля кипитъ и бурлитъ, сѣчетъ себя дождемъ; гонитъ вверхъ тонкіе росточки зеленей, кормитъ мужиковъ и здороваго, кряжистаго дѣда“.

Мнѣ вспоминается, когда я говорю о Зайцевѣ, недавняя книжка стихотвореній

одного молодого поэта—„Ярь“. Книжка, не въ мѣру осыпанная похвалами въ декадентскихъ, или нео-декадентскихъ кружкахъ. И, главнымъ образомъ, за ея „стихійность“. Но ужъ если утверждать стихійность, космосъ, помимо личности, — то стихіи, земли, космоса гораздо больше въ книгѣ Зайцева, и гораздо онъ тутъ подлиннѣе. Я не сравниваю дарованій обоихъ писателей; я думаю— оба они талантливы; и у Зайцева языкъ, при всей его тяжелой красочности, далеко не безупреченъ: неровенъ, неумѣло обработанъ, съ провалами въ жестокую банальность; и у автора „Яри“ большинство стиховъ написано съ младенческой некрѣпостью; не въ этомъ дѣло. У Зайцева—стихія стонетъ, дышетъ, ворочается; у Городецкаго — больше „стихійничанья“, нежели стихійности, болѣе звукоподражанія, нежели истинныхъ голосовъ непробужденной земли. Для того, кто первично возсоздаетъ космосъ— можетъ еще родиться личность: она придетъ; для мистизирующаго космосъ — она перешла. Мистика космоса безъ личности — не начало человѣка, а конецъ его. Описанъ кругъ.

Читая Зайцева — грустишь, но ждешь;

ничто души, самой глуби ея, еще не ранитъ; правда, не ранитъ ея и „Ярь“; но только неутолимо влечетъ, отъ этой послѣдней книги (именно потому, что авторъ все-таки талантливъ), влечетъ, отъ его болѣзненной юности, отъ ранней, жалобной надрывности, усилій приникнуть къ землѣ, отъ этого изсякновенія личности, отъ этихъ милыхъ, иногда прелестно-тонкихъ, стиховъ, — къ Баратынскому, къ Тютчеву, къ Лермонтову,—къ желѣзно-твердому „Я“ Баратынскаго прежде всего. Скорѣе, скорѣе,—сдуть похотливыя былинки, слабо завившія душу, развѣять призраки „Барыбъ“, встающіе изъ призрачныхъ болотъ. Есть еще правда, кровь, солнце и человѣкъ. Не за воскресенье безтаинственныхъ, безплотныхъ призраковъ отдастъ человѣкъ свою плоть, с е б я. Его одиночество, его сила и упоръ ждутъ не этихъ воскресеній.

„Истина возникнетъ изъ земли, правда приникнетъ съ небесъ“... и вѣрится слову, сказанному столько вѣковъ тому назадъ. Да, „истина возникнетъ изъ земли“, но, чтобы „истина и милость встрѣтились“ — надо, чтобы правда „приникла съ небесъ“, а не поднялась паромъ холоднымъ изъ бо-

лотъ. Намъ уже нужны ви́дѣнія, а видѣнія намъ не нужны.

Зайцевъ хорошо сдѣлалъ, что издалъ свою книжку: въ его разсказахъ, собранныхъ вмѣстѣ, рѣзче выступаютъ всѣ недочеты, тяжеловѣсности, банальности, однообразная однотонность и многія другія художественныя слабости. Автору легче замѣтить ихъ, освободиться отъ нихъ въ слѣдующей книжкѣ. Борисъ Зайцевъ, хотимъ надѣяться,—еще въ будущемъ.

Человѣкъ и болото

Въ только что вышедшемъ Альманахѣ (К-во Шиповникъ, книга первая)—лишь двѣ вещи заслуживаютъ серьезнаго внимания: „Лѣсная топь“ Сергѣева-Ценскаго и драма Леонида Андреева „Жизнь Человѣка“. Остальное, несмотря на „имена“—вяло, сѣро, ни хорошо, ни худо,—просто не характерно для авторовъ.

О „Лѣсной топи“ поговорить слѣдуетъ, тѣмъ болѣе, что почти одновременно съ Альманахомъ вышелъ первый сборникъ разсказовъ Сергѣева-Ценскаго. Онъ—писатель интересный, и „Лѣсная топь“ не слабѣе, а можетъ быть сильнѣе всѣхъ другихъ его разсказовъ; Сергѣевъ-Ценскій въ немъ особенно подчеркнулся. Но объ этомъ рѣчь впереди. Пока же остановимся на „Жизни Человѣка“ Л. Андреева.

Съ „Человѣкомъ“ вышло литературное

недоразумѣніе. Драму особенно хвалили, а когда она была поставлена на сценѣ („передового театра“ Комиссаржевской)—то прямо превознесли. Даже Юрій Бѣляевъ изъ „Наваго Времени“ отнесся благосклонно. Успѣхъ былъ несомнѣнный, хотя и не очень „видный“. Но, благодаря событіямъ общественной жизни, интересъ къ литературѣ вообще нѣсколько ослабѣлъ.

Вотъ тутъ-то и недоразумѣніе, и что-то очень горькое есть въ этомъ недоразумѣніи. Если бы драма имѣла успѣхъ среди „большой публики“, какъ это часто случалось съ весьма неудачными вещами Горькаго, то можно бы, при желаніи, утѣшаться, что наша „толпа“ еще не умѣетъ разбираться сразу, что у нея есть случайные любимцы... Но нѣтъ: драму Андреева цѣнила не „толпа“, а цвѣтъ нашей литературы и критики. И драма этимъ „лучшимъ“ цѣнителямъ понравилась, „пришлась“ къ нимъ. Я выключаю Юрія Бѣляева,—поклонниковъ „Человѣка“ довольно и безъ него; весь театръ Комиссаржевской держится именно этимъ „цвѣтомъ“ литературы,—писателями, поэтами и просто людьми, считающими себя „передовыми“ въ искусствѣ и культурѣ.

„Жизнь Человѣка“ Л. Андреева—несомнѣнно самая слабая, самая плохая вещь изъ всего, что когда-либо писалъ этотъ талантливый беллетристъ. „Елеазаръ“, его недавній разсказъ въ „Золотомъ Рунѣ“, тоже слабъ, но не въ такой мѣрѣ, хоть и приближается скорѣе къ разбираемой драмѣ, нежели къ прежнимъ произведеніямъ писателя. Фантастическіе сюжеты, „мистическая“ обстановка крайне невыгодны для Л. Андреева: вся грубость, вся примитивная его некультурность и вытекающая изъ нея безпомощность—выступаютъ особенно выпукло и рѣзко, какъ только Л. Андреевъ хочетъ оторваться отъ реальныхъ формъ быта. Собственно, талантъ у него большой, гораздо больше, чѣмъ у Горькаго; но у Горькаго чувствуется большая сгармонированность между талантомъ и содержаніемъ таланта. Съ Горькаго ничего не требуешь. Л. Андреевъ не можетъ справиться съ вопросами, которые самъ же поднимаетъ; ему душно въ ихъ темномъ хаосѣ. И какъ только онъ хочетъ что-то самъ сказать, сознательно,—начинается невѣроятная и постыдная фальшь. „Савва“ его—хаосъ невообразимый; но, по крайней мѣрѣ, тамъ во-

просы остаются вопросами, тамъ хаосъ не разрѣшается плоскостью, вопли не переходятъ въ риторику. Талантъ-самородокъ остается тѣмъ, что онъ есть, и не вылѣзаетъ изъ-за него самъ Л. Андреевъ, безсознательный, запутавшійся, чуждый культурности русскій человѣкъ. Л. Андреевъ еще глубокъ, когда не думаетъ, что онъ глубокомысленъ. А когда это думаетъ—теряетъ все, вплоть до таланта.

Не въ томъ бѣда, что послѣдняя драма его написана такъ, что не напоминаетъ, а почти повторяетъ Метэрлинка. Но она дурно, некультурно, грубо его повторяетъ; выходитъ не то доморощенная каррикатура, не то изнанка вышитаго ковра. И не въ томъ только бѣда, что эта узловатая, рабски-подражательная форма содержитъ въ себѣ путанную, смятую, да еще банальную мысль о безсмысленномъ рокѣ. Можетъ быть, впрочемъ, и вовсе тамъ никакой мысли нѣтъ. Горе въ томъ, что подобная вещь преподносится намъ какъ художественное произведеніе, да еще съ глубиной, съ претензіей на какое-то общее міросозерцанье. Претензіи убили самую возможность непосредственнаго живого слова; и нѣтъ ихъ ни одного

во всей „Жизни Человѣка“, во всей драмѣ, наполненной холодными, придуманными, крикливо-плоскими фразами. Никогда мнѣ не было такъ жалко Леонида Андреева. Онъ давалъ сильныя вещи, чувствовалось, что за ними стихійно, слѣпо мучится и борется живой человѣкъ, котораго можно бы любить, съ которымъ можно страдать вмѣстѣ. А тутъ, изъ-за драмы и разсказа „Елеазаръ“, вдругъ высунулся малообразованный и претенціозный русскій литераторъ, котораго, поскольку онъ все-таки человѣкъ и все-таки Л. Андреевъ, ничего не понимающій и не разрѣшающій,—можно лишь безконечно жалѣть.

Такой „русскій литераторъ“ не только не разрѣшитъ ничего, и не пойметъ,—но и нѣжной, легкой, высокохудожественной, культурной лирики Метэрлинка никогда не достигнетъ. Послѣ „Василія Ѳивейскаго“, даже послѣ „Саввы“, гдѣ мѣстами у Л. Андреева вырывались крики настоящаго богоборца,—прочтите грубую, топорную и въ высокой степени глупую „молитву“ героя драмы, такъ величественно названнаго Человѣкомъ съ большой буквы. Ходульныя слова—старательно выдуманныя для изло-

женія извѣстной всѣмъ мѣщанамъ мысли, что и самый „сильный“ (то-есть самый невѣрующій) человѣкъ можетъ молиться, если ему хочется что-нибудь получить отъ Бога; и даже можетъ обѣщать, что повѣритъ въ Него, когда получитъ; но что это ни къ чему не ведетъ, ибо никакого Бога нѣтъ, а есть равнодушно-безсмысленная Судьба. Символизуется Судьба у Андреева „сѣрымъ Нѣкто“, нисколько не страшной, а бутафорской фигурой, стоящей безсмѣнно въ углу со свѣчой (тоже необыкновенно-новымъ символомъ жизни человѣческой!) „Человѣкъ“—все время „гордъ и силенъ“. Жена Человѣка находитъ и молитву его „гордой“,—на что онъ отвѣчаетъ: „Нѣтъ, нѣтъ, жена, я хорошо говорилъ съ Нимъ, такъ, какъ слѣдуетъ говорить мужчинамъ“. Между прочимъ, онъ молился: „Ты—старикъ, и я—старикъ. Ты скорѣе меня поймешь“... Гордости въ молитвѣ не замѣтно, а просто примитивная риторика и рѣшительная неумность. Нехудожественное произведеніе иногда оберегается отъ слишкомъ рѣжущей фальши—умомъ автора. Но у Андреева этого сторожа нѣтъ, да и, увлекшись собственной риторикой, онъ уже ни-

чего не замѣчаетъ, риторика ему кажется возвышенностью, смѣшное—сильнымъ, банальности—новыми открытіями.

Андреевъ могъ, конечно, отступиться, могъ и совсѣмъ свернуть въ сторону, обнаживъ свои коренные недостатки и провалы. Но какъ случилось, что его судьи, если даже они компетентны лишь какъ судьи художественной стороны произведенія,—не осудили драму Л. Андреева именно за ея анти-художественность? Критиковъ для оцѣнки болѣе широкой и полной у насъ нѣтъ, пускай! Но неужели у насъ нѣтъ людей, хотя бы понимающихъ искусство, какъ искусство, отличающихъ тутъ черное отъ бѣлаго? Самаго примитивнаго понятія о томъ, что такое искусство, достаточно, чтобы отвергнуть эту драму. О ней не можетъ быть двухъ мнѣній.

Невольно приходитъ мысль: да ужъ есть ли, было ли у насъ „искусство“, была ли когда-нибудь „литература“, въ собственномъ смыслѣ слова? У насъ есть художники, мыслители, писатели,—а искусства нѣтъ. У насъ есть геніи, есть таланты, большіе и малые, таланты-самородки,—а искусства нѣтъ. Искусство создается работой, куль-

турой и средой. У насъ ничего этого еще пока не было,—не удивительно, если нѣтъ искусства. Отдѣльные таланты у насъ до сихъ поръ погибали почти безъ плода. Художнику нуженъ свой воздухъ и свѣтъ, чтобы жить, расти. А не то онъ вспыхнетъ искрой—и не разгорится, и вокругъ себя ничего не зажжетъ. Да еще иной, помельче, и самъ замучается, слѣпо ворочая глыбы темныхъ вопросовъ. Поразительно слабо у насъ движеніе, развитіе идейное, безъ котораго не возможно и движеніе культурное! И вѣдь идеи есть: въ какой другой странѣ были отдѣльныя личности съ такими непомѣрными идеями, именно „идеями“? Въ одномъ Достоевскомъ только—уже былъ весь Ницше, да и на многихъ будущихъ Ницше хватитъ Достоевскаго. Но сказанное такъ ясно, такъ полно и вѣчно,—лежитъ камнемъ, и никто даже не пытается поднять этотъ камень, не видитъ его, не знаетъ ничего. Жизнь шла сама по себѣ, а писатели писали сами по себѣ. Русскій ли человѣкъ тутъ причиной, русскій ли писатель или русская дѣйствительность, кто рѣшитъ?

Но прошлое все же обѣщало намъ больше, чѣмъ дало настоящее. Какъ ни

одиноки были наши геніи и таланты, какъ ни незамѣтно свѣтлѣлъ воздухъ, но все же онъ свѣтлѣлъ, и какая-то потенціальность развитія, нарожденія среды, все же тамъ была. Искусство, идейность, осмысленность, культура—хотѣли родиться. Даже въ теченіи „декадентскомъ“ 95—900-хъ годовъ брежжило нѣчто положительное. Декадентство было подполье, но изъ него предчувствовался выходъ. Въ подполье, можетъ быть, нужно спуститься, пройти и выйти. Но тутъ что-то случилось. Декадентство смялось, оборвалось, распалось, и... начался, (по мѣткому выраженію одного современнаго рецензента)—„декаданс декаданса“. Пустое мѣсто заполнилось: образовалась лже-среда. Появилась и „культурность“, и „искусство“, и „метафизика“,—и они страшнѣе прежней пустоты, ибо прежде мы имѣли „а-культурность“, „а-искусство“,—а теперь анти-искусство и анти-культурность. И отнюдь не въ общественной жизни, въ жизни „всѣхъ“, которая пока все еще только безкультурна и безъ-идейна, но именно среди прежняго „цвѣта“ нашего общества, среди людей мыслящихъ и творящихъ въ области искусства.

Тутъ начался періодъ возрожденія... варварства. Невѣжество и грубость, называющія себя высшимъ знаніемъ и утонченностью, гораздо опаснѣе просто невѣжества и простого грубости: эти, въ концѣ концовъ, скромны. Кто знаетъ, что онъ не знаетъ—тотъ можетъ еще научиться; а кто, будучи нагъ, думаетъ, что одѣтъ въ порфиру и виссонъ, тотъ такъ и будетъ щеголять голымъ, тому—„каюкъ“. Посмотрите наши „художественные“ и „литературные“ журналы, вглядитесь въ „культурную“ и „литературную“ жизнь нашихъ центровъ за послѣдній годъ. Вы увидите, что „декадансъ декаданса“ расползся гораздо шире сейчасъ, нежели просто „декадансъ“ за все время своего существованія. Правда, эта лже-культурная среда оторвана рѣзко отъ вскипающаго, еще безкультурнаго, еще п о к а безъидейнаго движенія общественной жизни, отъ „всей Россіи“—движенія праведнаго, потому что въ немъ нѣтъ лжи, а есть невскрытая правда. Эта „среда“--сравнительное ничтожество. Но зато почти всѣ писатели, и художники, все работающее въ данный моментъ въ области искусства и литературы, отъ бездарнаго до талантливаго, такъ или иначе

соприкасается именно съ этой ложной средой, барахтается въ этой лужѣ. Косяками идутъ туда „молодые“;—но, конечно, попавъ туда слишкомъ рано, ни одинъ изъ нихъ, даже съ задатками таланта, не выработается въ дѣйствительно талантливаго писателя. И понятно, что идутъ „косяками“: истинное—рѣдко и трудно, а псевдо-искусство, псевдо-красота — общедоступны, пріятно легки.

Леонидъ Андреевъ далъ лучшія свои вещи еще свободно, еще до созданія лже-среды. Но скажемъ ли съ увѣренностью, что его эта среда „заѣла“? Можетъ быть въ самомъ его талантѣ, какъ въ талантахъ другихъ современныхъ писателей, уже былъ заложенъ его печальный конецъ? Можетъ быть и онъ, какъ другіе, самъ же и послужилъ для созданія и преуспѣянія „декаданса декаданса“. Но это все равно. Одно несомнѣнно: каковы прихожане—таковъ приходъ; каковы попы—таковы и проповѣди. Участники направленія анти-художественнаго не могутъ не давать вещей не анти-художественныхъ. И „Жизнь Человѣка“ не могла не быть вещью хуже, чѣмъ бездарной и неумной—неумной со всѣми претен-

зіями на художественность и глубокомысліе, то-есть—бездарной съ обманомъ.

Впрочемъ, какое намъ утѣшеніе знать, что иначе и быть не можетъ? Жаль, жаль до боли всѣхъ: и русскихъ литераторовъ, и возможную русскую литературу, въ частности и Леонида Андреева со всей его безпомощностью, и „косяки“ молодыхъ, съ дѣтской жадностью кидающихся... уже не въ подполье, а въ болото... Оно затянуто яркой травкой. А на днѣ—происходитъ страшная, отвратительная и смѣшная пляска: тамъ вѣнчаются, сочетаются, смѣшиваются уже не „жидъ съ лягушкою“, это бы ничего, а невинное слово съ безобразнымъ дѣломъ, святыя имена съ рыбьими костями, богоборчество съ кощунствомъ, миѳологія съ развратишкомъ, творчество съ плагіатомъ, возрожденіе съ варварствомъ, филологія съ физіологіей, экстазъ съ разсчетомъ, искусство—съ проституціей...

Страшно, и если страшно не послѣднимъ страхомъ,—то лишь потому, что все это невыразимо скучно; да и пахнетъ ужъ очень обыкновенной скверностью. Даже не духомъ а душкомъ небытія, мертвечинкой. А Россія съ ея Пушкиными и Достоевскими, съ

ея громадной, полуслѣпой пока трагичностью общественной — еще жива. Еще ой-ой какъ жива! Запоетъ пѣтухъ—и провалится болотное дно, уйдетъ въ послѣднюю темноту со всѣми плясунами, съ виновными, и... невинными (сами виноваты, не разсчитали!). Оставшіеся—не всѣ даже замѣтятъ, что кѣмъ-то стало меньше...

Поскорѣе бы, однако, проваливалось. Идетъ-таки отъ него,—иногда, подъ-вечеръ,—заразительный смрадъ.

На острiѣ

Л. Андреевъ съ его „Человѣкомъ“ завелъ меня въ широкія общія разсужденія. Вернемся отъ литературы къ литератору, къ другому современному беллетристу Сергѣеву-Ценскому.

Онъ моложе Андреева,—онъ еще не дошелъ до порабощенія своего таланта мертвому духу лже-среды, онъ еще свободенъ, онъ еще пока—художникъ. Но, конечно, и Сергѣевъ-Ценскій—писатель современный, стилемъ своимъ и всѣмъ уклономъ приближающійся къ другимъ писателямъ дней именно нашихъ. Онъ—офицеръ того-же полка, гдѣ былъ генераломъ Андреевъ, гдѣ Зайцевъ—унтеръ съ нашивкой, и гдѣ есть такіе несчастные рядовые, старательные и самодовольные, но совершенно неспособные, какъ Осипъ Дымовъ и другіе. Сергѣевъ-Ценскій — настоящій офицеръ; Зай-

цеву, сколько бы онъ ни получалъ нашивокъ, до него не дослужиться. Языкъ Сергѣева-Ценскаго — богатъ почти безъ риторики, выпукло-ярокъ до грубости, которая не переходитъ, однако, въ анти-художественность; главное же—онъ чрезвычайно гармонируетъ съ внутреннимъ содержаніемъ таланта Сергѣева-Ценскаго, съ основной, рѣзко-опредѣленной, вѣчно одной и той же, мыслью автора. Она не утомляетъ, потому что широка; ее можно-бы назвать идеей,—если бы она, въ концѣ концовъ, по свойству своему, могла привести куда-нибудь, кромѣ тупика. Но она ведетъ именно въ тупикъ... если, конечно, взять ее, какъ послѣднюю, въ ея побѣдѣ; принять ее за послѣдній синтезъ.

Мысль эта со всей опредѣленностью уже выразилась чуть ли не въ первомъ разсказѣ Ценскаго, напечатанномъ года четыре тому назадъ въ журналѣ „Новый Путь“. Разсказъ вошелъ и въ „Сборникъ“. Разсказъ—не изъ лучшихъ; языкъ еще не вполнѣ выработанъ, но уже весь Ценскій тутъ. Уже мчится, безсмысленно хлеща лошадей, невинный человѣкъ, помѣщикъ, любящій отецъ и мужъ, мчится прямо въ снѣжную, черную, сильную бурю, дико повторяя: „всѣ у меня

умерли! Всѣ съ ума сошли!“ Недаромъ только что бѣдный, уральскій родственникъ-прихлебатель тупо нылъ передъ нимъ: „гдѣ не ждешь, тутъ тебя и кокнетъ. Непремѣнно тебя кокнетъ“.

Всѣ умерли, всѣ съ ума сошли, всѣ погибли самымъ безобразнымъ, безсмысленнымъ, грязнымъ и отвратительнымъ образомъ, и... что жъ это такое? Вѣдь я же этого не хочу? Вотъ въ этомъ, тайномъ, но несомнѣнномъ вопросѣ Сергѣева-Ценского—еще надежда на спасеніе отъ тупика. Есть борьба, есть трагедія,—писатель-человѣкъ еще не успокоился на разрѣшеніи ужаса жизни—просто неподвижнымъ утвержденіемъ ужаса. Ценскій, ненавидя міръ,—любитъ его; любитъ такъ же глубоко, какъ ненавилитъ. И даже,—я утверждаю,—онъ идетъ изъ любви, какъ изъ перваго даннаго. Не люби онъ міра, онъ, можетъ быть, и не увидѣлъ бы такъ ярко всѣхъ его ужасовъ, не сумѣлъ бы такъ ненавидѣть. „Міръ ужасенъ, проклятъ, безсмысленъ, главное—безсмысленъ...“—кричитъ намъ Ценскій, и тутъ-же, словно про себя, шепчетъ: „а я этого не хочу!..“ Вся трагедія этого писателя, отнюдь не первокласснаго, но яркаго и ха-

рактернаго для временъ нашихъ, вотъ въ чемъ: онъ, по завѣту Достоевскаго, полюбилъ жизнь прежде смысла ея. Но не завѣдомо-же безсмысленную жизнь начинаемъ мы любить: мы начинаемъ любить жизнь только прежде *знанія* ея смысла, но уже въ любви нашей—вѣра, что смыслъ есть, что черезъ любовь онъ откроется. Сергѣевъ-Ценскій полюбилъ міръ, жизнь — настоящей любовью, съ вѣрой въ смыслъ, и... вотъ, смысла ея еще не нашелъ и еще видитъ непереносный, невозможный мракъ безсмыслія, „баню съ пауками“. Что же съ этимъ дѣлать? Чему же вѣрить? Если все-таки любви своей,—то искать, искать, не боясь пауковъ, черезъ всѣхъ пауковъ искать этого необходимаго „смысла“, который долженъ же быть! А если первому взору повѣрить, глазамъ своимъ,—то ужъ, конечно, отказаться прежде всего отъ любви, наполнить душу однообразнымъ, тепловатымъ отчаяніемъ, лечь подъ лавку въ избѣ, а пауки тебя будутъ ѣсть. И пусть ѣдятъ. Въ концѣ концовъ,—я не спорю,—тутъ можно дойти до извѣстнаго безсмысленнаго сладострастьица, а ужъ до самодовольства средней руки—навѣрно. Но и чело-

вѣку, и художнику—обоимъ — непремѣнно конецъ.

По склонности моей къ пессимизму, и еще потому, что Ценскаго я не считаю очень сильнымъ (вѣдь Андреевъ былъ куда сильнѣе!)—мнѣ кажется, что и Ценскій кончитъ подъ лавкой, подъ которую уже тихо лѣзетъ Андреевъ. Мнѣ кажется, но утверждать это непремѣнно—нѣтъ никакихъ серьезныхъ основаній. Пока—Сергѣевъ-Ценскій держится еще на лезвіѣ ножа, и въ какую сторону онъ скользнетъ—неизвѣстно. И онъ пока остается художникомъ. Его послѣдній разсказъ, „Лѣсная топь“ (въ Альманахѣ „Шиповника“)—не хуже, а лучше разсказовъ его Сборника. Ярче, откровеннѣе, выпуклѣе—обнаженнѣе. Въ Сборникѣ есть разсказъ „Я вѣрю!“, гдѣ, послѣ всѣхъ невѣроятныхъ, безпощадныхъ ужасовъ,—герой вдругъ, ни съ того, ни съ сего, глядя на своего маленькаго сына, начинаетъ „вѣрить“, что этого сына ужасы міра не коснутся, что и сынъ будетъ иной человѣкъ, лучше, и жизнь его будетъ совсѣмъ другая, хорошая, и все вокругъ будетъ хорошо. Зачѣмъ этотъ жалкій, безсильный диссонансъ? Впрочемъ, пускай. Онъ только лишній разъ показываетъ намъ,

подчеркиваетъ, какъ тщетна, глупа и фальшива, и даже просто непріемлема для человѣческой природы та единственная оставшаяся вѣра, въ которой смѣетъ еще вслухъ признаться бѣдный современный человѣкъ: вѣра въ будущія поколѣнія. Вѣра, въ которую не вѣрится. Вѣра, которая не нужна ни на что. Настоящій человѣкъ—вопитъ противъ нея: съ какой стати? Да и чертъ ли мнѣ въ будущихъ поколѣніяхъ, если я... А что же я? Я-то самъ?

Сергѣева-Ценскаго можно упрекнуть въ излишнемъ нагораживаніи внѣшнихъ ужасовъ. Теряется правдивость отъ такой неумѣренности, отъ такого скопленія въ одномъ мѣстѣ всѣхъ представимыхъ и даже непредставимыхъ гадостей. Въ „Скоро я умру“—сразу тонутъ всѣ, кромѣ хилаго, гнилого сына, безпомощно присутствующаго при гибели отца, матери и т. д.,—всѣ безъ остатка. Что дѣлается съ Антониной изъ „Лѣсной топи“—прямо невѣроятно. Плетется какая-то цѣпь изъ черныхъ, отвратительныхъ звеньевъ. Придурь, ребенокъ-уродъ, любовникъ-сифилитикъ, — и ужъ окончательно безъ носа, съ язвой во все лицо,—страшные, безвыходно тупые люди

вокругъ,—и, наконецъ, когда уже ничего, кажется, не остается, кромѣ смерти,—Ценскій и смерть эту посылаетъ Антонинѣ въ самомъ страшномъ ея образѣ: артель мужиковъ въ лѣсу, на которую набрела, заблудившись, Антонина,—тупо, дьявольски стихійно, безъ слова набрасывается на нее, вся, и, насилуя, тѣмъ самымъ ее убиваетъ.

Рожденіе, природа, любовь, надежда, жалость, страсть,—все Ценскій показываетъ намъ исковерканнымъ, все въ пятнахъ Безсмысленнаго Зла, точно въ пятнахъ проказы. Но неумѣренность Ценскаго въ собираніи конкретныхъ, внѣшнихъ ужасовъ,—вполнѣ понятна. Онъ изо всѣхъ силъ старается, онъ непремѣнно хочетъ свое ощущеніе ужаса передъ Зломъ передать другимъ съ наибольшей полнотой; и невольно огрубляетъ краски для другого, можетъ быть, еще грубаго взора. Конечно, не у всѣхъ „всѣ умираютъ, всѣ съ ума сходятъ“. Но Ценскій знаетъ, а не знаетъ, такъ чувствуетъ, что если хоть у одного „всѣ умерли и съ ума сошли“,—то это совершенно все равно, какъ если бы у всѣхъ; что ни одной „слезинки“ нельзя оправдывать, если не оправдана хоть одна. А вѣдь съ какой недомыс-

ленной легкостью многіе еще примиряются... ну хотя бы съ землетрясеніемъ, гдѣ погибло только 66 человѣкъ, да за то спаслось 6,666! И Ценскій, неправдиво фактически, грубо,—но съ глубочайшей внутренней правдой кричитъ: „всѣ, всѣ! У всѣхъ всегда всѣ умираютъ, всѣ съ ума сходятъ! Проклятые люди, проклятый міръ! но... но я не хочу, я не могу, чтобы такъ было. Нельзя, чтобы такъ было, потому что у человѣка есть къ міру любовь“.

Вотъ это-то живое, — можетъ быть, не вполнѣ сознанное, все равно!—противорѣчіе, это „несомнѣнно проклятъ“ и „несомнѣнно не хочу“, и отличаютъ Сергѣева-Ценскаго отъ другихъ современныхъ писателей того-же уклона. Того-же уклона,—но съ антиномією, менѣе рѣзко поставленной, менѣе трепетной и подлинной. Можетъ быть эта трепетность и рѣзкость питаютъ и самый талантъ Ценскаго, даютъ языку его выразительную силу.

До риторики недалеко... но ея еще нѣтъ. Недалеко,—иногда кажется,—и до просвѣтленія, до начала раскрытія необходимаго „смысла“ жизни... но и его еще нѣтъ. Во всякомъ случаѣ на своей теперешней точкѣ,

въ данномъ своемъ состояніи, Ценскій не можетъ остаться навсегда, ни какъ человѣкъ, ни какъ художникъ. Это ужъ было-бы послѣднее безсмысліе,—котораго, къ счастью, въ жизни не встрѣчается. Нельзя стоять долѣе мгновенья на колющемъ остріѣ. Мы не знаемъ, добрался ли уже Ценскій до этого окончательнаго острія. Но когда доберется (и если доберется)—то нельзя ему будетъ не полетѣть; и непремѣнно онъ полетитъ,—или внизъ... или вверхъ.

Бѣдный городъ

Парижъ... Я его не „люблю“, прежде всего. То есть онъ не любъ мнѣ, не милъ мнѣ, какъ мила, люба нѣжная Флоренція, темный, тихій Римъ, даже отчасти нашъ Петербургъ, прямой, блѣдный, страшный, призрачный. Я знаю эту влюбленность въ города. Ночью не спится отъ волнующаго блаженства, а днемъ бродишь до устали все равно гдѣ, и каждое лицо кажется красивымъ, каждый человѣкъ—близкимъ, потому что онъ идетъ по милой улицѣ, каждый камень мостовой — нужнымъ. Если долго живешь—пѣна влюбленности исчезаетъ, но память о ней, и возможность ея возвращенія, и тихая, благодарная любовь — остаются.

О, конечно, не исторія города создаетъ эту любовь къ нему, такъ же, какъ и не внѣшняя красота его, такъ же, какъ и не

жизнь его въ настоящій моментъ. Вѣроятно, все вмѣстѣ творитъ его образъ, живой, который мы видимъ, ощущаемъ, и это живое единое существо плѣняетъ неотразимо. Я не думаю о древнемъ Римѣ и его величіи когда стою на перекресткѣ, недалеко отъ Пантеона, у бѣдной merceria, гдѣ крутъ поворотъ рельсъ электрической конки и гдѣ черный мальчишка переругивается съ дурноодѣтой синьориной; мнѣ все равно, что было тутъ прежде; мнѣ нравится такъ, какъ сейчасъ; но не спорю, вѣрно не было бы такъ, какъ сейчасъ, если бы прежде не было такъ, какъ было. И отъ любви моей къ Риму—растетъ и утверждается моя любовь къ его великой исторіи; а не наоборотъ.

Пусть это субъективно. Любовь или не любовь не лишаетъ меня нимало возможности судить здраво и объективно, въ полномъ спокойствіи и справедливости — хотя бы о томъ же Парижѣ. Но интересно ли это? Всѣ знаютъ (и я со всѣми), что Парижъ прекрасенъ, что онъ веселъ, шуменъ и блестящъ, что исторія его не менѣе величественна, нежели исторія Рима, а культура выше,—настолько, насколько Эйфелева

башня выше храма Петра (пожалуй, и того выше). Важно не то. Важно, есть ли возможность человѣку, умѣющему любить города, какъ живыя существа, и человѣку не безсознательному, человѣку, ищущему вѣчнаго во временномъ прежде всего,—есть ли ему возможность л ю б и т ь Парижъ?

Я люблю міръ въ немъ,—какъ вездѣ. Но ликъ самого города—мнѣ страшенъ. И жалокъ. Я люблю дворцы его и берега его рѣки,—но душа города, со всѣмъ прошлымъ своимъ, которое создало ея настоящее—отталкиваетъ и угнетаетъ меня.

Однообразенъ шумъ потока, одинакова зелень лѣса, каждый день повторяетъ солнце свой восходъ и заходъ; но развѣ не чувствуется и не знается, что это не возвращеніе по кругу, не нѣчныя повторенія, а новая струя шумитъ, и деревья разныя, и закаты и зори—не вчерашніе? Живое не страшно, и мертвое не страшно. Но ничто не даетъ такого холоднаго, почти внѣразумнаго ужаса, какъ поддѣлка мертваго подъ живое. Нѣтъ ничего страшнѣе автомата.

И вотъ, въ звукахъ Парижа, въ его движеніи, въ его краскахъ, въ лицахъ и одеждахъ его людей—есть автоматизмъ. Я не го-

ворю: Парижъ—автоматъ. Я говорю точно: есть автоматизмъ, есть этотъ послѣдній ужасъ въ ликѣ города.

Одинъ и тотъ же мотивъ свиститъ и пробѣгающій мальчишка, и наигрываетъ кто-то внизу на рояли: одна и та же шляпка надѣта на всѣхъ женскихъ головахъ, другая на мужскихъ; одинъ голосъ реветъ изъ каждаго, правильно и одинаково воняющаго, автомобиля. И какъ будто одна громадная, разсыпавшаяся на сорокъ тысячъ мелкихъ, проститутка ходитъ вечеромъ по одному длинному бульвару, повторяя одно и то же слово. Вещи, и деньги, и люди — все движется по кругу; потому что все (и всѣ), безъ остановки, покупается, продается, и вновь продается, и опять покупается. Не важно, кто и что: все рѣшительно покупается, какъ все и всѣ рѣшительно продаются. Вверхъ и внизъ, справа налѣво, заводъ длинный, очень длинный...

Сегодня праздникъ. На улицахъ танцуютъ со вчерашняго вечера. Надъ темными домами вьются фейерверки, дѣти плачутъ, прохожіе поютъ, автомобили стонутъ чаще, омнибусы полны солдатами. Поютъ и хоромъ; издали, точно наши дере-

венскіе парни кричатъ. Добрый парижскій народъ празднуетъ взятіе Бастиліи. Вспоминаетъ первый день своей свободы отъ насилія, — свободы, завоеванной насиліемъ для... Для чего?

Я останавливаюсь. Я забываю о Парижѣ на мгновенье. Я думаю о моей внезапной и простой мысли. О словѣ „свобода“. Какое странное слово! Не самое ли оно могучее въ исторіи, не оно ли двигало народы? А между тѣмъ это—слово безъ понятія. Слово, не означающее ничего, то-есть ничего положительнаго само въ себѣ; это та пустота, которую не терпитъ природа, и которой поэтому въ природѣ фактически никогда не существуетъ. „Свобода“... и больше ничего—безсмыслица. Свобода не понятіе, не фактъ; свобода—это гибель одного явленія и возникновеніе на его мѣстѣ другого, — и свободой называется самое мгновенье смѣны. Больше ничего. Свобода „отъ“ — „для“. Всегда „отъ“ — „для“, и какія бы недоразумѣнія тутъ ни завивались въ понятіяхъ и ощущеніяхъ людей,—законы природы вѣчно тѣ же; и освобождаемся отъ нихъ мы только для того, чтобы умереть.

Народъ освобождается отъ цѣпей, отъ внѣшняго насилія--для роста, для—счастія, въ концѣ-концовъ. Онъ что-то обѣщаетъ себѣ, разрушая, ломая цѣпи. Знаетъ онъ это или не знаетъ—но всегда лишь этотъ обѣтъ передъ самимъ собой даетъ ему силу для разрушенія стараго. Лишь „во имя“ чего-то, и непремѣнно лучшаго, непремѣнно высшаго, онъ ломаетъ старое, во имя положительнаго беретъ онъ на себя эту „свободу“, то есть творитъ мгновенье смѣны. Хотя бы и кричалъ „свобода“,—все равно. Не для „свободы“ ломаетъ, потому что во времени этого мгновенья смѣны (свободы) даже и нѣтъ, но для своей надежды, для обѣта, который даетъ самому себѣ, которымъ онъ уже связанъ, съ которымъ радостно связанъ—въ любви къ нему.

Граждане Парижа взяли Бастилію. Душа народа, согнутаго извнѣ, свергла насиліе во имя человѣческаго „лучшаго“. Для своего лучшаго, для своего роста, для жизни. Что же случилось? Когда остановился ростъ? Почему остался недовершеннымъ обѣтъ этого „лучшаго“, этой жизни, обѣтъ, который далъ себѣ народъ, и святость котораго

помогла разрушить старое? Почему автоматизмъ, точно синія пятна, сталъ проступать на лицѣ города?

Я не знаю ничего; я смотрю извнѣ; но, только глядя издали, извнѣ, и можно видѣть ликъ города. Имъ, изнутри, самимъ не видно; они кусочки мозаичной картины. Я не забываю, что каждый изъ нихъ, кромѣ того, и часть міра, и самъ—цѣлый міръ. О, какъ они мнѣ близки, какъ я бездонно жалѣю эти капли океана, гдѣ и я — такая же капля! Но ликъ города, ликъ города... Сливаясь въ одно въ немъ — они умираютъ вмѣстѣ со своимъ несчастнымъ городомъ.

Праздникъ „свободы“... какая въ немъ тупая и плоская горечь! Въ этотъ день люди Парижа прежде всего парижане, и автоматизмъ города побѣждаетъ въ нихъ личные остатки жизни; они автоматы во всю. Неужели думаютъ они хотя бы о томъ, что̀ празднуютъ? Конечно, нѣтъ. Просто праздникъ. Надо танцовать, двигаться, зажигать огни, веселиться. Одни автоматы, другіе дѣти или дикари, веселящіеся потому, что весело физіологически, а „праздникъ“— случай, какъ другіе. Могъ бы и не быть.

Если бы сегодня, сейчасъ, внезапно поднялась изъ земли и стала на прежнемъ мѣстѣ темная Бастилія—ни у кого не хватило бы духа даже пожелать взять ее. Душа города безсильна разрушить что-либо, потому что у нея нѣтъ яркихъ надеждъ, и отвѣтственности за лучшее она не можетъ взять на себя. Что же случилось, и когда? Не знаю; не знаю. Я только не могу любить старую, вялую душу этого города безъ настоящаго.

На площадяхъ предмѣстій пляшутъ дѣти-дикари, — солдаты и женщины въ бѣлыхъ кофточкахъ. Каждая ракета сопровождается согласнымъ и однообразнымъ воемъ удовольствія. Avenues—пустынны; иллюминація претенціозна и слаба. Чувствуется обрядность. На бульварахъ—обычныя будни, машинный шумъ автомобиля, который можетъ испортиться—но не портится, устроенъ хорошо. Подъ каждымъ деревомъ — маска проститутки, развалившейся на сорокъ тысячъ отдѣльныхъ, подобныхъ. Кафе, огни, бары, лакеи, музыканты, калѣки, дѣти, нищіе, фокусники—тутъ все разнообразіе человѣческой множественности сливается въ единство, механическое единство заводной ма-

шины. Валы движутся, машина идетъ, Парижъ „живетъ“.

Мнѣ кажется иногда (но это, конечно, лишь кажется, это невѣрно, ибо Парижъ не автоматъ, и лишь въ немъ — автоматизмъ), что страны могутъ разрушиться, народы исчезнуть, далекія горы сдвинуться и пасть въ море, Европа опустѣть—а Парижъ, не замѣтивъ, будетъ все такъ же, совершенно такъ же, изо дня въ день, жить, шумѣть и веселиться, и не остановится, потому что не въ его власти остановиться, пока не выйдетъ заводъ. А заводъ устроенъ по самому усовершенствованному способу—на неопредѣленное время.

Оставляя „метафизику“, до которой почти никому дѣла нѣтъ, глядя на Парижъ просто, совсѣмъ внѣшне—я скажу, что жизнь его прежде всего крайне мало нарядна. Если бы не было такихъ претензій нарядности и самодовольной увѣренности, что ужъ тамъ что другое—а именно нарядность, и самая совершенная, есть,—вѣроятно отсутствіе ея и не бросалось бы такъ въ глаза. Флоренція — нарядна, какъ цвѣтокъ, который объ этомъ не заботился, а такимъ вы-

рось. И опять повторяю, не о зданіяхъ говорю, не о видѣ города, а о ликѣ его, о городѣ и жизни его, о его единомъ существѣ. Римъ не наряденъ, но ему и не надо быть такимъ.

Нарядность — творчество. Этого творчества у парижанъ нѣтъ. Внѣшняя культурность и упорная заботливость могутъ отчасти замѣнить тутъ творчество. Но и на это парижанъ не хватаетъ, потому что сами они очень искренно довольны малымъ. Ужасно скромны. Второй сортъ ихъ удовлетворяетъ и они считаютъ его первымъ. Огни могли бы быть ярче, платья женщинъ красивѣе, тротуары чище,—это легко вообразить,—но парижанину великолѣпно и такъ. Ему достаточно дешевой многообразной однообразности, довольно внѣшняго мерцанья и блистанья, какъ дикарю стразовыхъ бусъ. Въ этой самодовольной непритязательности — провинціализмъ и консерватизмъ Парижа. Отчасти причина консерватизма Парижа лежитъ и въ его настоящей неспособности къ творчеству, но малая требовательность, легкая удовлетворенность тѣмъ, что есть—причины, конечно,

первыя. И опять приходимъ къ тому же: люди Парижа, какъ части его, обра-
зующіе ликъ города,—люди двухъ типовъ: дѣти-дикари и автоматы. Первые довольствуются малымъ и любятъ то, что больше блеститъ и сильнѣе шумитъ; вторые—довольствуются совсѣмъ всѣмъ, потому что имъ совсѣмъ все — все равно. Они — только необходимая декорація, страшная для тѣхъ, кто подозрѣваетъ ихъ тайну, не страшная для простодушныхъ.

Однако, я не могу продолжать. Если дѣйствительно таковъ ликъ одного изъ самыхъ громадныхъ, самыхъ древнихъ и прекрасныхъ городовъ земли—то вѣдь этотъ городъ долженъ разрушиться, распасться; люди, чтобы не быть дикарями и автоматами, должны разбѣжаться въ разныя стороны! И ужъ если опять соединяться — то иначе, на иныхъ основаніяхъ, на другой почвѣ... а это все—проклясть. Непремѣнно все проклясть, цѣликомъ.

Но тутъ-то и совершилась бы самая злѣйшая неправда. Потому что не ликъ это города,—и не можетъ быть человѣческаго города съ такимъ ликомъ, — это только

страшная его личина. Короста, которая можетъ остаться, но можетъ, все-таки можетъ, спасть.

Проклятыхъ городовъ нѣтъ, какъ нѣтъ проклятаго народа, нѣтъ ни одного проклятаго человѣка. Вездѣ, во всемъ, во всѣхъ и въ каждомъ, сколько бы ни лежало тьмы и ужаса—рядомъ же, тутъ же, лежитъ и сила правды. Есть несчастные города, несчастные люди, народы, болѣе другихъ павшіе. Но вездѣ сохранена возможность возстанія.

Я не хочу кончать общими, ничего не говорящими фразами: „вѣрю, молъ, что Парижъ... скоро... или когда-нибудь“... Ничего я не знаю, и совершенно ничего не предрѣшаю и не рѣшаю. Просто смотрю и вижу, соотвѣтственно остротѣ моего зрѣнія, что Парижъ—одинъ изъ такихъ несчастныхъ городовъ. Бѣднякъ, не имѣющій ничего,—и притомъ самъ объ этомъ не знающій. Послѣднее — самое опасное. Голодный, не знающій о томъ, что голоденъ, легко можетъ умереть отъ голода, — потому что онъ не пойдетъ искать пищи.

Я искренно думаю, что рано или поздно всякій голодный почувствуетъ и пойметъ,

что онъ голоденъ. Естественно, что и Парижъ пойметъ, какъ онъ нищъ, нагъ и бѣденъ. Когда это будетъ—я не знаю. А пока онъ несчастенъ, только несчастенъ — его трудно любить; но можно жалѣть, горячо, глубоко, праведно, — и любить его истинный ликъ, который, если не мы—увидятъ другіе.

Парижскія фотографіи

Harmonie universelle

Около укрѣпленій слѣзли съ трамвая. Идемъ по пустырямъ въ маленькое предмѣстье на берегу Сены.

Темно, тепло, душно. Точно іюльскій вечеръ, — не октябрьскій. Беззвѣздное небо надъ безконечной дорогой между деревьями. Изрѣдка тѣни какихъ-то страшныхъ людей. Они всѣ похожи на апашей. Итти жутко.

Но вотъ и огоньки. Освѣщенное кафе. Начинается предмѣстье. Заворачиваемъ въ маленькую улочку. Въ темнотѣ еле находимъ номеръ двадцать шестой. Узкій дворъ. Комната г. Андрэ внизу, ходъ прямо со двора, ни ступеньки, ни порога.

Стучимъ. Въ окнѣ огонь, но никто не отвѣчаетъ, не отворяетъ.

Къ намъ приближается чья-то узенькая, робкая тѣнь. Тоже „товарищъ“, тоже гость г. Андрэ.

Изъ противоположнаго окна, сверху, высовывается женщина.

— Вы къ Андрэ? Онъ, должно быть, въ двадцать восьмомъ, à coté. Chez sa dame.

Принимаетъ участіе.

Отправляемся въ двадцать восьмой, уже вмѣстѣ съ „товарищемъ“, который едва говоритъ по-французски — итальянецъ.

Въ полной темнотѣ кричимъ снизу на весь дворъ:

— Андрэ! Андрэ!

Другая женщина высовывается изъ окна.

— On descend!

Вотъ и Андрэ,— маленькій, щупленькій, молодой, съ измученнымъ лицомъ. Торопливо прожевываетъ кусокъ, извиняется. Занятъ былъ цѣлый день, не успѣлъ поѣсть.

— Что же вы не вошли? Дверь не заперта. Я сейчасъ.

Идемъ назадъ. Дверь, дѣйствительно, не заперта. Крошечная комната кажется еще меньше отъ невѣроятнаго количества книгъ, которыми заставлены всѣ стѣны, отъ двухъ длинныхъ столовъ съ грудами газетъ, бу-

магъ, журналовъ. На полу щетка и башмаки, въ углу печурка для кипяченія воды. Походная постель, сложенная большимъ кубомъ. Отъ тѣсноты мы на нее, почти подъ потолокъ, и взгромождаемся. Стулья, все равно, безъ сидѣній. Кое-гдѣ на нихъ только дощечки положены.

Сегодня среда. И члены „Всеобщей гармоніи“ понемногу начинаютъ собираться къ Андрэ.

Хозяинъ въ замѣшательствѣ. Онъ обѣщалъ прочесть рефератъ, но не можетъ найти рукописи: она затерялась въ грудѣ бумагъ. Ищетъ, всѣ ищутъ съ нимъ (народу уже порядочно) — нѣтъ реферата. Молодой русскій еврейчикъ, рабочій, говорящій по-французски, какъ французъ, начинаетъ кипятить воду для чая.

Съ одного стола свалили всѣ бумаги на полъ и кое-какъ разсаживаются, обративъ столъ въ скамейку. И громко обмѣниваются новыми извѣстіями о различныхъ анархическихъ колоніяхъ. Кто-то говоритъ, что одинъ анархистъ взялъ да и разбилъ статую Франциска I. Одни одобряютъ, другіе недовольны.

Пожилой, одѣтый „en bourgeois“, товарищъ вступается за „искусство“.

— Что-жъ, по-твоему и церквей не трогать?—спрашиваетъ его другой. Лицо энергичное, грубое, небритое. Глаза воспалены. Руку все время сжимаетъ въ кулакъ. Много куритъ, самъ свертываетъ папиросы неловкими черными пальцами. Весь онъ точно накаченъ ненавистью, которая постоянно изъ него выпираетъ.

— Къ чему жъ ихъ разрушать? Конечно, попы—жулики, выдумываютъ всякую чепуху, лишь бы нагрѣть народъ. Такъ вольножъ поповъ слушать! Поумнѣютъ люди,— тогда и поповъ не будетъ. А церкви зачѣмъ трогать? Въ нихъ, я вамъ скажу, есть вещи пикантныя...

Заговорилъ о Шартрскомъ соборѣ. О томъ, что на его стѣнахъ высѣчены изъ камня самые разнообразные пороки.

— Я—человѣкъ въ этомъ дѣлѣ опытный,—прибавилъ онъ не безъ самодовольства,—а и то нѣкоторыя комбинаціи меня удивили.

Но противникъ не унимался.

— Такъ ты думаешь, церкви-то людей не портятъ? А вотъ я недавно вошелъ въ соборъ. Сумракъ. Вдали статуя Богородицы, освѣщенная голубымъ. Мнѣ даже стало

жутко. Да спроси меня тогда сразу, какъ меня зовутъ,—я бы, навѣрно, заикаясь, началъ лепетать: П-п-ьеръ, П-пьеръ... Нѣтъ, голубчикъ. Ужъ коли мы за свободу, за вольныхъ людей, такъ ужъ надо всѣ эти навожденія съ корнемъ вырвать. Не поповъ однихъ вонъ, а и церкви ихъ дурацкія!

— А ты бы подальше отъ лампы,—вмѣшался молодой рабочій съ миловиднымъ, смуглымъ лицомъ. — Алкоголики иногда вдругъ вспыхиваютъ.

И онъ по-ребячьи расхохотался, сверкнувъ бѣлыми зубами.

Но споръ закипалъ. Вѣковая ненависть къ церкви, духовенству, ко всему, что называлось религіей, душила этихъ людей, туманила сознаніе. Попъ, капиталистъ, солдатъ, христіанство, метафизика—все это, казалось имъ, были только безчисленныя лапы одного и того же чудовища, которое сосетъ кровь измученнаго, уставшаго, доведеннаго до отчаянія народа.

Хозяинъ, Андрэ, — издатель анархическаго ежемѣсячника, не чуждаго и вопросамъ метафизики. Чтобы примирить спорщиковъ, Андрэ началъ что-то вяло говорить о символахъ, о прекрасномъ, о свободѣ

искусства. Жалкая, безполезная риторика! Ее и не услышитъ глухая ненависть, издавна накопленная, ищущая выхода; и никакой метафизикой не остановить волны гнѣва, которая затопитъ рано или поздно старую культуру.

Постучались. Вошелъ блѣдный, туповатый, бѣлокурый интеллигентъ, съ портфелемъ подъ мышкой. Въ портфелѣ у него былъ рефератъ о строеніи мозга.

Хозяинъ обрадовался: своего реферата онъ такъ и не нашелъ, — вечеръ грозилъ пройти безъ анархическаго поученія.

Лектору дали грифельную доску и мѣлъ. Русскій еврейчикъ розлилъ черный, какъ пиво, чай въ маленькія кофейныя чашки безъ блюдечекъ. Всѣ пили въ прикуску, точно въ Россіи.

Кто-то сказалъ съ дѣтскимъ вздохомъ:

— А вотъ, когда мы собираемся у другого товарища, въ кафе N., такъ тамъ даютъ кофе, un bon café bien sucré!

Интеллигентъ важно оглядѣлъ аудиторію и началъ. Прежде всего сказалъ, что, конечно, онъ отбрасываетъ всякую мистику, всѣ неясности о душѣ и прочіе préjugés, какъ несуществующія, дѣтскія вещи; а за-

тѣмъ перешелъ, немного сбиваясь и глотая слова, къ объясненію строенія мозга.

„Матерія и энергія“, „мысль — функція мозга“, „рефлексъ — подобенъ электрической искрѣ“, „клѣточка и клѣточка“... Застучали старыя, давно знакомыя слова. Это все, конечно, очень хорошо, полезно и доступно пониманію аудиторіи. Это, навѣрно, читается все и у насъ, и читалось, гдѣ-нибудь, въ воскресной вечерней школѣ за заставой. Но причемъ же тутъ собраніе „либертэровъ“, проповѣдь самодовлѣющей свободной личности, общество „Всемірной гармоніи“, наконецъ?

Хозяинъ пытался возражать, указывалъ на какія то противорѣчія—тщетно. Лекторъ былъ неуязвимъ и беззаботно строилъ свой анархизмъ на клѣточкахъ, энергіи и матеріи и твердо рисовалъ на грифельной доскѣ узоры „нейроновъ“ съ такимъ видомъ, что въ нихъ именно и открывается вся новая глубина анархизма.

Становилось душно. Синія волны дыма ходили по комнатѣ. Замазаннаго мѣломъ окна хозяинъ не открывалъ. Какъ ни приспособлена была лекція къ пониманію слушателей, — они устали. Молодой рабочій,

врагъ алкоголя, задремалъ и встряхнулся только тогда, когда лекторъ сталъ объяснять, что такое опьяненіе.

По рукамъ ходила бумажка. Печатное воззваніе къ людямъ „непьющимъ, не-курящимъ, съ хорошимъ характеромъ, т. е. не любящимъ ссоръ и не имѣющимъ предразсудковъ“, предложеніе купить вмѣстѣ землю и основать еще одну колонію.

А лекторъ трещалъ безъ умолку. „Если вскипятить воду, то фатально“...

Слово „фатально“, какимъ-то чудомъ примиренное со свободой, такъ и звенѣло припѣвомъ ко всякому поученію.

Поздно, поздно... А надо поймать послѣдній трамвай въ городъ. Кое-кто уже сталъ уходить. Воспользовавшись перерывомъ, какимъ-то спором, ушли и мы.

Нѣсколько „товарищей“ вызвались насъ проводить. Хозяинъ на прощанье подарилъ намъ два выпуска русскаго анархическаго журнала.

На улицѣ стало холоднѣе, вызвѣздило. Товарищи разспрашивали насъ о Россіи. Одинъ оказался нѣмцемъ. Обрадовался, что мы понимаемъ по-нѣмецки и сталъ быстро-

быстро говорить о томъ, какъ интересны среды у Андрэ, какъ успѣшно развивается анархизмъ — „и ужъ близка его побѣда“...

— А вы чѣмъ занимаетесь?—спросилъ я.

— У насъ тутъ неподалеку лавочка. Торгую. Въ девять закрываемъ—и къ Андрэ.

— Лучше, чѣмъ сидѣть въ кафэ,—замѣтила его жена.

Въ гулкомъ вагонѣ трамвая, подъ свѣтомъ керосиновой лампы, я развернулъ русскіе журналы.

Прочиталъ „некрологъ“ анархиста. „Спи спокойно, дорогой товарищъ! Полиція не дала почтить твою память пѣніемъ революціонныхъ пѣсенъ. Ну что жъ! Мы почтимъ ее грохотомъ выстрѣловъ, рядомъ взрывовъ!“

Въ вагонѣ сидѣли мирные французы. Разговаривали, какъ всегда, о деньгахъ и болѣзняхъ. И приличная, остроносая старушка настоятельно и однообразно все совѣтовала другой купить какое-то патентованное средство отъ несваренія желудка.

Disharmonie harmonieuse

Свѣтлое, все бѣлое, маленькое кафэ.

Оно уютное, оно „douillette“. Рыже-розовымъ бархатомъ затянуты окна и двери.

Хозяинъ здѣсь—смуглый, „роскошный“ мужчина въ смокингѣ, цвѣтной рубашкѣ и лакированныхъ ботинкахъ со свѣтлыми гамашами. Онъ все слѣдитъ, чтобы съ улицы ничего не было ни видно, ни слышно, и выхоленной рукой въ блестящихъ кольцахъ то и дѣло задергиваетъ плотнѣе розовый бархатъ на окнахъ.

Часъ ночи. Театры кончились, и къ „Bar Auguste“, въ маленькомъ подозрительномъ переулочкѣ на Монмартрѣ, подъѣзжаютъ элегантные вонючіе автомобили и экипажи. Дверь поминутно отворяется. Кавалеры во фракахъ, „дамы“ въ вечернихъ туалетахъ. Двѣ зеркальныя стѣны, одна противъ другой, дважды повторяютъ всѣхъ и все, что между ними.

Звуки „мачичэ“ поютъ изъ угла, гдѣ алѣются бархатныя куртки музыкантовъ. Пожилой, бритый „Отеро“, извивающійся какъ змѣя, танцуетъ съ Бобетъ. Бобетъ все оглядывается въ зеркало. Онъ себѣ нравится. И его безпокоятъ аккуратные, мелкіе кудряшки—какъ бы не растрепались. Стран-

ные. Точно на немъ парикъ изъ „искусственнаго барашка“, — вотъ какъ наши солдатскія шапки.

„Отеро“ (по профессіи онъ... дамскій портной) задрапированъ большой пестрой испанской шалью. Въ кафэ тѣсновато, и длинная бахрома цѣпляется за пуговицы гостей. На головѣ широкая фетровая шляпа. Въ зубахъ онъ держитъ красную розу.

Отеро щелкаетъ кастаньетами, Отеро искренно увлеченъ танцемъ. Ему пріятно, что на него смотрятъ, что такъ свѣтло, что такъ много шикарныхъ гостей сегодня. Кромѣ того, онъ любитъ Бобетъ и льнетъ къ нему, томно извиваясь.

Громкіе апплодисменты, — всего громче, косясь на дверь, апплодируетъ хозяинъ. Браво, Отеро!—кричатъ со всѣхъ сторонъ.

И двѣ дамы приглашаютъ его къ своему столику, угощаютъ шампанскимъ.

На одной — шляпа canotier и мужской пиджакъ. Крахмальные воротнички подпираютъ острый подбородокъ. Въ правой рукѣ папироска, а лѣвая обнимаетъ сосѣдку, миловидную, блѣдную дѣвушку съ ярко накрашенными губами. У нея пышные льня-

ные волосы; на пальцахъ обѣихъ рукъ такое множество колецъ, что кажется, будто она въ металлическихъ перчаткахъ. Бѣлое платье съ высокой таліей — style bébé.

— *Лили*, — пристаетъ къ ней Отеро, — спойте что-нибудь!

Лили, жеманясь, выходитъ на середину. Подруга не спускаетъ съ нея взора.

Но тутъ вышло небольшое недоразумѣніе. Маленькому Адольфу, очаровательному юношѣ съ томными, нѣжными глазами, надоѣло сидѣть съ нѣмцемъ. Нѣмецъ угощаетъ пивомъ, по-французски почти не говоритъ, и вообще онъ вдругъ показался Адольфу грубымъ, скучнымъ, неинтереснымъ. А тутъ полякъ, во фракѣ и цилиндрѣ, бросилъ ему черезъ столъ розу. Адольфъ вдѣлъ ее въ петлицу, пошелъ къ поляку и поцѣловалъ его прямо въ губы.

Нѣмецъ обидѣлся и началъ говорить поляку дерзости. Неизвѣстно, чѣмъ бы это кончилось; но привычный хозяинъ не смутился, сразу понялъ, на чью сторону встать: полякъ каждый вечеръ тратитъ здѣсь сотни франковъ на шампанское. И хозяинъ что-то энергично говоритъ нѣмцу. Тотъ, злой,

красный, уходитъ; всѣ смѣются и свистятъ. Особенно тонко смѣется Адольфъ, поглядывая, впрочемъ, не на поляка, а уже въ сторону трехъ молодыхъ бритыхъ американцевъ, которые, съ толстыми сигарами въ зубахъ, тупо и невозмутимо слѣдятъ за всѣмъ происходящимъ.

Лили было встревожилась, но успокоилась и завела тоненькимъ голоскомъ пѣсенку, сладкую и нѣжную, и все вскидывала глаза на подругу. Въ мужскомъ обществѣ пѣвица успѣха не имѣла, но шикарныя „дамы“, наклонившись, стали что-то жарко объяснять своимъ усталымъ, пожилымъ кавалерамъ, а потомъ мягко заапплодировали руками въ бѣлыхъ длинныхъ перчаткахъ.

Бобетъ объявилъ, что онъ тоже хочетъ пѣть. — Но съ нимъ вѣчно исторія: онъ слишкомъ занятъ собой, онъ требуетъ, чтобы когда онъ поетъ—всѣ молчали. А какъ нарочно, едва онъ начнетъ — подымаются разговоры. Онъ сердится и умолкаетъ. Ему кричатъ, клянутся слушать,—и опять перебиваютъ. Жеманно обижаться, дѣлать плаксивую физіономію—спеціальность завитого

барашка—Бобетъ. Молодой художникъ изъ гостей старательно зачерчиваетъ его смѣшную фигуру.

Бобетъ, какъ и Лили, имѣетъ пристрастіе къ сентиментальнымъ, сладкимъ пѣснямъ. Онъ прижимаетъ руки къ сердцу, поетъ о несчастной любви, о жестокости мужчинъ.

Вотъ Люсьенъ—другое дѣло. Онъ нѣжностей не признаетъ. У него недурной баритонъ. Выпучивъ глаза, съ чрезвычайно серьезнымъ лицомъ, онъ выпаливаетъ такія штучки, которыя, благодаря ихъ специфическому характеру, даже не всегда и понятны. Пикантныя мѣста онъ подчеркиваетъ жестами. Слушатели довольны.

Особенно полякъ смѣется. Онъ ужъ забылъ Адольфа и приглашаетъ болѣе энергичнаго Люсьена къ своему столику. Люсьеновъ, впрочемъ, два. Второй—скромный, непоющій, мальчикъ лѣтъ восемнадцати,—на видъ даже меньше.

Молодой русскій художникъ, здѣшній таинственный завсегдатай („таинственный“ потому, что, хотя всѣ здѣсь къ нему привыкли и любятъ его, никто, вплоть до

Отеро, не знаетъ его имени)—зоветъ этого второго Люсьена къ нашему столику. Подсаживается и уставшій отъ танцевъ Отеро.

Художникъ любезно преподноситъ имъ по букетику фіалокъ. Люсьенъ такъ глупъ, что даже не можетъ придумать, куда ему дѣвать фіалки. Люсьенъ глупъ до полнаго совершенства, не только до невинности, но до худшаго, — до послѣдней добродѣтели. Говорить онъ почти не можетъ. Только улыбается дѣтски-свѣжими губами. Глаза у него тоже не то младенческіе, не то оленьи,—очень красивые. На нихъ засматривается, сбитый съ толку, пожилой русскій писатель-эмигрантъ. Ума, кстати же, онъ не ищетъ, довольствуясь своимъ. А молодости у Люсьенчика — хоть отбавляй.

Въ самомъ дѣлѣ, къ чему умъ, когда есть свѣжесть, красота и—добродѣтель?

— Гы-ы...—улыбается Люсьенъ.—J'aime tout le monde...

Отеро, напротивъ, совсѣмъ не глупъ. Онъ не прочь даже пофилософствовать, привычно притворяясь кокоткой средневысшаго полета, привычно повторяя женскія кошачьи ужимки. Лицо у него набѣлен-

ное, какъ маска. Онъ раздуваетъ ноздри плосковатаго утинаго носа; минодируя, закладываетъ за уши фіалки и круглые зеленые листья. Онъ растрепалъ букетикъ.

— Хорошо жить на свѣтѣ, bon camarade? — спрашиваю я его.

Онъ склоняетъ голову на бокъ.

— Хорошо, потому что всегда есть надежда.

— На что?

— Не знаю. Не все ли равно? O, speranza, speranza!

Врешь ты, — думаю я. Знаешь ты, что старость приближается, и знаешь ты, что въ твоемъ ремеслѣ... „дамскаго портного“ молодость нужна, какъ ни въ какомъ другомъ, какъ никому; даже une cocotte chic, „дама просто“,—и та дольше хранитъ свой капиталъ...

Движеніе... Новое лицо. Очень молодой мальчикъ, прекрасно одѣтый, замѣчательно красивый, кажется, испанецъ. У него растерянные, какіе-то затравленные, глаза. Оглядывается. Отеро вскакиваетъ, небрежно толкнувъ Люсьена. Испанца окружили. Черезъ минуту уже затерли. Куда онъ потомъ дѣвался, — очень скоро, — не знаю.

Музыканты заиграли было цыганскій романсъ, но ихъ перебили требованіемъ „маничэ“. Опять кто-то, віясь, пошелъ танцовать... Сцѣпленныя руки высоко покачивались въ сизомъ воздухѣ...

Ну, что же теперь? Кажется, все ужъ было, по-хорошему: и пѣли, и танцовали... Но вотъ новый гость: старушка, въ черномъ платьѣ, съ ридикюльчикомъ. Такихъ старушекъ встрѣчаешь часто въ церквахъ. Сидитъ себѣ около какой-нибудь часовенки и тихо шевелитъ губами, перебирая четки. Но здѣсь не часовенка, и у старушки въ рукахъ не четки, а карты. Это—гадалка.

Разряженныя дамы ей обрадовались. Гадалка, около ихъ столика, со вкусомъ тасуетъ засаленную обшарканную колоду. Престарѣлые кавалеры во фракахъ, вдѣвъ монокли, дѣлаютъ видъ, что интересуются гаданьемъ. Дамы громко хохочутъ.

Но кой-кто уже уходитъ. Ушелъ полякъ съ маленькимъ Адольфомъ. Въ послѣднюю минуту предпочелъ-таки его Люсьену, Люсьенъ проводилъ ихъ завистливыми глазами. Отеро мечется отъ стола къ столу, устраивая дѣлишки: „Не больше двадцати! Я вамъ

говорю! Онъ запрашиваетъ!“ Хозяинъ посматриваетъ на часы. Скоро два часа: надо закрывать. Полиція, непріятности... Chasseur зоветъ автомобили, извозчиковъ. Музыканты ходятъ съ тарелочкой. Гарсоны подаютъ фантастическіе счета.

— C'est curieux, c'est très curieux,—говорятъ какъ-то опустившіеся старые кавалеры во фракахъ, накидывая на плечи своихъ дамъ невѣроятныя манто.

На бульварахъ мертвая тишина. Высокая „Мельница“ уже не освѣщена красно-голубыми, рѣжущими и колющими огнями. Она ждетъ завтрашняго вечера, ждетъ на свои повисшія крылья опять тепленькаго вѣтра человѣческой... нѣтъ, парижской похоти.

Карусели тоже не вертятся. Розовыя свиньи, верхомъ на которыхъ цѣлый вечеръ съ гикомъ носились счастливые люди,—молчатъ, въ чехлахъ.

Измученный, съ землистымъ лицомъ, кондукторъ послѣдняго „метро́“ вяло отбираетъ билеты у рѣдкихъ пассажировъ. По пустымъ улицамъ тащатся колымаги, набитыя овощами. Вотъ вся нѣжно-зеленая,—

вся полная салатомъ. А вотъ оранжевая — съ морковью.

Парижанинъ на нихъ не смотритъ. Это на завтра. А сегодня пора спать. Всему свое время, и дни должны быть гармоничны. Повеселились — спать. Великая вещь гармонія міра!

Это все правда. Ну, и что-жъ?

Да ничего. Вывода не дѣлаю. Я только фотографирую.

КОНЕЦЪ

ОГЛАВЛЕНІЕ

	стран.		стран.
Два слова раньше	III	Что и какъ	225
Хлѣбъ жизни	1	Согласнымъ критикамъ	259
Критика любви	43	Лѣтнія размышленія	271
Современное искусство	65	Бытъ и событія	283
Послѣдняя беллетристика	75	Всѣ противъ всѣхъ	309
Читаю книги	85	Декадентство и общественность	327
Два звѣря	95	Безъ міра	347
Я? Не я?	107	Проза поэта	371
Слово о театрѣ	131	Гварное	381
Вѣчный жидъ	145	Человѣкъ и болото	389
Нужны-ли стихи?	153	На остріѣ	405
Выборъ мѣшка	171	Бѣдный городъ	417
Влюбленность	187	Парижскія фотографіи	433
О пошлости	213		